



ЮНОСТЬ

1

1972



Р. БАРАНОВ (III курс).

Ударная комсомольская.

По залам выставки работ студентов Московского художественного института имени В. И. Сурикова.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



1 (200)
ЯНВАРЬ
1972

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

ДВУХСОТАЯ ВСТРЕЧА

Вот и двухсотый номер «Юности» приходит к читателю. Двухсотая встреча с прозаиками, поэтами, публицистами, критиками и художниками журнала. Конечно же, каждый из авторов — молодого ли, почтенного ли он возраста — волновался, вынося на белый свет свои произведения, волновался каждый раз и маститый Корней Чуковский, который был постоянным автором журнала, и совсем юные рассказчики, впервые увидевшие свое имя в печати.

Наверно, не все из прошлых встреч запомнились; среди них были встречи незабываемые, встречи-праздники, когда торжествовало искусство; были встречи шумные, удивительные и тихие, проникновенные; какие-то встречи стерлись в памяти; что ж, это как в жизни, день на день и год на год не приходится... Но читатели продолжали верить в журнал, биджая следующего номера, как ждут письма от доброго, давнего друга, которого знали и в лучшие, вдохновенные дни его жизни и в минуты какой-то внутренней несобранности или трудных поисков.

А дружбе этой идет уже семнадцатый год. Сменилось уже не одно читательское поколение. Каждый год подрастают новые миллионы пытливых юношей и девушек, которые впервые в жизни берут в руки обычный журнальный номер, и тогда начинается великое таинство литературы. Ведь она живет только в таком интимном общении с читателем, будет ли это стихотворение о нежности или трубный призыв к подвигу. Горы пылающих на полках книг еще не литература. Когда книги живут в умах и людских сердцах, когда они будоражат воображение, волнуют кровь, зовут к красоте, правде, подвигу, вдохновенному труду, тогда только начинается жизнь истинная литература.

И каждый из вышедших двухсот номеров журнала, как живой организм, со своими сильными и слабыми сторонами, достоинствами и просчетами. Журнальные номера непохожи один на другой. Но есть одна добрая традиция, издавна сложившаяся в «Юности»: периодически она целиком отдает свои страницы новым, дотоле неизвестным ей молодым людям, вступающим в литературу, живопись, графику.

Договоримся сразу: молодая литература не может быть, как не может быть литература пожилой. Есть одна литература — настоящая, подлинная. И спрос тут одинаков с любого автора — пусть ему будет двадцать пять лет или семьдесят. И никакого снобизма она, литература, не выносит ни к почтенному возрасту, ни к литературной юности. Не будем только путать высокую требовательность, которую справедливо предъявляют читатели к книгам и журналам, с литературным снобизмом, с парнасской нетерпимостью к малейшим неточностям слова. Когда в повести или рассказе чувствуются серьезность творческих поисков, озабоченность делами своих современников, когда чиста нравственная позиция автора, какие-то погрешности в деталях, скажем, одно приблизительное слово — отходят на второй план, хотя тоже недопустимы и непростительны.

Интересная сейчас идет в литературу, в искусство молодая смена. Она серьезно, по-хозяйски относится к жизни. Она знает, какой нелегкий путь прошел наш народ, чтобы завоевать себе право на свободный, мирный труд. Она исповедует коммунистическую веру и берет на свои плечи ответственность за судьбы революции, за чистоту ленинских идеалов. Среди молодых авторов этого двухсотого номера вы встретите слесаря и машиниста-экскаватора, инженера и шофера, врача и научного работника... Как всегда, журнал охотно печатает и талантливые произведения школьников; люди они смешиные и больше тяготеют к жанрам юмористическим. Оформили двухсотый номер, заполнили цветные вкладыши и обложки, иллюстрировали рассказы, повесть и статьи студенты Суриковского художественного института.

Пусть будут удачными их первые шаги в литературе, в искусстве!

Дела им предстоит немалые, заботы их ожидают непрестанные. Авторы этого «номера молодых» взяли за труд литератора, художника, чтобы помочь своему народу построить лучшую на земле жизнь. Не только доставить приятное чтение или дать возможность мечтательно созерцать живописное полотно, нет, попытаться ответить на вопросы, волнующие современника, показать его духовные взлеты, возбудить в нем жажду работы во имя благополучия и счастья родного народа — вот задачи, которые волно или нолью поставили перед собой молодые люди, вступающие в литературу, в искусство. Большая традиция гражданского служения народу заведена советскими мастерами культуры литературой России, искусством России издавна. На протяжении всех советских десятилетий писатели и художники оставались и остаются верны этой традиции. Молодым предстоит ее продолжить.

«Юность» желает им успеха!

«Юность» поздравляет авторов и читателей всех двухсот своих номеров с Новым годом, годом новых прекрасных свершений!

Евгений Ефремов



★
Урок географии
был по-весеннему скучен,
И карта, как занавес,
Мирно свисала с доски,
Какие там степи, циклоны
И снежные тучи,
Когда в наши окна
Заглядывал ветер с реки.

Куда интересней, решал я,
Отправиться в поле,
Еще интересней на озеро
И к рыбакам...
Но время занятий,
Как это положено в школе,
Размеренно строго
Текло и текло по часам.

Поэтому все,
Даже нечего было и спорить,
Я должен был слушать,
А слушать я больше не мог,
И вдруг, как осечка
В винтовочном ржавом затворе,
Над дверью в динамике
Четко раздался щелчок.

Потом неожиданно
Вслед за мелодией песни
Не школьные вести,
Слегка волновавшие нас,
Светло и торжественно
Диктор последних известий
Пленительной новостью
Поднял взорвавшийся класс...

Ожившая карта,
Весенний кружок Байконура —
Он тут же был найден
И трижды при всех обведен,
И все как шальные
Шептали обычное «Юра»,
Как будто на свете
И не было лучше имен.

Восторг и растерянность,
Крики и гвалт в коридорах,
Нелепые речи
На миг побледневших друзей.

И был этот день,
Как весна, необычным и скорым.
Но с этой весной
Мы все становились взрослей.

Песня о родном городе

Занесенный чистым снегом или вымыт
Самым грустным, самым пасковым
дождем,
Он меня к себе каким угодно примет
И согреет,
словно голубь,
под крылом.

Без шумихи, суетни и без упрека
Просияет: что же, здравствуй и живи,
Вот она,
твоя озерная осока,
Вот колодезные в снеге журавли.

Вот рассветы, вечера твои, закаты,
Купола церквей, сараи и мосты.
И, подумавши, скажу я, как когда-то,
Что не знаю проще этой доброты,

Что, наверное бы, здесь я был счастливей
И не хуже поженившихся друзей.
В самом центре,
на виду у всей России,
На глазах у старой матери своей.

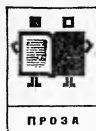
Владимир Нортнов



★
Я шел, заплеванный болотом
По самый капюшон.
Мне грязь со щек смывало потом,
Я, верно, был смешон.

Найдя руду в груди Дюжрызя,
Пожадничал, дурак,
И медным камнем до отказа
Набил я свой рюкзак.

Скрипели от натуги кости,
Был жилист каждый шаг...
Я мнил себя земною осью.
Планетою — рюкзак.



**АЛЕКСАНДР
БОЛОВОВ**



ПОВЕСТЬ

«СТО ТРИНАДЦАТЫЙ»

Александр Бологов родился в г. Орле. «Сто тринадцатый» — его первая повесть. После учебы в средней школе поступил в мореходное училище, затем плавал на Севере. Окончил филологический факультет Ленинградского университета. Сейчас работает в г. Пскове редактором в издательстве.

Рисунки В. Лукьянчикова,
студента IV курса Института
имени В. И. Сурикова.

Сели, а?... Сели?
— Сели...
— Сели-и-и!..
Из всех слов выплывалось, вырывалось, пронизывало сердце одно это слово — «сели»...

Ветер уже срывал с волн гребешки. Волны катились в сторону недалекого берега с узкой каймой обсушки.

После недавнего неожиданного потепления с неровным ветром и сыростью пришел столь же неожиданный антициклон, а с ним очень крепкий мороз.

Борт и поручни, покрытые крахмалистым налетом инея, прижигали мокрые руки и срывали кожу, если кто-нибудь ненароком прикасался к ним. В звенящем воздухе висели мельчайшие пылинки замерзшего пара, и звуки — то скрип болтающейся в такт движениям судна двери рубки, то шорох и треск под днищем — резко и далеко разносились над водой.

«Сто тринадцатый» лежал с небольшим креном. Шлюпка и плот были разбиты упавшей мачтой, их обломки отнесло уже к самому берегу. После удара о камни почти мгновенно залило кормовой отсек и машинное отделение. Моторист Лобов и старший моторист Воронов вначале даже не поняли,

• Журнальный вариант.

откуда так много воды. Когда они сообразили, что случилось со зтоу ужасное, оба кинулись к двигателям, потом, уже по пояс в воде,— к трапу, к выходу. На палубе метались люди...

— Сели-и-и!..

«Сто тринадцатый» лежал на боку.

— Ну, чего ждате, Андрей Ильич! Ну, чего ждате? Уходить надо! — Боцман Куртеев протянул руку в сторону залива. — Пойдет волна сильнее — крышка нам!

— Иди ты!.. — Капитан Андрей Ильич Старков выругался и посмотрел на корну, где волны, ну как по заказу, все крупнее и крупнее, били в фальш-борт и тамбур машинного отделения.

— Мы-то пойдем! — взвизгнул второй моторист Шило. — Мы-то пойдем! Ты команду давай! Вон вода...

«Как же так? Как же так? — Старков мучительно пытался зто что-то придумать, как-то сориентироваться в зтой неожиданно свалившейся на его плечи беде. В голове горело одно: ведь могло быть все хорошо... Ведь могло... Могло... Тридцать лет на судах! Матросил, боцманом ходил, теперь вот... Каждую бухту и губу, каждую отмель как свои пять пальцев... Как же так?..»

Вода уже доставала до рубки. Там собрались все: механик Студенец, обе матросы — Лашков и Сулин, радист Корюшкин, Воронов, помощник Сапов, Шило и Зойка-бубетчица. Куртеев и капитан стояли на трапе в рубку, а Лобов с электриком Карнином — на приподнятом носу, у фокела. Все молча смотрели то на берег, то на капитана.

Старков нехорошо скривился:

— Иди! Иди-и! Куда иди! Иди-и!..

Он посмотрел в сторону берега, и сердце его олоп упало, замерло где-то на самой глубине.

— Замерзнем...

В борт плюхнула большая волна, и буксир наклонило еще больше, послышался треск у днища. Хватается друг за друга, люди покатились по зыбкому, уходящему из-под ног полу к двери. Зойка закричала. Боцман привалился к Старкову и зашипел:

— Ну-ну! Загубишь людей!..

С бака прибежали Лобов и Карин. Карин колотил тлеющей рукавицей по ступенке трапа и, ни на кого не глядя, что-то быстро говорил.

Старков распахнул полушубок и стал засовывать за пояс судовой журнал. Он еще ничего не решил, он все смотрел в море, но там было пусто.

— Ну, что?! — Он почти закричал и почувствовал, что зтот крик ухватил за сердце его самого и придал ему уверенности и силы. — Двенадцать градусов! И прибывает! Сказать — плюнуть. Просто. А вон, вон, вон она! — Он кивал и на радиста Корюшкина, и на Зойку, и еще на кого-то. Потом, после крика, хрипло и глухо добавил, застегивая полушубок: — А что же делать? Что-то надо делать... Да...

Он хотел добавить, что если бы существовала рация, можно было бы ждате; что он никогда не поспал бы их на такое дело, как вот сейчас, но сказал почему-то совсем не то:

— Там все-таки берег...

Ветер занес в рубку дым от горящей на носу ветоши. Старков закашлялся.

— Через полчаса вода нас накроет... Придется прыгать, плыть...

— А-а-а! Угробил буксир, теперь за нами дело! — крикнул Шило и, сорвав с окна шторку, стал наматывать ее на шею.

— Ну, ты!.. — повернулся к нему Куртеев. — З-за-молчи!

Старков опять закашлялся, прохрипел:

— Я вам не приказываю, так говорю. Только смотрите друг за дружкой.

— Уже четырнадцать градусов — тихо сказал радист. — Доберемся? А? Доберемся?

— Не померк, — сказал Куртеев.

Лобов, связывая хлястик фуфайки, смотрел на Зойку, сквавшуюся, примолкшую. Она подняла на него выпуклые, полные страха глаза и закусила губы.

— Давайте я первый! — сказал Лобов.

— Стой! — Куртеев взял его за плечо, хотел что-то сказать, но, молча тряхнув, добавил только: — Ладно, давай!

Лобов прыгнул, за ним попрыгали все, вернее, просто шагнули с лестничного крыла рубки в забеленную пену воду. Повизгивая, часто-часто замали руками.

— Куртеев! Лива! — вдруг крикнул Лобов. — Андрей Ильич остался!

Боцман покрутил головой и выбросил руку:

— Вали назад! Вытаскивай его, вытаскивай! А я тут, за Корюшкина боюсь. А ты давай! Феде! Феде! — обернулся он к радисту. — Давай-давай, тут недалеко глубина...

Корюшкин не ответил, он смотрел в одну сторону, на берег, и, стиснув зубы и часто закрывая глаза, все греб и греб, не высывая рук, по-бабьи.

Лобов подплыл к борту.

— Андрей Ильич! Андрей Ильич! Ну что же вы, Андрей Ильич! Ну, прыгайте! — сквозь слезы закричал он.

Капитан увидел красное лицо молодого моториста и сказал:

— Зачем вернулся? Плыви назад!

— Не пойду я, не пойду я без вас! Вот и все! — еще сильнее закричал, почти заголосил Лобов. — Не пойду я, вот и все! Андрей Ильич!

Старков понял, что Лобов не уйдет. Он сунул оказавшийся у него уже в руках судовой журнал за пазуху, снова заложил его под нижнюю рубашку за ремень и прямо в полушубке (он даже не успел подумать: слыть ли его?) плюхнулся в воду рядом с мотористом.

В полушубке было легко держаться: он действовал, как поплавок, но зато трудно было грести. Старков, часто аскидывая голову, чтобы пропустить очередную волну, прерывисто говорил:

— Лобов, слышь... не осилите мне... О-ох!..

— Тут близко, только шубу бросьте! — показал Лобов.

— Да-да, — мотнул головой Старков и стал быстро срывать крючки.

Раздеваться в воде было трудно, и, несмотря на помощь Лобова, Старков дважды глотнул воды.

Куртеев и остальные были уже метрах в восьмидесяти, почти на полпути к краю обшуски. Карин, матросы, а между ними Зойка и Студенец держались вместе, боцман и Воронов подбадривали и подталкивали Корюшкина, а впереди всех размахисты саженками плыл Шило.

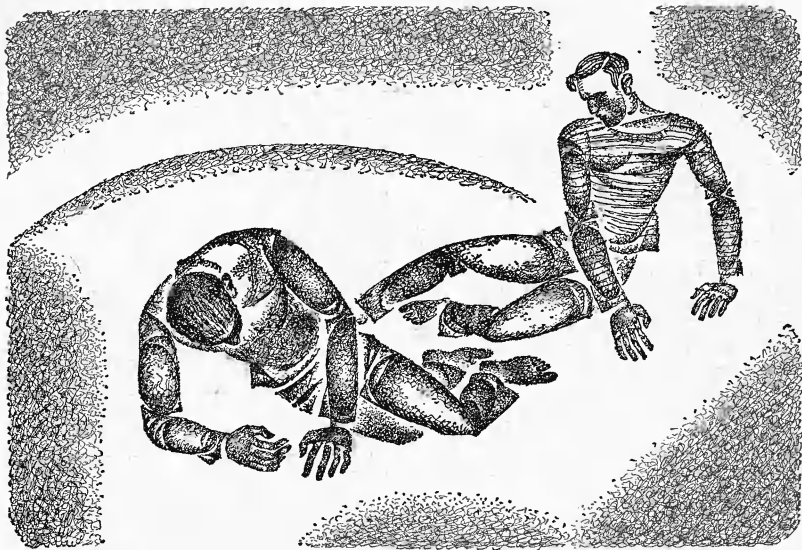
Старков плыл медленнее всех. Раздеваясь, он потерял почти все силы, и теперь только Лобов заставлял его двигать руками и держаться на воде.

— Оставь, слышь... уйди, слышь... повторяй он. — Все, не могу я...

— Андрей Ильич, ну еще, ну еще чуть-чуть, — дрожащим голосом твердил Лобов. — Вон Шило уже на ногах. Ну еще чуть-чуть...

Старков взглянул вперед: правда, Шило, то и дело падая и размахивая руками, вязко бежал к берегу по колено в воде. Он был уже у самой черной полосы земли.

— М-м-м... — мычал Старков и, уже бессознательно, ничего не думая и не чувствуя, подталкиваемый то слева, то справа Лобовым, едва шевелил руками и все-таки двигался к берегу.



Лобов всхлипывал и все время смотрел на капитана, на его спутанные волосы, облепившие посиневшее и сморщенное лицо, и почему-то вспоминал, как в той партии, на турнире, когда они, поставив очередную баржу под разгрузку, сами стали к причалу, капитан в салоне, объявив ему первый шах, повторял: «Ты сер, а я, приятель, сед». У стола собралась вся команда, за Старкова болели все палубники, за Лобова низовики...

Лобов поднял голову и посмотрел вперед. Бойцман вместе со старшим мотористом Вороновым подхватили под руки и тащили к берегу еле волочившего ноги Корюшкина. Остальные были уже на обсушке, которая рядом с заснеженным берегом выглядела черной, и, подпрыгивая, размахивая руками, хлопала себя и друг друга по спине, плечам и что-то кричала. Лашков и Карин были около Зойки. Потом помощник и Студенец побежали к воде, навстречу Лобову, тащившему совершенно обессиленного капитана. Ноги Старкова скребли по гальке.

— Андрей Ильич! — крикнул Куртеев. — Нельзя останавливаться! Скидай одежду! — махнул он всем рукой. — Скидай и выжимай! Живей, живей... ее мать!

Сам он сорвал с себя ватник, сапоги, брюки и белье и, бросив что-то под ноги, перескакивая с одной ноги на другую, стал завертывать руками жгут. Его примеру последовали все, лишь Зойка, озираясь, сняла трясущимися руками только тушку куртку и кофту. Голый Куртеев подскочил к ней, вырвал кофту и рывком, ухватив за подол, потянул вверх платье.

— Все снимай! Все выкручивай! — Он стащил с нее платок, бросил его Лашкову, рванул лифчик и крикнул Карину: — Помоги ей!

Потом бойцман схватил кофту и начал растирать стонущей от стыда и боли Зойке грудь и плечи. И говорил:

— Та-ак! Вот та-ак!..

Старков сидел на большом заиндевевшем валуне и вяло сдвигал руками китель. Он смотрел на окружающих и качал головой. Он понимал, что пройти в мокрой, обледевшей одежде семнадцать километров до Новых Солонцов почти невозможно, во всяком случае, для него.

— М-м-м... — Он уронил голову. — М-м-м-м...

К нему, на ходу натягивая сапог на вторую ногу, подскочил Куртеев.

— Димка, давай! — крикнул он Лобову и стал трясти капитана за плечи и срывать с него рубаху.

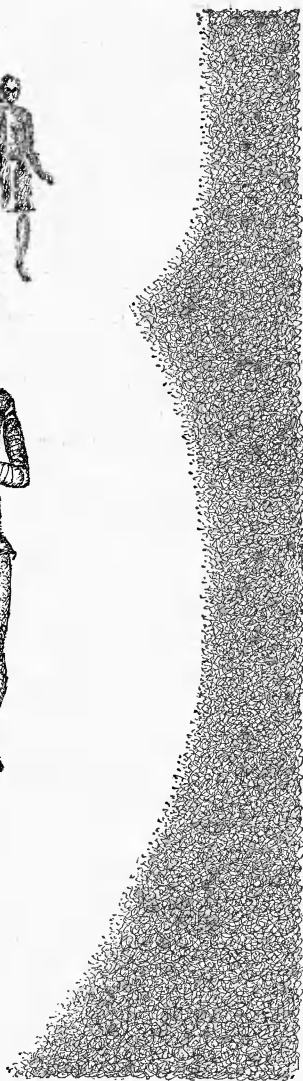
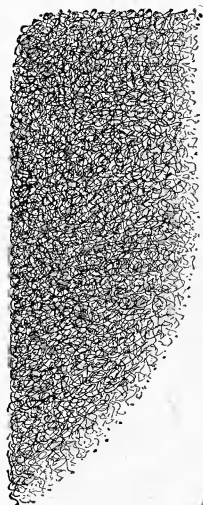
— Андрей Ильич, шевелись! — закричал он. Потом, повернувшись к остальным, заорал еще громче: — Прыгай, говорю! Двигайтесь... вашу мать!

Воронов и Студенец помогали Корюшкину. Он уже тоже переоделся, и приседал, и бил себя по груди накрест руками вместе со всеми.

Шило, не останавливаясь, прыгал с большим голышом в руках.

— Чего ждем? — бросил он камень.

— Напрямик не выбираться: снег, — говорил, тяжело дыша, Куртеев и растерл Старкову спину. — Надо бежать по обсушке, пока она не в воде. Да не отставать! Все разом, держись кучки!..



Кто-то уже затопал по влажной, обнаженной земле.

— Евгений, гляди за пацаном! — кинул боцман помощнику и показал на Сулина. — Вали, ребята! Ходом! Ходом!..

2

Когда полгода назад Лобов пришел на буксир, самым странным показалось ему отсутствие формы: один моторист был в гимнастерке, другой в свитере, матросы в телняшках (так называют здесь телняшки) и ватниках поверх. Даже капитан хотя и в форменном кителе, но в каких-то рыжikh брюках. Он взял у Лобова направление, повертел его в пальцах и, как показалось оробевшему новичку, очень даже весело сказал:

— Со школы?

— На заводе практику проходил... — начал было Лобов.

— Ладно, разберемся, иди к помощнику, — махнул капитан рукой в сторону надстройки.

С приходом Лобова на буксир стало тринадцать человек, а коек — в двух каютах, не считая капитанской, в надстройке и двух кубриках — шестнадцать.

Людей не хватало, потому-то его и взяли сразу в штат, с выдвиг робы, пайка и оклада, положенного мотористу второго класса.

Нижняя команда занимала кормовой кубрик, и Лобов, получив у буфетчицы постельное белье, занял одну из двух свободных коек — сразу под трапом, верхнюю. Чистое белье хранилось в женской каюте, и, идя от камбуза до нее следом за молоденькой буфетчицей, Лобов перебрался с нею несколькими словами. Собственно, спрашивала она: кто такой, откуда? А когда Лобов, уже держа в руках свернутые тяжелые и прохладные простыни, спросил, как ее зовут, она усмехнулась, открыто посмотрела на него.

— Зоя, — сказала. — А тебя?

В первый день, за оформлением, получением постели и робы, беглым знакомством с местом и людьми и всякими другими делами, связанными с поступлением на судно, Лобову некогда было думать о происходящем. Ночью, лежа в одиночестве на непомерно скрипящей пружинной койке с пробковым матрасом и жалея, что по глупости отказался от еды, предложенной буфетчицей и коком тетей Линой, Лобов, как по замкнутому кругу, пробегал и пробегал мысленно путь последних дней...

...В училище он так и не попал. Ну, на то были, как говорится, объективные причины, и об этом можно пока не думать, заставить себя не думать...

На выпускном вечере Вася — директор Василий — благодарил их за общественную работу. Если б, говорил, еще так учились...

Вручая Лерман медаль, директор поцеловал Соньку. Та смутилась, подняла маленький кружочек над головой, рот — до ушей. С полчасца медаль ходила по рукам, падала, Сонька, тревожно улыбаясь, оборачивалась на зов.

А потом всем вручали аттестаты. Ребятам — вместе с удостоверениями автослесарей, девочкам — кондитеров. Выступили учителя, бригадиры и парторг с ремзавода, кто-то из столовых, где девочки проходили практику.

Вообще было ничего себе. Лобов пригласил Натку Жиренкову на первый же танец.

— Ты что такая серьезная? — спросил он.

— Не знаю, что-то грустно.

Натка провела пальцем по рукаву куртки Лобова, вздохнула.

Три года назад Лобов мог запросто пнуть ногой ее портфель, крикнуть: «Эй, жирная!» Мог не стесняясь во многом-многом. А теперь...

Он нащупал за спиной Натки косу и прижал ладонью. Натка перебрехала ее на груди.

— После экзаменов все равно отрежу.

— А Сонька?

— Она тоже собиралась. А вообще-то не знаю.

— Не надо, а? Ну зачем?

Лобов смотрел на Натку, быстро повторял:

— Ну зачем? Ведь это здорово — коса. Не надо, Наташ...

Натка, прикусив губу, молча глядела ему в глаза, видела напряженные брови.

— Не будешь? — спросил Лобов.

Они двигались по самому краю, у стены. Натка опиралась о твердую руку Лобова, чувствовала, как он перебирает ее повлажненные пальцы своими — длинными и жесткими. Ей нравилось, что он просит ее, что так необычно смотрит на нее и волнуется, что вот уже несколько минут, не останавливаясь, они кружатся и она уже вынуждена ухватиться за него крепче...

...А потом, поздно вечером, они шли по притихшим улицам.

Они говорили друг другу совсем не то, что думали и чувствовали, что собирались сказать несколько часов назад, и это влияло на них по-разному. Лобов все больше злился и постепенно повышал голос, Натка, все ниже опуская голову, постепенно смирялась с тем, что ожидаемого, такого ясного еще вчера, даже сегодня утром, не будет, и от этого становилось горько, грустно и безразлично. Безразлично, что воздух был и терпкий и вкусный, что на реке даже по ночам стучат топоры и надвываются пилы — расширяют их любимую водную станцию — и что, кажется, еще никогда так поздно она, Натка, не возвращалась домой...

На углу своей улицы Натка машинально свернула направо — там был ее дом — и ткнулась грудью в локоть Лобова и остановилась, придерживая за его рукав.

— Ой, прости, пожалуйста...

— Ну что ты... Ну что ты, — тише повторил Лобов, напрягая руку, которой коснулся Натка.

«Надо что-то говорить... Надо что-то сказать... ч-черт», — кусал он губы, отрывая последние шаги до крыльца Жиренковых.

А потом все исчезло: дорога, дом, собственное дыхание. Осмысливаемая, ощущаемая была только она, Натка, напротив, перед ним, рядом-рядом...

«Неужели не понимает? Неужели ей все равно?»

Лобов клонился все ближе к ее лицу, вбирал в себя колющий блеск ее настороженных коричневых глаз.

Натка приоткрыла рот и, будто защищаясь, подняла руки, медленно крутя головой, схватилась за похолодевшие щеки.

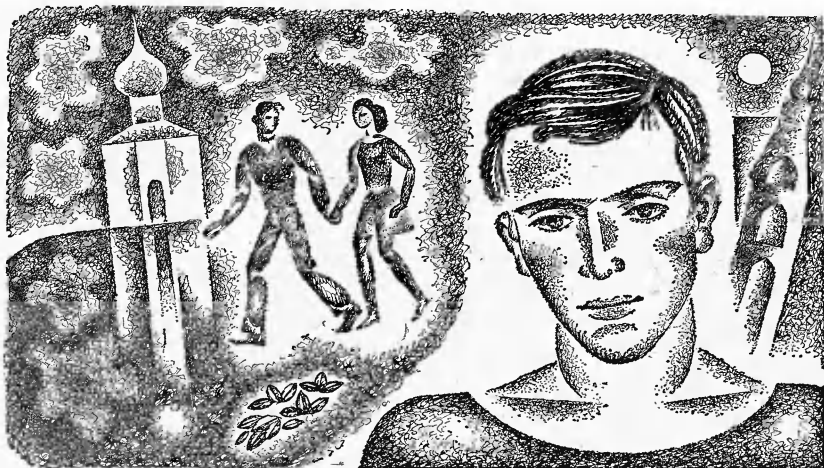
«Что же это такое? Почему она так ждала этого часа, этой минуты, всего, что должно произойти в эту минуту, а сейчас что-то удерживает ее, что-то получается не то, не так?»

Когда Лобов, вспыхнув, отпрянул, она взялась пальцами за его рубашку, придвинулась, все так же крутя головой, приближая уже свое лицо к нему.

— До свидания, Дима, — сказала она и повернулась к дому.

— Так и уйдешь? — сказал Лобов отрывисто и мрачно.

— До свидания, — повторила Натка, повернув лицо, но не останавливаясь.



А через пять минут, широко шагая по обезлюдевшему Окскому мосту, Лобов ругал себя за последнюю слабость — крик вслед Натке: «Натка, пожди! Нат!..»

...На вокзале долго обнимались, долго и крепко хлопали друг друга по спине. Потом настала очередь Натки. Она подала руку — ребята сразу заинтересовались маркой тепловоза, повернули к нему глаза и громко загалдели. А глаза Натки были такими, словно ее обидели, и ни за что обидели, и что кто-то виноват, а больно ей. Боль эта отражалась в ее коричневых глазах и проникала в грудь Лобова, охватывая холодом, надрывала какие-то нити, и Лобов боялся пошевелиться, чтобы грудь его — задеднелая, хрупкая — не надломилась, не разнялась. Но Натка вдруг стала говорить громко, чтобы и ребята слышали, и Лобов не стал задерживать ее руку, а опять машинально начал хлопать Севку Холодова и Эдку Жиренкова по спине. И Севка был мрачный, просто ужас как мрачный.

...В поезде Лобов стоял в коридоре у окна и смотрел, как световые полосы бегают по кустам и настилам, вытягиваясь и изгибаясь, перескакивая через дороги и проваливаясь под гудящие мосты.

«Ту-тук, ту-тук... ту-тук, ту-тук... ту-тук, ту-тук...» Деревья вдоль линии, мосты, станционные постройки — все мимо, мимо... Столбы, как минутные деления, и поезд их отсчитывает: «чик... чик...» С шумом пробегают небольшие домишки станций — у-ух! — и тут же уплывают, исчезают в темноте, и удаляются, пропадают гул.

...Лобов ни на чем не мог сосредоточиться. Перед глазами прыгали картины последних предтоевых дней: и сбор документов, и работа с матерью на огороде, и последние встречи с ребятами. Было грустно и тревожно. Было такое ощущение, словно его оторвали от чего-то такого, без чего никак нельзя быть счастливым, и увозят все дальше и дальше.

Потом Лобов подумал о том, что, собственно, никто ведь его не тянет, что он сам едет и что вот узнает, как там всё в училище, и может вернуться, если что... И ему сразу стало легче. Он прижался лбом к стеклу.

«А ребята, наверно, сейчас уже дошли до Оки... А Натка... А Натка... вот оно, ее лицо, на темном стекле...»

...Стук колес вдруг вырвался через тамбурную дверь, крепкий, железный: «Ту-тук, ту-тук... ту-тук, ту-тук...»

...В училище в этом году набирали только практиков, с моря. Лобова пообещали взять лаборантом дизельной лаборатории, но только с конца декабря, когда предполагалось ее расширение. До того времени посоветовали устроиться на работу где-нибудь в порту или на баржу, буксир. Казалось, это будет трудно, но все прошло, и уже на следующий день в отделе кадров, спросив про образование, выдали направление на «Сто тринадцатый», к Старкову.

«Сто тринадцатый» — это буксир, полурейдовый, полуморской. Дизельный. Цвета черно-серого, маленький. Маленький по сравнению с другими, придавившими боками соседние причалы.

...Лобов хотел повернуться лицом к переборке, но койка так заскрежетала от первых же его движений, что он передумал.

3

Поначалу у Лобова всякий раз, когда он спускался в машинное отделение, сдавливало голову от густого запаха соляра и масла и замирало сердце при взгляде на нелепые переплетение трубопроводов над головами, на бесчисленное количество движущихся клапанов, рычагов, тяг. А нагромождение рубильников, выключателей,

кнопки и зелено-красных лампочек на электрощите казалось совсем неспасимыми.

Зачем это? Неужели все это необходимо? На считанных метрах? Двадцать три метра — путь от крайней буксирной дуги до брашпиля, от начала судна до конца. Больше этого расстояния в один прием никто на буксире не проходит, разве что прибавить еще высоту трапа в кубрик. От кубрика до входа в машину восемь шагов. Лобов сосчитал в первый же день. Восемь шагов, крутой трап — и, сдвиг ладонями поручень, соскакиваешь на полблестящие пайолы — железный пол, к вертикальной балке — пиллерсу, где прикреплен откидной столик для вахтенного журнала.

Карин, электрик, заполняет журнал, пишет что-то в пустые графы за вчерашний и сегодняшний день. Чернила как кисель, густые и бледные, запись читать трудно.

Двадцать первое июля... Шестой день на судне, а значит, и в машине: в кубрик приходится спускаться только на ночь.

В световой люк протиснулась растрепанная, немая голова.

— Генка! Качни воды!

— Мыться будешь?

— Ага.

— Так до праздника же далеко...

— Чего-о?

Наверху у головы непонимающие глаза.

— До праздника, говорю, далеко, а ты шкуру отбеливать...

— А-а-а...

Голова исчезла. Карин мигнул: «Давай».

Лобов подошел к малому вспомогательному двигателю и стал готовить его к пуску. С первыми вспышками в цилиндрах двигатель неровно застучал, задержался, потом, достаточно разогнавшись, пошел ритмичнее и глуше. Лобов, поглядывая на электрика, включил рубильник и дал питание на щит. Затем повернул один из выключателей правого ряда. Все. Карин утвердительно кивнул и выставил подбородок, указав на лампочку над столиком. Лобов пробежал глазами по выключателям. Над каждым из них, как и над рубильниками и цветными лампочками-глазками, находилась табличка, указывающая их назначение. Надписи были на немецком языке, но на большинстве табличек фиолетовыми чернилами были надписаны переводы. Позже Лобов сам сделал остальные.

Он повернул один из выключателей, вспыхнула большая лампа — небо наверху, за световым люком, поблело. Карин захлопнул журнал и повернулся к трапу.

— Ну, гляди тут, молодой, пойду боцману спину поскребу, — сказал электрик. — Он же у нас, как печенег, моется не в порядке очищения, а только перед большими днями: на Новый год, или когда идет на выходные, или еще там...

Карин, Карин... В первый же день за обедом в салоне он, пристав навестру Лобову, указал ему склянку мотористов и сказал:

— Сюда, сюда. Вот так.

Потом вдруг протянул через миску ручку:

— Карин,

Лобов негромко ответил:

— Дмитрий.

А ответчо? — спросил Карин.

На противоположном, матросском конце стола кто-то хмыкнул. Лобову сразу стало неуютно. Карин крикнул:

— Бабочки! Харч новому моторяге.

Камбуз находился рядом с салоном, и буфетчица появилась точас и поставила перед Лобовым уху в миске.

— Ты посмотри, какой юноша, — мигнул ей Карин.

— Видела, — сказала буфетчица.

— Могу познакомить, — сказал Карин.

— Обойдусь.

— Ладно, — сказал Карин. — Позже заявки не принимаются.

Зойка молча пододвинула к Лобову тарелку с хлебом, собрала со стола опорожненную посуду и у выхода поосторонился, пропуская в салон Старкова и черного, густоголового механика Студенца.

— Ну, а как ты насчет техники? — продолжал Карин, обращаясь к Лобову уже на ты. — Волокешь? Лобов ответил, что в школе с девятого класса учился на слесаря-автомонтиста, получил разряд.

— ...и так, в техническом кружке все время, — добавил он.

— А-а-а, ну да, в кружке.

Карин оттопырил большой палец и мизинец и подмигнул:

— А как с этим делом?

— Что? — перестал жевать Лобов.

— Потребляешь? — Карин щелкнул себя по карману.

— Умеем, — сказал Лобов и покраснел.

— Кончай, Генка, — прогудел сидевший справа от Лобова старший моторист Воронов. — Чего привязался к человеку?

Воронов повернул голову в сторону беленького матроса напротив и сказал:

— А ты не лыбсь!

Матрос усмехнулся еще шире. Воронов, не глядя на Лобова, подтолкнул его бедром, поерзал, и Лобову сразу понравилась и его серая щетина на лице и то, что Воронов не вылил, как это делали все, а ложкой, помогая свободной рукой, отделяет кусочки трески.

До получения продуктов оставалось несколько дней, и Куртеев отпущал на камбуз треску и на первое и на второе, а вместо комлота (Карин сказал Лобову, что комлот — это первое, что отличает их от береговиков) Зойка приносила большой чайник кипятка и блюдце с сахаром.

Куртеев даже не зашел в салон. Он взял у тети Лины миску с ухой и примостился на палубе, на световом люке. Но Карин и там достал его, крикнул в иллюминатор:

— Алло, Ливадий! Смотри сюда. А ведь прав был царь Петр, когда предлагал вешать интендантов после года службы. Только куда у тебя все идет? Ведь ты, Кашей, и петлю-то не затянешь своими тремя пудами, если без ватника. Но после этого, — Карин вылил остатки кипятка в пустую миску, — хрустального напитка я с удовольствием потянул бы тебя за мослы.

— Зато тебя ни один конец не выдержит, — не поднимая головы от миски, снова не сказал, а прогудел старший моторист.

Карин повернулся к нему.

— А это и не потребуется. А потом ты же, Николай, по этой части малограмотный. Спроси у Тонны или у Зойки, они тебе скажут, что для нашего брата главное — вес.

— Ага, мозгов в голове, — сказал Воронов.

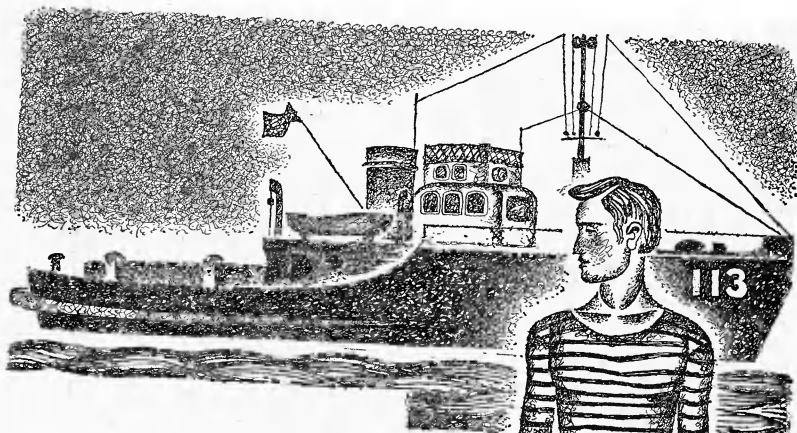
— И темный же ты, Николай. Тут же прямая пропорция, — сказал Карин.

Вшел боцман. Наливая кипятком в кружку, он оглядел всех и негромко произнес:

— Главное для всех и их тоже, — он кивнул в сторону камбуза, — это...

Общий хохот захлестнул его последующие слова, от которых Лобов сначала смеялся, но тоже не смог не засмеяться.

— Глянь-ка, глянь! — сквозь смех крикнул Воронов, показывая ложкой на дверь.



Там, заслоняя собой весь дверной проем, сцепила мощные руки на животе под фартуком и охалаетя Лина. Низкие груди ее тяжело вскидывались под белой курткой.

— Ох, бесстыжий! — покачала она головой, глядя на Куртева.

Тот бросил в рот кусочек сахара и, сознавая, что почти реабилитировал себя за тресковый обед, снова вышел.

4

Оказывается, кроме своей основной работы электрика, Карин еще делил с Шило вахту недостроенного моториста и получал оплату за четыре часа. В армии Карин был шофером, но считал, что работа электрика чище и интеллигентнее.

Когда появился Лобов, к нему перешла вся черновая работа. Он протирал пайолы — стальные листы полового настила в машинном отделении, выбирал масло из поддвигательных шпаций над вторым дном, надравивал медяшки краников, вентилях и гуськов переговорных труб — словом, делал все, что прикажут. А приказывали на первых порах все: и Студенец, и Карин, и Шило. Реже делал это Воронов.

На самом видном месте, у трапа, висела инструкция мотористу, включающая восемнадцать пунктов. Лобову казалось, что он выполняет только один — «постоянно поддерживать чистоту...»

Готовились к рейсу, и Лобов опасался, что буксир уйдет до прихода письма от Натки. И из дома тоже должны были написать. Не проходило, кажется, минуты, чтобы он не думал о Натке. Этот праздник — мысли о ней — был всегда с ним, тянулся изо дня в день, наполняя сердце Лобова легким теплом и чистой радостью. И странное дело, здесь, на судне, многие вещи напоминали о ней: лампочки на щите — ее, именно ее; рокот главного двигателя на ходу — последний вечер и разговор; ревун — нервный, ненужный крик ей вдогонку. И Лобов продолжал эти сравнения. В свете ламп и ритмах двигателя он находил новые слова — и свои и Натки, — и в этом свете



и гуле слова были смелыми, и добрыми, и понятными. А это даже хорошо, что он уехал, и вот теперь далеко-далеко. Будет здорово — приехать, прибегать, окликнуть...

Лобов окунул в бензин клапанную пружину и начал соскребать с нее нагар. Руки пощипывает, на них прыщи, как сыпь. Было что-то подобное в детстве. Но тут, конечно, иное: от соляра. Шило улыбается: «Так еще красивее. Тебе к лицу».

Шило... Бывают же фамилии. Сам дьявол не поймет, что он хочет сказать, когда тычет пальцем в метки двигателя: «Вот эта вот тянет туда, а вот эта вот идет сюда...» А чаще Шило отмахивается: «Я тебе не доктор». Чертеж тоже темное дело, но по нему и то легче разобраться, собирая запасные форсунку и топливные насосы.

У Карина другая крайность. Начинает издали, объясняет скрупулезно и тут же набрасывает схему на клочке бумаги. И тем не менее даже простейшие вещи после его растолкования вызывают тревожное чувство неуверенности в познании их, но Лобов — не хочется с самого начала показаться беспомощным — понимающе кивает головой...

5

«**Х**орошо все-таки, что Лашков не моторист и живет в носовом кубрике. И глаза же нахальные!». Карин говорит, красивые. Вот уж не сказал бы. Кошачьи. И походка-то кошачья: будто на цыпочках, будто крадется...»

Лашков — светловолосый. Самое простецкое лицо, такое простецкое, что на нем отдельно ничего не видишь: ни носа, ни губ, ни бровей. Но видны веснушки — очень редкие, нечеткие. Ростом не очень высок, но крепкий, сильный: легко жмет ось вагонеточную.

Нашел ее Карин уже после прихода Лобова, где-то на пилораме, но тащить на буксир не стал, ибо знал, как давно и безуспешно искали какую-нибудь подходящую «тяжелость» Лашков и Сапов, помощник капитана.

За «сильнейшую штангу с неподвижными блинами» Карин потребовал с них, «как со своих», пол-литра, даж ухом не поведя в ответ на слова Лашкова: «Маклак же ты, фигура».

Ось-штанга лежала на корме, под банкетом. Пользовались ею обычно в определенное время, перед ужином и после него. Когда ось вырывалась у кого-нибудь из рук и падала на металлическую палубу, мотористы высказывали из осев кубрика с вытаращенными глазами, как глухонемые рыбы.

Чаще всех, почти каждый вечер, если буксир стоял в порту, к штанге подходил помощник. Больше всех выжимал ее Шило — двенадцать раз, Лашков — семь, остальные — меньше.

Карину уже мешал живот, и его восемьдесят два кило еле скидывали ось на высоту вытянутых рук три раза. В первый раз, предупреждая подначки, он бросил ось, наступил на нее ногой и поднял плечом.

— Айн момент, — сказал он и взялся за ремешок на руке. — Часы сниму.

А потом, когда к снаряду подошли другие, отступил в сторону и так и не взялся снова за штангу.

Лобов сразу потянулся к «спортплощадке». Карин, увидев его впервые раздетым, провел ладонью по его плечам и спине и удивленно произнес:

— О-о, маэстро, а у вас жилики-то ничего, ничего... Тоже, небось, в кружке накачался?

Лобов подобрал пресс и сказал:

— Угу.

— Гимнаст?

— Гребля и бокс.

Карин удивился еще больше:

— Молодой!! Без дураков?

— Ну...

А когда на буксире появилась штанга, Карин тотчас вытащил Лобова на палубу.

— Раз, два... шесть, с-с-емь... — считал электрик, глядя, как Лобов натужно выпрямляет руки под осью.

Лобов опустил штангу, подумал, что, разогревшись, размявшись предварительным, как это привык он делать в секции, мог бы, пожалуй, поднять колеса больше чем семь раз.

Лашков поднял ось восемь раз, пытался выжать ее даже девятый, но безуспешно. А на смех Карина бросил:

— А сам-то, фигура?

Лобов решил выжать штангу десять раз, десять раз — не меньше.

6

Волны длинные-длинные и пологие, ровненькие, друг за другом, как на огромной стиральной доске. Это мертвая зыбь, остатки большого волнения.

Ее не любят на судах, мертвую зыбь. Не любят за холодную безразличность, неколебунную методичность, когда при ясной, веселой погоде, высоком, добром небе она неумолимо клонит судно на борт и плавно и медленно выпрямляет, чтобы через секунды, будто раздумывая, снова потянуть его в очередную провал. Вле-ево — вправо-аво, вле-ево — вправо-аво... И кажется, нет этому ни начала, ни конца.

В августе мертвая зыбь нечастое явление, а в первом после ремонта рейсе она была к тому же на исходе, но тем не менее качало.

Впервые при Лобове так долго, непрерывно работали двигатели: главный — на винт и большой вспомогательный — на рулевую машину, сирену и освещение. В машинном отделении было трудно находиться подолгу из-за скопившегося там чада, паров соляра и смазки и непривычного еще в таких количествах гула. И Лобов, изредка поглядывая на совершенно спокойного Воронова, часто высовывался на палубу поглотить свежего воздуха.

За бортом — непомерной шири водная гладь с округлыми ребрами зыби. Фальшборт то скользит по самой воде, то ползет вверх, закрывая горизонт и даже часть неба.

На палубе легче, будто мозги освобождаются от сжатия, а за спиной — неумолчный гул работающих двигателей.

Рейс небольшой — до Вентспилса за баржей и назад. Когда шли к Вентспилсу, качало больше, шли влодборота к волне. А пока стояли у стенки неизвестно почему больше суток, море совсем расслабилось, заштило, и баржу вели как по скатерти.

На ходу судно словно обезлюдевает: одни спят, другие на вахте — у всех свое дело, все на местах.

Редко кто пройдет мимо машины и еще реже заглянет в нее.

Лобова потащивало на зыби. А когда он против кришки цилиндров — от резкого запаха соляровый гар, таракенья и плюски клапанов перед глазами, жара выхлопного коллектора, — он едва удержался от рвоты, едва успел добежать до двери и плотноту свежего, влажного, солончатого воздуха.

Карин смеется: «Привыкай!». Советует не думать о каком-то будет легче. А как тут не думать, если тошнота мертво держит тебя за горло, не давая без напряжения сглотнуть обильную слюну.

А Карину хоть бы что, даже курит, даже сходил пообедать и, возвратившись, разгрызая косточки от компота, кивнул Лобову:

— Сходи пожуи.

Лобова передернуло от одной мысли о пище. Но наверх он вышел — встряхнулся, отелечился. Зашел в умывальник — там Сулин, второй матрос, убежавший из какой-то протрещколки. Сулин согнулся над раковины, бледный, безразличный, кажется, ко всему на свете. Лобову стало будто лучше: «А я вот ничего, держусь».

От камбуза идут мутящие запахи жареного томата, из салона — надрывное скобление ложками мисок, редкие голоса...

Лобов вернулся к машинному отделению. Палуба ритмично подрагивала под ногами. Становясь на трап, Лобов оглянулся на деревянный стук каблук: Зойка в колодах с ремешками. Колодки, видно, работа Лашкова, у него точно такие. Она пошла, позвала обедать: «Будет лучше». Лобов мотнул головой и спустился вниз. Карин опять курит, вместе с Вороновым, у самой инструкции, где значится, что курить в машинном отделении воспрещается. Карин передает дежурство, что-то говорит старшему мотористу, кивая на Лобова: видно, о нем.

Опять пришла Зойка, свесилась через комингс и улыбается, подмигивает, показывая компот в кружке. Лобов отвернулся, словно не заметил ее, и небрежно прошелся вдоль двигателя. Но пайсы пошли вдруг вбок и вниз — пришлось за что-то ухватиться...

Карин взял у Зойки компот, поднес.

— Пей, молодой, пей. Она варила, и весь обед тоже. Тонна теперь концы отдаст.

Но выпить было неумоготу. Это, пожав плечами, сделал Карин и опять захрустел зернами, сплевывая в кружку.

Потом он ушел. Воронов отсылал Лобова поспать до Вентспилса, но тот остался и не выглядывал наверх до самого устья Венты.

Пришли вечером, темнело, и не успели ошвартоваться, как все засуетились, узнав от капитана, что баржа еще под разгрузкой и забирать ее надо будет завтра. Капитан вторично пошел к диспетчеру что-то уточнять, а все спланили на берег, по порядку: первым тихонечко радист Кориюшкин, за ним Студенец и Воронов — эти в грязном, куда-то на минутку, — а потом Зойка и Лашков. Последняя пара — и врозь и вместе: сначала она в узенькой юбочке и стильных белых босоножках процокала по сходне, затем Лашков — поспешивая, не спеша.

Карин разматывал электрический кабель, подключился к береговому щиту и остановил движок. Стало тихо. На камбузе гремели мисками: воскресшая теле Лина как ни в чем не бывало наводила порядок.

Лобов прошелся по судну, заглянул в салон — там Сулин, ест. Кисло улыбулся, сказал: «Садись». Лобов поужинал на ходу, когда шли уже по реке, но чаю налил и сахару набросал за всех, полкружки.

Хотел что-то сказать Сулину хорошее, как самому себе, но в салон вошли Карин и Шило и попросили не уходить с буксира. Шило мялся — была его вахта, говорил электрик.

— Ты, Дим, присмотри тут. В случае чего на наш щит подключи, если кто подойдет по борту. Куртев на судне, он сам все знает. Мы ненадолго, пройдемся слегка... Карин подмигнул. — Я тебя не забуду, если найду сто рублей.

Лобов засмеялся и сказал:

— Ладно, идите, идите.

И вот обратный путь, это — совсем другое дело. Позади, как уютно, огромная сухогрузная баржа мнет упругую воду несурзано широкими скулами. На барже словно бы ни души. Трое баржевиков где-то на корме, в крохотной, с жестяной трубой надстройке. Баржа распыляется в темноте. Все четче огни на матче, и звезды четче, и все больше их.

А море... Вот ведь оно какое, когда не злится... Вода словно загустела, черной нефтью поблескивает, пробегаю у борта, кудрявятся узкими, хрупкими полосками матовой пены. Винт мостит такими кудряшками-прожилками дорогу за кормой...

Лобов провел ладонью по фальшборту — холодный, гладкий. Для ладоней он уже гладкий: огрубел. Прощи никак не сойдут с рук и напоминают о себе всякий раз, когда суешь их в карманы засаленной, негнущейся, как перекрахмаленной, руби. На ошупь роба напоминает жесты и цветом тоже похожа на жесты: ржавчина вперемешку с сурикром и масляными пятнами. «Вот бы в таком виде появились среди ребят... Или у Жиренковых Хм!.. Шок. Определенно. Для Коляки Есипова морская жизнь — это якоря, синий воротничок и белые паруса. Первый справочник — Станюкович. А для Натки... Для Натки...»

Появилась Зойка, сказала: «Не спитесь». Она добавила еще что-то и притихла, остановилась у фальшборта. Потом спросила:

— Ты что?

Лобов вздохнул:

— Т-так.

— Скучаешь, — сказала Зойка.

Лобов не ответил. Он спустился в кубрик и накиннул на плечи что-то фуфайку. Потом стоял у борта, смотрел на отблеск красного судового огня на лоснящейся воде. Зойка стояла рядом и тоже смотрела на воду.

7
Может, это все у тебя как раз к лучшему. А у нас после твоего отъезда тишь да гладь. Все разбредилось по своим углам. При встречах перекинешься двумя-тремя словами — и привет, гуд бай. Как чужие, словно и не было за спиной десяти «удивительных», как являлись все на выпускном, лет. Ну, это мне, может, все кажется, но зло все равно берет. Эдда Жиренков, его сестрица, Сонька Лерман да две-три переднепарных зубрили (знаешь, о ком говорю) — чувствую, сутками сидят за учебниками. А тут, то за физику возьмешься, то за математику — все вроде знакомо, и ни черта толком не помнишь. И русский ведь тоже нужно просмотреть: оньк — аньк, Ваньк — Маньк...

Иногда захожу в школу. Посмотришь на голые стены (там сейчас, как обычно, ремонт), увидишь каких-то новых пацанов — вроде раньше и не выдали таких, — ну, и ходу назад. Все «наше» в школе кончилось.

Завалев от нас откололся, решил махнуть в летнее, подальше, «к тетке, в глушь, в Саратов» (у него там, правда, тетка), а Васяка Дроздов вместе с отцом на заводе — так вместе и ходят в одну смену. Первую его получку отметили, собирались у Лельки Ванчиковой, было не шибко весело — так, встреча-прощание.

Лелька, кстати, не может простить мне «измену», хотя и ей, наверно, ясно, что эскулупа из меня ни в коем разе не получится (знает ведь, что я почти все уколыв в школе пропустил).

О девочках писать не буду — Натка, небось, напишет. Кстати, вчера встретил их с Эдькой, говорил о твоём письме, и она что-то хитро шурилась. Спросил, что ты ей пишешь. А тебе, говорит, какое дело. Да так зло. Может, она, полумная, ревнует, хочет монополично владеть вами, сеньор! Ну, это ваше семейное дело, но я ее все-таки осадил, для твоей пользы, понятно.

Ну, все. Пиши, Димка. От всех привет!
Твой Всеволод».

Было письмо и от матери. Она никак не успокоится после его сообщения о том, что в училище прирут в декате. Пишет, что очень сомневается, что может быть, он скрывает от нее что-то, потому что, как она узнавала в вонючке, в училище принимали в конце августа. Мать уже благодарит за обещанные деньги, уже наметила, что на них купит.

От Натки писем не было.

Лобов долго ходил по улицам, ждал, когда за окошком «до востребования» появится новое лицо. К женщине, выдававшей письма утром, подходить в четвертый раз было неудобно.

Женщина сменилась. Писем не было.

Лобов шел по самой крошке тротуара, чтобы не толкаться, шел, автоматически передвигая ноги, словно что-то потерял. Не оставляла мысль: «Почему?» Он вдруг представил, что письмо его попало к отцу, бабке или матери Натки и те забыли его передать или даже не захотели. То видел Натку больной и несчастной — это и встревоживало и успокаивало одновременно. Но тут же вспоминал Севкино письмо, его слова о Натке — и снова тоска захлестывала его плечи.

И Гарька Волинский, липнувший к Натке еще с восьмого, мельтешил перед глазами, постепенно, после долгих размышлений, становился объясняющей все причиной.

Самое отравительное — неизвестность, она всегда сбивала Лобова с толку, заставляла напряженно, но впустую работать мысль и, вот как сейчас, делала его для всего уязвимым.

Он пересек кающую-то площадь, едва успев прыгнуть от напавшей автобус, прошел мимо целой шеренги сияющих, асфальтовых магазинов и свернул в маленький сквер. Ноги были тяжелыми, хотелось остановиться, сесть где-нибудь, подумать спокойно, и Лобов опустился на перекресток попавшуюся скамейку.

Напротив громко разговаривали трое парней. Звучно сплевывая, похаживая, они что-то обсуждали и на чем свет стоит носились кающую-то не понравившуюся им компанию.

Прошли — очень быстро, даже повеяло ветерком — чему-то радующиеся девочки, слегка обогнув троих на скамейке. А когда вдруг вспыхнули

огни фонарей и засветились в саду бусы цветных ламп, девочки припустились бежать и шмыгнули в боковую аллею.

— Але! — бросил было им вслед один из парней напротив Лобова, но, не кончив фразы, махнул рукой, встал и направился к Лобову. Показывая ему сигарету, парень сказал:

— Дай спичку.

От него пахнула водкой. Лобов покачал головой. Подошедший ткнул сигаретку в рот, слизнул ее в сторону.

— Нету? — недоверчиво спросил он, потом повернулся и, пошатываясь, пошел к своим.

А Лобов откинулся к ребристой спинке скамьи, закрыл глаза, глубоко втянул воздух и, оттолкнувшись спиной, выпрямился.

8

Карин встретил его будто бы с досадой, но шумно:

— Ты где мотаешься? Ну-ну, иди прими у Сапегги компенсацию за труды-мозоли. Сорок два хруста, по ведомости.

Карин подмигнул.

Вслед за ними по сходне громыхнул Куртеев, на ходу засовывая в брюки свежую рубашку.

...Темнота уже загустела. Все кругом: портовые склады, дома, заборы — словно скисло, стало меньше, а улицы — глуше и уже.

Лобов шел, сунув одну руку в карман, другой то и дело срывая с нижних веток попадавшихся деревьев и кустов холодные листья: гладкий — тополя, тонкий — клена и замшевый, теплее других, — липовый. Лето уже обжилось.

Что-то говорил Куртеев, Карин смеялся.

За терристорией порта праздничней: ярче огни, веселее люди, беспоконной движение, и это поднимало настроение. Карин, оборачиваясь на проехавших мимо женщин, говорил, что к вечеру люди всегда становятся добрее, мягче.

— Особенно женщины, — повторял он несколько раз, щелкая пальцами. — Ах, какими они становятся!..

Они подошли к ближайшему кафе. После свежего, легкого воздуха улицы смешивались запахи небольшого продолговатого полупадава и стойкий гул голосов подвешивали на них удручающе. Карин, быстро оценив обстановку, сморщил пористый нос, мотнул головой и потянул приятелей дальше, в центр.

— Вот, — сказал Карин, когда они прошли несколько кварталов. — Специально для нас открыли. «Волна».

Потоком выливалась из окон второго этажа сладкая, звущая музыка. Занавески скрывали залитый желтой пеной света зал. Мелькали распыляемые, рылые тени. Когда замолкал оркестр, доносились голоса — довольные, веселые, уверенные...

Кажется, ни один прохожий не прошел мимо, не обернувшись в сторону сверкающих квадратов стекла.

Они вошли в ярко освещенный зал и сели за столик.

— Не жизнь, а малина, — улыбаясь, оценил обстановку Карин и повел победным взглядом по залу и лицам своих друзей. — Лучок, балычок, шашлыкоч и коньячок? — Потом подтолкнул к Лобову тисненное серебреном меню. — Выбирай.

Лобов читал меню. Он разбирал названия блюд. Через каждое знакомое — биточки, салат, гуляш — шли два-три незнакомых: чахохбили, люля-кебаб... Он вернул меню, сказал:

— Давай сам.

Карин потер руки:

— Ну-ну!

Через час их было не узнать. Карин, хозяйски закинув ногу на ногу, мурлыкал что-то из, как он говорил, песен западных славян. Куртеев, со сбивой набок румяной «бабочкой» на полосатой рубашке, тяжело глядел на сидевшую напротив рыжую, будто бы подмигивающую ему женщину. Лобов, впервые в жизни в ресторане, танцевал с одной из соседок. Когда он вернулся к столу, Карин похлопал его по руке и сказал:

— Ну, молодой, вполне. Смотри сюда...

— Первый сорт, — сказал Куртеев.

Лобов покраснел, а Куртеев стиснул зубы и опять устоялся на рыжую.

— Любит рыжих. Вот хоть лечи — подай ему рыжую, и все,— трагически, безысходно вздохнул Карин.

Куртеев не обратил внимания на его слова.

— Ливадий, ты чем озабочен? — дернул электрик Куртеева за рукав.

— Зараза, — убедительно качнул в ответ головой боцман.

— Ну за что ты ее? — сказал Карин.

Где-то за дымным гулом сидела чернышка, тоненькая, как струна, с поведенными ресницами девушка. Она не была похожа на Натку, не была похожа на Зойку. Широкий пояс охватывал ее талию, делал ее похожей на вытянутого муравья, и ее сухая рука, как длинная муравьиная лапка, обвила плечо и даже спину Лобова, когда он отжался наконец пригласить ее. Он долго не решался, смотрел на нее незаметно, видел, как она медленно ест и перебрасывается редкими словами с подругой. Потом к ним подошел военный, и Лобов неожиданно для себя самого встал и пошел к ней, к тоненькой черноволосой девушке, с которой говорил военный. Она сразу поднялась и закинула руку ему за спину.

В груди было и так горячо от выпитого вина. А когда девушка прижалась в танце к Лобову, там, в груди, словно в огне, все стало таять, таять, и закружилась голова.

Черные длинные волосы ее спускались вниз на висках, у самых глаз, еще более сужая тонкое лицо.

Лобов вернулся к столу, сел и сразу же взял рюмку. До этого он пил редко и мало. Было — дома и с ребятами и даже мать давала в праздники или когда болел, но это все было не то. Тут было совсем не то.

Карин придвинулся ближе к Лобову.

— У тебя отец есть? — спросил он.

— Он с матерью не живет, — сказал Лобов.

— Ну, это еще есть. И мать, значит. А у меня нету, и матери нету. Отец погиб еще в Финляндии, а я к началу войны оказался у своей тетки в Кушве, на Урале. А мать с сестрой в блокаде. Был в Ленинграде? Там есть Пискаревское кладбище. Весь предвоенный Питер теперь там. Сотни тысяч. Только от голода... А? Можешь представить себе это? Можешь себе это представить? И мать на Пискаревском где-то, сестра с соседями уже позже вырыла возле дома и отвезла, а могилу не помнит. Я сам много искал. Знешь, мне какие годы выпали? Не пожелал бы. Тетки у меня отличные: и от урков уберегли и даже чуть было не выучили. — Карин отпил глоток. — Технику я бросил, не пошла полиграфия. А в армии

крутил баранку на «газике» командира полка. А потом один кореш уговорил двинуть сюда. Вот. Мы теперь с Ливадием бороздим океан...

Карин провел по воздуху ладонью. Потом вдруг сказал:

— Лива! Ты с фундамента слетишь. Отвернись от нее!

— Я сейчас пойду — сказал боцман.

— Куда это? — спросил Карин.

— Туда, — сказал боцман.

Карин протянул к Куртееву руку.

— Ну как ты с такой пьяной рожей скажешь ей... Да ты же и танцевать не умеешь!

Карин выпрямился, потом мигнул Лобову, показав в сторону тоненькой девушки.

— Иди давай.

Лобов покачал головой.

— А как она? — спросил Карин.

— Красивая, правда? — Лобов сам спросил и опять поглядел на девушку.

Карин засмеялся и повторил:

— Иди давай.

— Нет, — сказал Лобов.

— Ну-у? Первый сорт... Иди...

Лобов, чувствуя, как зажлились щеки, покачал головой.

— Тогда я, — сказал Карин и припечатал к толстым губам салфетку.

Лобов видел, как ломкая рука чернышкой девушки легла на плотное плечо электрика...

9

Лобов привстал на койке. В кубрике не было никого, корпус судна подрагивал в такт работе двигателя и винта.

«Как же все кончилось?» Карин предлагал накапать лысого официанта и уйти, не заплатив. Так уже кто-то делал вместо бесполезного марания книги жалоб. Боцман и Лобов не согласились, и Карин махнул рукой.

Потом Карин оказался за столом тех двух девушек, рядом с военным. А Ливадий все смотрел на рыжую... Лобов хотел расплатиться. Он помнил, как оттолкнул руку Куртеева с деньгами и высыпал на стол целую горсть своек.

— Ишь, Рокфеллер, — сказал Карин и стал записывать бумажки обратно в его карманы. — А матери что пошелешь?

— А я... я... — начал было Лобов, но Карин хлопнул его по плечу и полез за своим кошельком.

Потом Лобов и боцман шли к плывущему навстречу выходу...

10

«Винтик вертится» — говорит Карин вместо «время идет». Буксир, словно посыльный, метался от стенки к стенке в гавани или между ближайшими портами. Он то перевозил на борту продукты с сопровождающими, то, тужась, карабкался с волны на волну, тянул, как бурлак, огромные баржи.

Лобов незаметно врал в судовую жизнь, — жизнь, где отношения людей исключают многие ус-

ловности берегового быта, где люди всегда на виду со всеми углами своей души, своими возможностями и слабостями и где относительно узкий круг побуждает их к более тесным связям между собой.

Люди разные. Один вот на ладони, простая арифметика. Другой — всю жизнь с ним рядом живи, а он все словно не на глазах, все держит в себе и в душу к нему никакими путями не влезает.

Лашков за пол-литра «воплне научон» брался доказать, что корнем генеалогического дерева, лепестком которого являлся Шило, было существо, позже всех своих собратьев слезшее с ветки и смеишее четыре точки опоры на две. Основным аргументом у него были черные колыцеватые волосы, расползшиеся по животу, груди и плечам Шило. Шило же с чей-то подкаски твердил, что это, мол, для утепления, «жир-то весь Карин захватил».

— А череп-то, череп-то, лоб — капля в каплю тропический! — Эти последние доводы матроса заканчивались обычно очередной схватка за столом. Шило не знал, что такое тропик, а когда однажды все-таки спросил об этом у Карина, тот серьезно ответил: «Это ты, Михайлич». Если же за столом находились Карин, молчал и Лашков: вступать в словопорения с электриком было бесполезно.

Когда Лобов, подцепив под трапом в кубрике старый плетеный крапеч и надев поверх своих кожаных полотняные рукавицы, отскакивая и нелетая на «грушу», подолгу колотил и колотил ее кулаками, останавливаясь только затем, чтобы перевести дух, Шило качал головой, снисходительно улыбаясь и поглядывая на свои кулаки.

— Если надо, я и так хряпну...

Лобов вытирал пот и говорил:

— Да, конечно...

И снова, уклоняя корпус, сильно и резко бил по крышку.

А Карин был в восторге и от груши (он поссоевал приспособить для этого крапеч) и от ежедневного фанатического стояния Лобова по три минуты в душе под струей ледяной заборной воды, и от постоянного возни его со штангой.

Карин многое знал. Книг он никогда не покупал и не брал в библиотеке управления, но о какой бы ни заговорили, оказывалось, что он ее знает. Корюшкин часто уводил его в радиорубку, и они вместе копались в передатчике, выискивая неисправность, или собирали какую-нибудь схему.

Шефство электрика над новичком постепенно таяло, все меньше слов находил он для объяснения Лобову того или иного непонятного ему явления, устройства узла двигателя, механизма или системы, да и сам Лобов все реже бежал к нему или Воронову за спасительной подсказкой, когда вдруг поднималась температура охлаждающей воды или неожиданно терял обороты двигатель.

Самостоятельной вахты Лобов еще не нес, но, находясь в машинном отделении ежедневно, с утра до позднего вечера, то с Вороновым, то с Шило или Кариным, а во время продолжительных стоянок и ремонтов со всеми вместе, выучился запускать, обслуживать и останавливать и главный двигатель и вспомогачи, подкачивать компрессором воздух в пусковые баллоны, ставить на подзарядку аккумуляторы и многим другим вещам, которые совсем недавно казались ему необычайно сложными.

— Стаять у реверса — левое дело, — говорил Воронов. — Гляди на телеграф, переводы рычаги да не зевай с пуском — вот и вся недолга. А попробуй — найди болезнь машины, если довел ее до такого дела, а того лучше, не допусти промажку, знай, где что подладить, — вот ведь что. Тут, если калибр не тот, никогда не осилишь дела.

«В машине — это тебе не кибцы бросать, крапцы плести» — эту истину знал последний салага на самой заштанной несамодельной барже, это внушал ежедневно «морским интеллигентам» — помощнику Сапову и матросам — Карин, и это, пожалуй, было недалеко от истины.

В машине всегда была работа. Если уже совсем было ясно, что на сегодня сделано все, а если что и осталось — потерпит, механик Студенец находил занятие, ругался, когда видел вахтенного моториста без дела или наверху, и шел к капитану докладывать.

Воронов с ним как-то стерпелся, Шило всегда держался в тени, а Карин смотрел на старшего механика (Студенец, с семью классами, выбыл из мотористов, плавал уже лет шестнадцать) как извоз стекло. И только Лобову, особенно после небольшой аварии, приходилось хуже всех.

Насос было трудно сломать, и его поломку не могли потом объяснить ни Студенец, ни даже Воронов. Но он был сломан, вернее, «выведен из строя»: сломан был привод к нему — две небольшие шестерни, прикрытые обычно кожухом.

Кожухок сначала погромыхивал при работе двигателя, но после легкого удара ногой (он находился внизу, у самых пайол), хрипнув, замолкал. И вот на вахте Шило он, будто потеряв терпение, задрезжал, зазвенел.

Лобов привычно стукнул по нему мягкой, просоленной подошвой, но дребезжание не прекратилось, а стало даже сильнее, и подошедший Шило, понимающе чмокнув губами, решил нарезать наконец новую резьбу на крепящем хомутике.

Лобов находился рядом, смотрел, помогал — дело было нехитрое.

Над шестернями висел клочок ветоши. Шило ткнул отверткой, пытаясь снять его, отвертка скользнула, зубья шестерен схватили ее, и скрежет и треск заставили Лобова зажмуриться и отпрянуть.

Зубья были срезаны, а Шило сначала вдруг как-то сник, согнулся, а потом, останавливая двигатель, неожиданно сказал:

— Ты меня в локоть толкнул...

Лобов вытирали глаза, а Шило, уже увереннее и громче, закричал:

— Не видишь, зубья? Не видишь, крутятся? Куда ты сунулся!

Пока он бежал за механиком, Лобов неподвижно стоял у двигателя.

— Ну что молчишь? — тоже кричал Студенец. — Укачался?

Шестерни заменили, но старший механик (вообще-то Студенец был просто механиком, но называли его почему-то старшим, хотя по штату на буксире такой должности не было) рвал и метал. Он сам отвел Лобова к капитану и грозились вчетверть стоимость поломки из зарплаты. Лобов молчал и в каюту капитана. Старков против ожидания особенно не шумел. Он спросил у Студенца о запасных шестернях — они были; вызвал к себе вахтенного моториста, то есть Шило, и, расстроив, как все произошло, сделал внушение и ему.

— Ну, конечно, — сказал Шило, — и я должен глядеть.

11

— **Т** де тут улица Грекова? — Грекова... Греко... Ехал грека через реку... А какого это Грекова? Может, художника? А может, он тут родился? В том самом доме? У него картины — «Грубачи», «Тачанка». Эх, тачанка-ростовчанка!..»

— Где тут улица Грекова?

Хорошо спрашивать. Просто так — еще и еще, у девчонок, у молодых женщин, и идти куда-нибудь в другую сторону. Потом снова спрашивать, благодарить и вдыхать, закрывая глаза, искрящийся, поджаренный воздух...

«Ах, земля! Ты не море, не палуба...»

Лобов шел широко. В киоске у почтальона он купил газету «Советский спорт». В знакомой рамке число: 26 августа.

Сорок дней! Сорок первый день. Но за письмами не сейчас. На обратном пути... Вот только сказать жене Воронова, что он будет дома утром, после ночной вахты. Жене Воронова, на улице Грекова.

А все кругом бело и смело, Зелени мостовые, качались, и хлопали в ладоши, и приплясывали дома, и бежали впередонки деревья вдоль тротуаров. Каждый прохожий смотрел так, словно хотел помочь. Все шли к празднику, торопились к празднику.

И Лобов шел, широко и легко, он не торопился, но шел тоже к празднику и тоже смотрел на прохожих с желанием чем-нибудь помочь, если нужно...

Он решил проехать на трамвае, вскочил на ходу, сзади прыгнули еще несколько человек, его пригнали к двум массивным, интеллигентного вида дамам.

— Боже, что вы толкаетесь? — повернула одна из них к Лобову пурпурное лицо.

Лобов посмотрел на нее, как мог, отодвинулся.

— Ничего, ничего, — сказала полная женщина. — Какое лето, а! Просто Крым.

— Да, просто Крым, — сказал Лобов, хотя и ни разу не был в Крыму.

— Вы не скажете, который час? — спросила у Лобова вторая женщина.

— Конечно, — сказал Лобов. — Только приблизительно, у меня нет часов. Сейчас второй.

— Спасибо, — сказала женщина и посмотрела на Лобова добро и светло, как на ребенка.

12

А праздника не было, все ошибались. Было просто лето, был август, был обычный день.

Два письма было от Севки и бандероль с книгами от него, по одному — от Дроздова и Эдьки Мирникова. От матери тоже два.

— Девушка, посмотрите еще раз, — сказал Лобов, нагнувшись к самому окошку. — А телеграммы тоже у вас? До востребования? И нет?

13

Эдька жаловался на нехватку времени, на тупошершневую трудность поступления в институт и в училище без трудового стажа или службы в армии и, словно жил в другом мире, не писал ни слова о сестре.

Дроздов, судя по его письму, пошел под откос: и курит и гуляет. С Сонькой все конечно. Она все-таки уехала с тем типом в Тарту, будет поступать там в университет.

Васька оправдывался, писал, что все равно к ноябрю в армию, а может, и раньше...

Лобов распаковал бандероль. В ней учебники, часть его собственных. Полистал «Физику» — между страниц какие-то старые записки, шаргал-2. «Юность» № 1.

ки, листок в клетку с «морским боем», записки задач.

Он завернул книги.

Первое письмо Севки... Второе...

«...вызов уже в кармане. На бланке, все по форме — чувствуете фирма. Ну, и отбирают туда, видно, не просто: когда мы с Эдькой и Завалевым проходили комиссию, нас обстужали, обслушали, обглядели — будь здоров.

Завалев метит в летное через военкомат, уже договорился там. Да, тут в воскресенье на городских решили дать бой местной шантрапе и проиграла свою последнюю гонку махтехникуму, отстали буквально на полвесла. На твоём месте был Барюхин, на тренировке он греб вроде ничего, а на дистанции сдох уже на половине, и левый борт явно перегребал. Надо было взять Завалеева, просился. А теперь все, без нас кубка не выдать школе, как ушей. Погода, правда, была холодная, и Васька с Колькой Есиповым безо всякой тренировки, но все равно, как говорится, в лебединой песне мы дали петуха.

Девчонки болели до посинения, они тоже скоро уезжают. Натка после дорожных соревнований в Туле (уже похвасталась?) все забросила, дико зубрит, спит и видит медицинский. Ленька тоже с нею, конечно. И представь себе, Волинский туда же, и это после Тулы, он там тоже грамоту отхватил за вольные упражнения.

Как-то ты плаваешь? В торговом флоте, говорят, формы не дают. Как у вас?

Отослал тебе все, что надо, учи давай, а если надо что еще — напиши, сделаю, если успею.

Да, Ленька Минаков отколот тут номерок: подался с одним парнем, а он оказался дружинником. Мы все ходили в горком — без толку, могут выпереть из комсомола. Так сказать, приложение к аттестату.

Ну, байай, Димка. Все. От ребят привет. Пиши.

Твой Всеволод».

14

Для чего на судах рынды, колокола? Ни склянки ими не отбивают, ни авральные сигналов не подают. Висят они себе, полбескивают, если надранены, позвякивают в сильную качку. В общем, одно название — колокола громкого боя.

Даже когда оторвало баржу и бортовая качка превалила, казалось, все критические нормы, Лобов, судорожно ухватясь за коеную доску, ничего особенного, кроме привычных звуков, не услышал. Только вроде что-то заскрежетало на палубе...

Отодвинулся люк в тамбур кубрика, вниз свалился Шило и, тяжело дыша, заорал:

— Ну, ты! Давай! Там баржа оторвалась!..

И Старков и Студенец были на палубе. Стармех хлопотал у шлюпбалки, Куртеев с матросами растаскивал по бортам новый буксир.

И палуба и световые люки машинного отделения, даже часть надстройки были мокрыми. Вода не успевала стечь в шпигаты, и после каждой крупной волны ее было чуть не по колено. Пока на малом ходу становились против наката, баржу отнесло далеко по ветру, развернуло и буквально через волну накрывало по самую рубку.

Старков, поскальзываясь, цепляясь за буксирные дуги и поручни вдоль световых люков, зашел в

рубку, оттуда выскочил помощник Сапов. Он скатился по трапу, прокричал что-то боцману, указывая на растянутый по палубе буксирный трос, и махнул Лобову:

— Лоба-ав! Сюда иди!..

«Сто тринадцатый», описав дугу, переваливаясь, как гусь, с борта на борт, подходил с подветренной стороны к беспомощной барже. Двое баржевиков, уже вытнувшие на палубу обрывок троса, молча смотрели, как на буксире готовят новый.

Пересиливая тошноту, Лобов добрался до шлюпбалки, вместе с Саповым влез в зыбкую, приподнятую над кильблоками шлюпку и схватил весло. При развороте шлюпки в нее прыгнул Куртеев, и, когда первая волна подсадила ее, он ловко отцепил крюк талей. Буксир сразу отодвинулся, боцман едва успел выправить за борт несколько петель тонкого ходового конца.

Удивительно менялся Куртеев. У него, в обычное время вялого, медлительного, в острые моменты появлялось что-то резкое, очень четкое, просто хищное. Ни одного лишнего жеста, ни одного неловкого движения.

Он вскинулся на баржу сразу, рынком, а помощник повис, заскреб ногами по борту, пока волна не подхлестнула да Куртеев с баржевиками за фуфайку, за ворот, не выткнул его на палубу.

Лобов, работая веслами, держался у самой баржи, смотрел, как Куртеев, нечаянно матерясь, гонял вокруг лебедки и баржевиков и помощника.

Когда уже завели основной трос, закрепили его на кнехтах и сделали обтяжку, буксир словно вдруг затоптался на месте, его стало разворачивать, трос ослабел, обвис...

— Ну!.. Что там еще!..— поднял голову Куртеев. Пружина ногам, он присвистал у руля шлюпки, но тут же, чтобы не вывалиться, присел, присвистнул: — Что-то стряслось... Пошли.

Поднять шлюпку, казалось, было невозможно: она то подсаживала выше фальшборта, то проваливалась под привальный брус. Лобов ожидал неминуемого удара, отталкиваясь скользким веслом от борта.

Но ее подняли, ободрали борт, потеряли руль и весло, но подняли, закрепили на кильблоках, и Лобов бросился в салон. Там на диване лежал Сулин — бледный, стонущий. И йод, дышать нечем — йод.

Зойка вытирает край стола — на нем пятна крови и йода.

Сулин открыл глаза, не меняя выражения лица, посмотрел на вошедших, прикрыв веки, протяжно охнул.

За столом Старков собирает аптечку, качает головой.

В момент, когда дали малый ход на обтяжку буксира, Сулин перебегал с кормы и, поскользнувшись, ухватился за дугу.

Старков качает головой:

— А в это время натяг, трос пошел по дуге — и на пальцы.

Старков решил не вызывать спасателя. «Пока он оттуда — сюда, отсюда — туда... Да и как переправить Сулина, спасатель к борту не подойдет?»

Корюшня связался по радио с портом, предупредил о «скорой помощи».

Снизу пришел Воронов, руки в солере — обтирает ветошью.

— Н-да, беда, она в одиночку не ходит, всё так...

Воронов поглядел на Лобова, напомнил, что скоро вахта. Лобов жевал соленые огурцы и рыбу, все

пахло йодом. Потом Лобов вышел на палубу. Из машинного отделения, как из пекла, показалось лоснящееся лицо Шило.

— Давай-давай, я тебе не ишак,— сказал он.

Трудно держаться на гнущейся, убегающей палубе, трудно шагнуть в чадающий зев машинного люка...

Лобов слотнул сплону, вдохнул тугого ветра. За «барашками», как кит на гарпуне, дыбятся, напружинивае трос призмистая баржа. И фонтан, когда налетает волна, побольше, чем у кита.

«Баллов шесть». Лобов вздохнул, набрал в грудь воздуха, еще, с запасом, и шагнул к люку.

Беда действительно не ходит в одиночку. Утром, после того как раздвинулись с баржей, ошвартовались и отправили Сулина в больницу, почти все собрались в салоне.

Как и всегда после трудного моря, тетя Лина раскрутила свой кухонный маховик. Камбуз звенел посудой, в салон плыли поднимающие настроение запахи. Зойки не было — отсыпалась, тоже как и всегда в таких случаях.

Лобов, приняв утренняя вахту, повозился немного в машине, подкачал в расходный бак масла, протер главный двигатель и поднялся наверх, в салон. Говорили всё о прошедшем рейсе. Шило после душа завтракал. Отхлабывая из кружки обжигающий чай, глухо басил:

— А что с него ждать, сосунка? Как это...— Шило дул в кружку.— И в чем только душа держится!..

— Надо же было для этого бежать из ремеслухи,— сказал Лашков.

— А если бы ты?— спросил Лобов.

— Чего я?— повернулся к нему Лашков.

— Попал бы под трос,— сказал Лобов.

— Я бы не попал, успокойся,— усмехнулся Лашков.

— А я не волнуюсь,— сказал Лобов и сел на свое место.— Просто гнушно это. У человека несчастье, рука... а ты... просто гнушно.

— Ну, ты! Что я такого сказал? Я ему, что ли, руку?— Лашков поерзал на скамейке.— Говори да смотри...

— Я смотрю,— сказал Лобов.

— Плохо смотришь,— поднял от миски голову Карин.— Петя только на вид такой зануда, а так он последнюю рубашку снимет...— Карин посмотрел по сторонам и добавил: — С ближнего.

Лашков усмехнулся и на некоторое время остановил взгляд на Карине. Тот, не поворачиваясь к нему, продолжал:

— А рука, что рука? Это же не его рука. А если не его, так...

Карин не договорил и показал ложкой на дверь. — Что это?

Через верх двери в салон плавню вползал дым.

— Постояй-постояй!..

Лобов первым выскочил в коридор — там по нижней палубе волной тягуче расплзались целые пласты дыма.

В первый момент никто не мог сообразить, откуда он. И только оказавшись у двери машинного отделения, Лобов увидел, что дым выбивается из-за нее, сквозь неплотности, как вата из прорех. Рыком распахнув дверь, Лобов отпрыгнул, словно волной ударило с низу клубами вырывался дым. Лобов скользнул по трапу, но, даже не ступив на пайлоны, задохнулся и повернул назад. Откашлявшись, он побежал к рубке — оттуда уже дали сигнал пожарной тревоги. Дым вырывался из надстройки, на ближних судах и причале заметили его, засуетились. На соседнем, стоявшем по борту ближе к причалу бук-

сире махали руками, кричали: «Отходи!» Лобов это видел на бегу из рубки, надевая противогазную маску.

— Чего орешь? Расстегнул глотку-то! — шумел на соседей, растягивая пожарный шланг, Куртеев. — В машине огонь, дура! И кабель — вон, к вам же подключен, как отойти?

А Карин уже действовал. Сорвав в салоне углекислотный огнетушитель, он сунул его в провал машинного отделения и направил струю влево — оттуда дым шел вроде гуще.

Сквозь хлопья углекислоты Лобов спустился в машину, на ощупь добрался до щита и выключил рубильник берегового тока. Через палубный люк вниз, тоже в маске, прыгнул Воронов. Он заматерил между механизмами, подтолкнул Лобова к главному двигателю, Лобов нащупал вентиль пускового баллона и открыл воздух. Тут что-то сильно стукнуло в борт, буксир качнуло.

— Стой! Стой! — глухо, сквозь маску, дергая Лобова за плечо, непонятно спокойно загалдел вдруг появившийся рядом Воронов. Он потянул Лобова ко входу в коцгарку и пнул ногой бадью с грязной ветошью. Дым шел из нее, шел, как из дымовой шапки, густо, клубясь. Когда бадью подняли на палубу, она вспыхнула.

У борта уже стоял пожарный катер, и Карин с совершенно серьезным видом говорил пожарникам, что была обычная учебная тревога, обстановка приближена к условиям действительности.

— А случись пожар, вы бы только за головешками и успели. Знаем вас, пожарников... — сказал он под конец и пошел наводить следствие. По его мнению, «что-то этот троглодит Шило, оставивший где-то на берегу пару винтиков», мог бросить окурки в бадью, потому как он больше всех смолит в машине.

15

В стеногазете решили дать побольше критики — в управлении это ценят. Корюшкин взял на себя оформительскую часть, Лобову, Карину и Лашкову поручил все остальное. Газету надо было делать быстро и срочно нести в управление на смотр, об этом сообщил вернувшийся оттуда с зарплатой Старков. Он посоветовал поместить в газете материал о социальствах, принятых на последнем судовом собрании.

Карин поморщился и сказал:

— Ну зачем это, Андрей Ильич? Вы думаете, в этом интерес стеногазет? Надо что-нибудь такое, чтоб посмотрел, и все, прилил к ней.

Электрик подошел к вешенному в салоне социальству.

— Во! Смотрите сюда. Федор! Корюшкин! — крикнул он радисту. — Подойди-ка. Гляди, как с прошлого года переписано.

Старков положил руку на плечо Карину и сказал:

— Ладно, ладно, ты не хорохорься. Об этом тоже надо, в управлении сказали. Да еще вот о «Двадцать седьмом».

— Что о «Двадцать седьмом»? — это уже спросил Корюшкин, предсудкома и редактора.

Старков достал из кармана список судов, занесенных на доску почета управления.

— Вот. «Двадцать седьмой» отличается чем-нибудь от нас? А план он дал выше? А простоял у него меньше? А у нас шанс есть?

— Ну, «Двадцать седьмой!» — Карин даже развел руками. — Он же недавно из среднего ремонта. Да у них даже бойлер новый стоит, а мы опять будем дуба давать змий.

Старков выждал, пока электрик замолчит, и сказал:

— Все-таки у нас шанс есть? Вот и будем соревноваться. С «Двадцать седьмым», а не только сами с собой. И написать об этом надо.

— А бойлер? — сказал Карин. — Был бы новый бойлер, мы бы могли. Конечно б, могли, а чего? И бойлер надо — в социальства капитану. А, Андрей Ильич? — Он взял из рук капитана список передовых судов и стал читать.

Газета неожиданно получилась интересной, смеялись все, кто читал, особенно над карикатурами со стихами.

— Ой-ой! Смотрите-ка, Шило! — Тетя Лина качала головой. — А это кто, господи! Никак я? Да неужели я такая? Ах, бестыкий! — Она заматывалась поварешкой на всю редколлегия и обещала умирить голодом и редакторов и всех, кто смеется.

Слов у всех газету в управление. Мотористы сели играть в шахматы.

— Когда Эммануил Ласкер в последний раз приезжал в Москву... — опять начал Карин.

— Генка, смотри, под вику... — сказал ему радист.

— Тio, ты еще? Сам не вику?.. Когда Эммануил Ласкер... Ага-а, вон ты что... Ну, смотри сюда. Мы вот так, легкий шахок.

С Кариным Лобов играл впервые. После восьмидесяти ходов он понял, что думать нужно больше и что первые легкие жертвы были ни к чему. Пришлось заботиться о защите, но все же в конце концов электрик, помня на каждом ходе чемпионов мира, сделал ему мат.

После пробной начали турнирную партию. Корюшкин вычерчивал таблицу, уговаривал капитана включиться в судовую чемпионат. Старков не отказывался, не соглашался, но его написали самым первым, что единственно вызвало его возмущение.

— Ничего, ничего, Андрей Ильич, — говорил радист, — ниже третьего не опустится. Первое — как всегда, у меня, второе — у Карина...

Капитан улыбнулся и спросил:

— Ну-у? А Лашков?

Корюшкин пожал плечами.

— А Лобов? А помощник? — сказал капитан.

Шило, опустив подбородок на сложенные руки, следил за партией Лобова и Карина. Когда капитан спросил о Лобове, он повернулся, хихикнул:

— Тут песенка спетая...

— Бездна разума, — сказал Карин. — Незаработанные недра.

— Вон уже где твоя ферзя, — сказал Шило, вытянув подбородок.

Карин, не поворачивая головы, проговорил:

— Шило, ты из какой норы вылез? Не из-под обоев?

— Чего там норы, если уже всё, — сказал Шило.

— Ты катастрофически поумнел, — посмотрел на него электрик.

— Да, — сказал Шило.

Играющих обступили. Оставив свою партию, подошли Куртеев и Старков. Корюшкин оторвался от бумаги и, предупреждая реплики, поднял руку:

— Тихо-тихо! Без советов. Пусть доигрывают.

Лобов проиграл. Шило потерял ладони, а Карин, поманив его пальцем, шепнул:

— А тебе никак? Не освоить? Все в козелка?

Шило отвернулся, как будто это было сказано не ему. Сели играть другие. Решили собрать деньги на призы за первое, второе места.

Лобов отошел к другому столу, сел, наблюдая, как радист старательно вписывает первое очко в еще не оформленную таблицу.

Из камбузного окошка выглянула Зойка, через минуту вошла в салон, села напротив Лобова и стала расставлять фигуры на свободной доске.

— Сыграем? — спросила она.

— В шахматы?!

— Нет, я в шахматы не умею, в шашки.

Лобов быстро расставил свои, сделал ход. Зойка, закусив нижнюю губу, исподлобья поглядывала на Лобова, тихоно делала ходы и, огорчаясь, покачивала головой. Черные волосы ее выбивались из-под легкого платка, глаза смотрели легко, даже озорно.

Играла она слабо, просто удивительно слабо, и Лобов только забавлялся, подставляя ей и парные, и дамки.

— Проиграл Карину? — спросила Зойка.

— Ага, — ответил Лобов.

— Он, говорят, сильно играет.

— Лашков, говорят, сильнее.

Зойка подняла глаза, большие, выпуклые, внимательные, пожала плечами.

— У них всегда спор из-за этого был, особенно раньше, — сказала она.

Лобов слышал о неудачной попытке электрика стать между Зойкой и Лашковым, о том, что Карин до сих пор заходит в отсутствие тети Лины на камбуз и о чем-то подлогу говорит с Зойкой.

— Значит, спор?

Еще в школе, очень давно, тренировали взгляд, подлогу смотрели друг другу в глаза, не мигая, не отворачиваясь, пока не зардежат веки, не выступят слезы...

Лобов увидел подрагивающие Зойкины ресницы, острые, похолодевшие зрачки. Она смотрела долго, неподвижно...

— Я же говорю, раньше был, — сказала наконец она.

— А теперь, значит, ясно, что сильнее?

— Теперь... теперь и ты вот... — Зойка снова закусила губу. — Ты ведь мог выиграть?

Она опять смотрела озорно, но несколько иначе, чем вначале, когда садилась играть. На лбу собрались морщинки, тонкое лицо придвинулось ближе. Последнюю фразу она произнесла тихо, опустила посерьезневшее лицо и, прикасаясь мизинцем к шашке, повторила еще тише и твердо:

— Мог.

Лобов хотел сказать о Лашкове, но тот сам, вдруг распахнув дверь, появился в салоне и, ругаясь, начал рывить в аптечке.

— Какой сапог налил кислоты в шкиперской? — сказал, ни к кому не обращаясь, Лашков.

В салоне оставались мотористы, Куртеев, Корюшкин. Все они устали на матроса.

— Какая кислота? Ты что?

— Кака-ая... — Лашков промыл руку и, громыхнув дверью, ушел.

Карин внимательно посмотрел на Шило и спросил:

— Ты?

Шило двинул плечом.

— Чего это я? Болено нужно мне!

Электрик повернулся к Лобову и сказал:

— Ведь налил, подл... Эх, Шило, Шило...

Зойка подошла к Карину, заглянула ему в лицо и тихо спросила:

— Генка, а что такое? Что Шило?

— Да ничего такого, не бойся. Пролил, понимаешь, Шило кислоту в кладовке и не успел убрать,

а Петя возьми да и сунься неаккуратно. Да ты не бойся, до свадьбы все заживет...

За два дня до этого в шкиперской, переделавшей банки с краской, мотористы обнаружили под одной из них небольшой сверточек. В нем оказались деньги, порядочно денег. Позвали Куртеева, чтобы проверить его, попросили помочь разобраться в банках. Тот небрежно сдвинул банку, под которой обнаружили деньги, в сторону, отыскал нужную, открыл. Тогда и его посвятили в это дело. Ливадий развернул пакетик, быстро перебрал бумажки, как-то странно хмыкнул и, ни слова не говоря, выбрался из кладовой. Через минуту он вернулся со своим коричневым пиджаком в руках.

— Какой же гад, а? Вот, мои, костюмные... Вот тут лежали. — Куртеев вывернул боковой карман пиджака. — Генка, ты знаешь... Кто же это, а? Лобов здесь? — Боцман огляделся, встретился глазами с Лобовым и опять зашумел. — Какой же гад, а?

— Ты Динку не трогай, это он их нашел! — прогудел Карин, зачем-то приподнимая остальные банки. — И не бабы, конечно.

Шило предложил отключить в машине свет на шкиперскую, налить под банки кислоты или сделать что-нибудь такое еще, «чтобы сразу прищучить сволоту».

Но кислоту отставили, свет — да, решили отключить и проследить, кто его попросит, кто ползет в кладовку.

И вот теперь — нате. Если б Лашков был один, тут можно было бы что-то думать, но его, как выяснилось, взял с собой помощник. Они полезли в шкиперскую и, не сумев включить свет, вылезать не стали, решили обойтись спичками.

«Он, как пить дать он!», — уверял всех Шило, но все понимали, что теперь ничего доказать нельзя. Подозрение, что это сделал Лашков, осталось, однако сам он и ухом не повел, когда ему сказали, что у боцмана пропали деньги.

16

Карин, примостившись на банкете, по своим часам с секундной стрелкой засекал время, тренерским жестом подает Лобову знак, и тот под свист и щелканье скакалки из старого кабеля начинает разминку.

Скакалка кажется многим детской забавой, пустяком. Но когда после очередных трех минут подскоков Лобов, разводя и сводя плечи, прохаживается вдоль борта, видно, как тяжело вздымается его грудь, как слева, пониже соска, ударяет в ребра сердце и лоснятся покрывшиеся испариной плечи.

После скакалки — «ломание», как говорит Шило: общефизические упражнения, потом специальные — для рук, пресса, ног, шеи, — потом «бой с тенью» и грюха-кранец.

Первое время всем было забавно смотреть, как Лобов в «бою с тенью», нанося удары воображаемому противнику, пронзал кулаками воздух, резко отскакивал и уклонялся, даже уходил в глухую защиту и снова, семеня, выбрасывая кулаки и снизу, и сбоку, и прямо.

Потом привикли. Куртеев наблюдал за тренировкой спокойно. Шило недоумевал, к чему такое упорство и трата сил. А электрик принимал все это как должное, помогал привязывать кранец к буксирной дуге, сам изредка подпрыгивал на скакалке. Вообще-то со скакалкой прыгали многие, даже Зойка, но она по-своему, подсекая ноги назад.

— Молодой, начали! — Карин снова махнул рукой.

Лобов застучал по кранцу.

Из рубки спустился Сапов, понаблюдая немного за мотористами, вытащил из-под банкета ось и, держась за колесо рукой, несколько раз присел. Когда Лобов, тяжело дыша, отошел от кранца, Сапов поздравил его и спросил:

— Вахта с утра?

— Ага, — сказал Лобов.

— Сходишь в управление, — сказал помощник, — надо поменять белье. С Зойкой.

17

Комната Зойки узенькая и высокая, в старом доме.

— Ее бы положить на бок, — сказал Лобов, осмотревшись.

В коридоре слева и справа — еще двери, много дверей, и Зойкина последняя, рядом с огромной, с множеством плит кухни.

Комната аккуратенькая, и как-то чувствуется, что в ней давно никто не был. Кровать с верблюжьим желтым одеялом, диван, стол, на нем полиэтиленовая скатерть. Этажерка с книгами и вазой наверху. Ваза слишком шикарна для комнатки, видно, подарок. Совершенно увядшие цветы обвисли во все стороны.

Зойка провела пальцами по столу, дула с них пыль, сняла, поморщившись, вазу с этажерки.

— Фу, они уже...

Пока она ходила на кухню, Лобов, сдвинув узлы с чистым бельем в сторону, сел на диван и посмотрел по сторонам.

Окно ничуть не меньше двери, во всю стену, и на обе стороны — яркие занавески.

Он подошел к окну. Внизу, напротив через дорогу, — большие буквы: «Гастроном». В дверь и из двери — люди, люди.

Вернувшись Зойка, поставила на стол сверкающую, наполненную водой вазу. Зойка посмотрела на Лобова и сказала:

— Дим, ты посиди. Вот можешь книжки посмотреть. Я сейчас приду.

— А ты куда? — спросил Лобов.

— Куда-куда... Ты сиди. А хочешь, пойдем со мной, сплomme немного веток с тополя в вазу. Так люблю!..

Пока Зойка стояла в очереди, Лобов снова перешел улицу и сорвал несколько мелких веток с нижних ветвей растущего на тротуаре тополя. Листья уже давно потеряли клейкость, на их верхней, более темной стороне осела пыль. Лобов подумал, что ветки стоило бы обмыть. Он посмотрел на двери «Гастронома». Зойка еще не появилась, и Лобов пошел к перекрестку. За ним, он знал, два квартала направо — и дорога на почтамт. На почту он уже решил не ходить, решил еще после последнего, тяжелого рейса. Потом почта, позже.

На углу стояли два киоска: один газетный, другой продовольственный. Лобов подошел к киоску «Союзпечать» и спросил газету «Советский спорт». Ее не оказалось, и Лобов купил «Комсомолец». Немного подумав, он купил в соседнем киоске-ларьке молдавского вина «Гратешты»: знал, хорошее.

Зойка уже махала ему рукой, приподнимаясь на носки.

— Это что, вино? — кивнула она на сверток — Ну вот, я тоже купила. А что, интересно?

Зойка развернула газету и расхохоталась. На лестнице она схватила Лобова за пальцы, часто застучав каблучками по ступенькам, потащила его вверх.

Быстро и ловко Зойка пригостила стол. Она то и дело выходила на кухню, шуршала своими полосатым клеенчатым фартуком, постоянно задевала сидящего на диване Лобова то юбкой, то коленом, извинялась: «Ой, ну что же...», «Ну вот, опять...»

Потом она показала на стул.

— А ты пересядь.

Наконец, она сняла фартук, одернула кофточку и остановилась около Лобова.

— Ну вот, только у меня нет открытки, — сказала она, — Как-нибудь так придется.

Лобов подошел к столу и увидел, что рядом с его «Гратешты» стоит такая же бутылка.

Зойка засмеялась и сказала:

— У нас, выходит, одинаковый вкус. Это хорошо.

— Хорошо? — спросил Лобов.

— Да. Вообще хорошо, когда у людей общее, им легче быть вместе.

— Как это легче быть?

— Ну как... Вот иногда хочется быть вместе, а тяжело, вместе тяжело. А когда остаешься один — тянет к другому. Непонятно?

— Да нет, понятно, — сказал Лобов.

Наливая вино в рюмки, он смотрел на Зойку. Она бесшабашно махала рукой: «Да-а-а-а!»

Вино и вправду было вкусным. Через некоторое время узкая, высокая комната уже казалась Лобову давно знакомой. Зойка — красивая, улыбающаяся, безо всяких девчачьих ужимок — более близкой, чем обычно. Она действительно была красивой, и Лобов все больше осознавал это.

Лобов узнал, что здесь, в этой комнате, часто и подолгу живет Зойкина мать, но сейчас она уехала к брату в Калининград. Что в выходные дни Зойка приводит здесь все в порядок, иногда — «А, черт с ними...» — моет длинный коридор, платит за квартиру, ходит к тетке и подругам, в кино и на танцы. «Куда чаще? Смотря какое настроение». На судно пошла сама не знает почему. Пришел комсорг из управления в кулинарную школу, где она училась, распланировал жизнь на судах. «О-б-б-б!» — И она пошла и вот застряла на «Сто тринадцатом», привыкла к нему, хотя и состоит в штате буфетчицей.

И Лобов рассказывал. О своем городе, старом, русском, далеком от моря и всего морского. О матери, двух своих сестренках и больше всего о школе и ребятах.

Зойка, подперев ладошками подбородок, распахнутыми глазами смотрела на него, кивала или качала головой, когда Лобов обращал на нее взгляд, требующий участия, и, отвлекаясь от рассказа, с грустью думала, что у парней все не так, все лучше, вот даже дружба особая, честная.

В дверь постучали. Зойка, прикрыв глаза, вздохнула и встала. В щель двери просунулась голова улыбающейся молодой женщины.

— А-а-а, прибили! Вижу, чайник твой на кухне последний пар выпускает — значит, дома хозяйка. Здравствуй Тебе письмо у меня, — сказала женщина.

Она вошла, сняла шляпку, взбила волосы, посмотрела внимательно на Лобова и мельком — на стол.

Зойка обняла кофточку.

— Катя, садись с нами. Познакомься.

Лобов пожал холодную, цепкую руку.

— Нет-нет, спасибо, мне еще за Сережкой идти, — сказала женщина и под руку уехала Зойку.

Зойка вернулась с чайником и проигрывателем, сунула чайник под стол, проигрыватель поставила на



широкий подоконник. Потом, улыбаясь, подошла к столу, взялась за пустую рюмку.

«Человек идет и улыбается!..» — неслось от окна, звенело, заполняло всю комнату сухим, убеждающим голосом.

«Идет вот, идет и улыбается, и хорошо ему! А вы можете и не верить, это и не требуется. Человек идет и улыбается! Улыбается!.. Улыбается!.. Хорошо-о-о! Хо-ро-шо-о-о!..» — слышал Лобов в громком голосе певицы.

— Давай еще выпьем? — сказала Зойка.

Когда Лобов налил, она спросила:

— За что?

Лобов пожал плечами.

Зойка усмехнулась, тряхнула головой.

— Идем танцевать? Тут все можно танцевать, кроме вальса, — сказала она.

Зойка и так была высокой, а на каблуках, чтобы взглянуть на Лобова, ей почти не нужно было поднимать голову и отводить лицо.

Они танцевали молча. Зойка рассматривала Лобова. Ее немного выпуклые, с золотыми искорками глаза были у самой его щеки. Когда глаза Лобова встречались с ними, Зойка не моргала, не отворачивалась, а смотрела еще пристальнее.

— Скажи мне что-нибудь, — сказала Зойка.

— Что?

— Что хочешь, только хорошее.

— Ты хорошо танцуешь, — сказал Лобов.

— Господи! — Зойка уткнулась губами ему в плечо, и Лобов ощутил через рубашку их тепло и дыхание Зойки. Она отвела лицо.

— Еще что-нибудь скажи.

— Я не знаю, — сказал Лобов. — Я очень хорошо думаю сейчас о тебе, и мне с тобой, как ты говорила об этом, легко и хорошо. Как будто мы с тобой и приехали в этот город вместе, и будто бы все, что ты мне о себе рассказывала, я знал давно. Правда. Я об этом думаю сейчас.

Зойка вздохнула.

— Я не то говорю? — спросил Лобов.

— Нет, нет, я просто так. Я сама не знаю. Но ведь могут люди говорить друг другу хорошее. Чтобы просто так, бескорыстно. И не требовать за это платы и не считать, что они чем-то жертвуют. А?

Они уже не танцевали, а стояли у стола, и Зойка покусывала губы, и морщила лоб, и сметала машинально со стола невидимые крошки.

— Так и должно быть,— сказал Лобов.

— Как?

— А вот как ты говоришь.

— Да, да, так. Но это не так. Или не всегда так. Зойка выключила работающий вхолостую проигрыватель, сдвинула пальцами набор волосы и, не убирая руку от виска, спросила:

— Тебе сколько лет?

— Восемнадцать.

— Господи!.. А мне больше. Немного...

Они помолчали. Потом Зойка повернулась на каблук, откинула обеими руками в стороны волосы — длинные, темные, они так и рассыпались веером между пальцев — и повторила:

— Господи, чего это нет музыки, и вина нет, и заупокой какой-то? Давай вина и давай танцевать. Тут все можно, кроме вальса...

18

В Таллине, на стоянке, отказал компрессор. На вахте Воронова, когда тот набивал сальник одного из вентилях, в углу перед считом вдруг загрохотало. Старший моторист обмер, бросился к компрессору — гремело там — и остановил двигатель. Неведомо отчего вышла из строя соединительная муфта на валу от двигателя к компрессору. Как выяснилось позже, на ободе муфты лопнули крепкие штифты и ротор муфты несколько раз провернулся в ободе.

Муфту отправили в ремонт, в портую мастерскую. Старков получил небольшую азбучку от начальства в местном управлении и, в свою очередь, продал Студенца, а тот, свалив все на старшего моториста, отругал на всякий случай всю команду.

Но все ходило веселые: пять-шесть дней стоянки было обеспечено. Пользуясь этим, нижняя команда производила мелкий ремонт. Воронов, взяв себе в помощники Лобова, с утра уходил с ним в мастерскую, где вместе с тамошними слесарями они занимались муфтой. Сложной была коническая расточка ее с последующей шлифовкой, и до тех пор пока с этим не покончили, Лобов находился рядом с мастерами и Вороновым. Кое-что он делал даже сам.

Под вечер второго дня в цех неожиданно появился Карин. Хитро посматривая, он отвел Лобова от гудящего токарного станка и сказал:

— Хочешь стать чемпионом?

— Каким?

— Ну, не всяя Руси, конечно, но все-таки?

Лобов прищурился, внимательно посмотрел на Карина и спросил:

— Какая-нибудь хохма?

— Отнюдь. Мое авто на ремонте, и из-за хохмы я бы не шлепал через весь город, тем более в этом фраке. Смотри сюда.

Карин сунул руку в карман комбинезона и вытащил оттуда свернутую афишу. На ней по-эстонски и по-русски объявлялось, что в воскресенье этой недели в спортивном зале общества «Калев» проводится соревнования «открытого ринга» для спортсменов второго разряда.

— А? Хе-хе! — Электрик ткнул Лобова кулаком в бок. — Зойка сняла с какого-то забора. Оч-чень хоч-чет посмотреть, как тебя отлупят.

Лобов наконец сообразил, в чем дело. Он несколько раз перечитал афишу с нарисованным на ней двумя оранжевыми боксерами и, все более воз-

буждаясь, стал расспрашивать Карина о подробностях.

— Какие подробности? Что я тебе, Линнамэги? — ответил Карин, но добавил, что он совершенно уверен, что драться Лобов будет.

Остаток пятницы и всю субботу Лобов готовил форму, бегал к врачу за справкой, в городскую баню, чтобы взвеситься, а Карин тем временем оформил в управлении заявку.

«Открытый ринг» — это не первенство, это классификационные соревнования, и зрителей в сводчатом зале «Калева» было немного, но со «Сто тринадцати» пришли все свободные от вахты.

Поднимаясь на ринг, Лобов увидел в первых рядах тетю Лину, Зойку, рядом с ними — Корюшкина, бойца, даже Лашкова.

Карин, в лжных брюках и бумажном свитере, секундировал: зашнуровал Лобову перчатки, заправил майку, пододвинул дощечку с канфиолкой к ногам и, хотя Лобов не просил, дал ему воды пополюсать рот.

— Ну, маэстро... — говорил Карин.

В противоположном углу готовился противник — совершенно не мускулистый, с очень белой кожей эстонец. «Пютсеп», — назвал его судья-информатор.

Лобов знал, что с ударом гонга, оповещающим о начале боя, волнение уходит, но никак не мог сдержать неприятное подрагивание в правом колене. Карин что-то говорил, Лобов, ничего не понимая, кивал головой.

Эстонец, едва прикоснувшись в знак приветствия руками к перчаткам Лобова, опустил маленькую, остриженную голову и резко стал выбрасывать вперед левую руку, прощупывая Лобова ударами-тычками. Два-три контрудара Лобова заставили бело-волосого плотнее прижать правую руку к подбородку и энергичнее двигаться по рингу.

К середине раунда Лобов понял, что уступает эстонцу в маневренности. Тот очень искусно уклонялся от обмена ударами и хорошо защищался уклонками и отходами.

Трудно было сказать, за кем осталась первая трехминутка, хотя Карин и уверял, размахивая полотенцем, что раунд его, Лобова. Лобов, глубоко втягивая бьющий в лицо воздух, поглядывал, не поворачивая головы, в сторону команды и видел возбужденные лица товарищей, их ободряющие жесты. Он прикрыв глаза и кивнул.

Карин переложил полотенце в одну руку и, крутя им у самого лица Лобова, как это делал секундант в противоположном углу, другой рукой ослабил резинку его трусов. Он подсказывал, что нужно делать, отклонял и приближал свое лицо к лицу Лобова, взмахивая рукой. Лобов понимал: опуская глаза, думая совершенно о другом: о том, что для победы ему необходимо прежде всего одно — сохранить дыхание.

Да, эстонец был определенно тренированной. Он и после перерыва легко перемещался по брезентовому квадрату, уходил от сильных ударов Лобова и легкими уколами с дистанции набирал очки. Перед самым гонгом, поняв, что Лобов пытается только дотянуть до перерыва, он, перехватывая инициативу, провел несколько хлестких прямых в голову.

— Воздуху! Воздуху! — дважды выдохнул Лобов секундант, едва опустившись на стул, и Карин быстро замахал тяжелым, смоченным в воде полотенцем.

Лобов сквозь мелькающее опало видел, как в углу напротив кивал головой Пютсеп, слушая наставления тренера. Одновременно с гонгом тренер торопливо подтолкнул боксера к центру ринга.

А Лобов не спешил. Он последний раз глубоко вздохнул, закрылся руками, привычно потер правшюй переносицу и шагнул навстречу противнику.

В зале зашумели, когда Пютсепп, быстро приблизившись, нанес первый, неожиданный удар — опять прямой в голову. Лобов не ответил. Он не слышал криков. Он, защищаясь, отступал вдоль канатов, и, когда противник после двух уже привычных финтов проводил правый удар в голову, Лобов сделал то, что за минуту до этого продумал, отдыхая в углу: он на уклоне, вперехлест, нанес Пютсеппу резкий боковой. Тот упал на колени, но тутчас поднялся и, шатаясь, переступил ногами. Судья начал счет.

Когда бой возобновился, эстонец снова устремился вперед. Подбадриваемый залом, он кружил по рингу, постоянно менял дистанцию и, уходя от сближения, пытался набирать очки с безопасного расстояния. Он понимал, чтонокдаун, падение, очень навредил ему и для победы ему необходимы еще два-три чистых удара.

На последней минуте Лобов споткнулся о складку на брезенте — зал отозвался гулом... Пютсепп, словно подстегнутый им, устремился в атаку — и опяля, опережая последний из его серии, правый прямой удар, Лобов ответил боковым перекрестным. Но эстонец устоял, он только заплел руки Лобова, и они оба остановились. Зрители захопала. Судья развел боксеров, крикнул: «Бокс!» — но ни у Пютсеппа, ни у Лобова сил продолжать бой не было. Они, правда, еще сблизились, с вальми, ватными ударами входили в клин, и судья, расталкивая их, снова взмахивал рукой и кричал: «Бокс!»

Так, объявившись, они и пошли в один из углов после последнего удара гонга.

Говорили, что это был один из самых напряженных боев дня.

К канатам подбежали Куртеев, Коряшкин, стали помогать развязывать перчатки. Судья на ринге отогнал их. Карин, сияя, вытирал с лица Лобова пот, хлопал его по скользкому, горячему плечу.

— Молодец, молодой! Молодец!

Когда судья вызвал боксеров на середину, все взгляды обратились к нему и двум лампочкам на столе главного судьи — красной и синей. Загорелась красная, судья поднял вверх руку Пютсеппа. Тот обнял Лобова, подбежал и пожал руку Карину. Карин хлопнул его по плечу.

Лобов медленно спустился с ринга и пошел в раздевалку.

Потом все вместе шли по узким, ломаным улицам Таллина, поднимались на окаменелый Вышгород, и Карин все время говорил, что Лобова засудили.

— Смотри сюда. Два нокдауна — раз... — загибал он пальцы.

— Один, — сказал Лобов.

— Ну, один. Да и второй был, да судья не засчитал. В крайнем случае ничья.

— Ничьей в боксе не бывает...

и Лобова его очень обрадовал. Они принесли полную аэсовскую гостиницу, но добрую половину пришлось оставить на входе, так как к передаче разрешали определенную норму. Однако повидаться позволили всем: в больнице знали, что все пришедшие — с судна.

Тетя Лина, втиснутая в белый халатик, боком просунулась в дверь и чуть было все не испортила, когда, подплывая к койке Сулина, запричитала:

— Касатик мой хоро-оший...

— Какой касатик? Какой касатик? — перебил ее боцман. — Он — во! Ни звука, говорят, ни крика...

Он толкнул тетю Лину ногой, та вздохнула и попыталась улыбнуться.

Сулин пожал плечами и сказал:

— Да нет, не совсем.

— Ну, вот, что я, не знаю? — Боцман взялся за перевязанную руку Сулина. — Во, как у Димки, когда он рыжело в Таллине бил. Вот была заруба!..

Пока Ливадий с Лобовым рассказывали обо всех судовых новостях, тетя Лина молча смотрела на Сулина, поправляя подушку, простыню, украдкой вздыхала.

— Я тебе книг принесу, бумаги. Будешь учиться писать левой, — сказал Лобов, когда они уже собрались уходить. — Многие пишут левой. Хотя, ты говоришь, большую оставили! Можно приспособиться, я видел. Если будем стоять, мы еще зайдем. Карин придет, Коряшкин...

Лобов хотел назвать Зойку, но почему-то не назвал. Он придал голоса беззаботность:

— Ты особенно не залеживайся.

— Да-да-да, во — работы. — Куртеев правой рукой тряс здоровую руку Сулина, а левой водил себе по горлу. — Во!

Сулин пристал на кровати...

20

Карин, передав вахту Шило, успел побить в душе, побриться, выгладить костюм Куртеева, который тот дал ему на вечер, и упротил Зойку покормить его пораньше. Зойка принесла ему миску с лапшой, подрезала в общую хлебницу хлеба и, подперев голову рукой, села напротив электрика.

Карин, в белой майке, чисто выбритый, приглаженный, не торопясь шевелил ложкой. Зойка улыбнулась и спросила:

— И куда же это мы наводрились, если не секрет?

— Отнюдь. Мы не против, мы напротив.

— А все же?

— Все туда же.

— Не к Таньке, конечно?

Карин сделал трагическое лицо.

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью;
Ты в руны модного тирана
Уж отдала судьбу свою...

19

На правой руке Сулину оставили полтора пальца — большой и две фаланги мизинца. Первое время он плакал по ночам, ощупывая забинтованную культю, прижимал ее к щеке и обнюхивал. Потом перестал плакать, только, таяко всхлиывая, вздыхал и думал, думал... С судна у него не были целую неделю, приход тети Лины, Куртеева

— «Онегин». Мы тоже проходили, — сказала Зойка.

Карин отодвинул миску, облизал губы.

— В Доме офицеров сегодня бал, так вот надо потреть сердешники местных красоток.

Зойка расхохоталась, принесла второе и подошла к турнирной таблице, сплошь размеченной единицами и нулями.

— И Лобова, конечно, берешь?

— Димку-то? — Карин, жуя, посмотрел на Зойку. — А что ему тут делать в выходной? Пусть развивает свои возможности. Надо сводить.

— Как бычка на веревочке?

Заглушая Зойкины слова, по сходне загопали, прямо в салон ввалились Ливадий и Лобов, а тетя Лина, хромая, пошла в каюту — скинуть наконец намявшие ноги новые туфли.

Куртеев, потирая руки, взглянул в миску Карина, потянул носом.

— Ох, и жарить хочац Зой, ну-ка дай. Привет тебе от Сулина. Персональный.

— А как он? — спросила Зойка.

— Порядок. Починили, — сказал боцман.

— А пальцы-то?

— А что ему пальцы? Самый главный остался. — Куртеев подмигнул Карину, потом показал Зойке кулак с поднятым большим пальцем. — Вот этот...

Карин затропил Лобова, объясняя, что билеты в танцзал разбирают с ходу, что из-за охотничьих за женихами и порядочным людям ничего не остается.

Зойка, вытирая стол, смотрела, как Лобов торопливо глотал горячую лапшу, и, подчиняясь настроению свободного вечера, улыбался, и поглядывал на Карина.

В кубрике пахло одеколоном. Карин концом одеяла начинчал длинноногие туфли. Достав из рундука свой синий обуженный пиджак, он протянул его Лобову, бросил на стол галстук и уже с трапа крикнул:

— Проведи утюгом, еще теплый, я буду в салоне!

Кассы и вправду оказались уже пустыми. Около них и у входа уныло, со скрытой надеждой стояла группа схожих по виду девушек с завернутыми в газету туфлями под мышкой. Они пристально смотрели на проходящих парней.

Но Карин неизвестными путями, отлучившись всего на несколько минут, достал билеты. Ничего не объясняя, он махнул рукой:

— Пошли.

В фойе — оживление. Все нарядные, цокают каблук. У зеркал — очередь.

Лобов, приподнимаясь на носки, через головы посмотрел на свое отражение в зеркале, подтянул галстук и, сунув руку в карман пиджака, нащупал там какие-то бумаги. Он достал шуршащий напечатанный конверт, подумал: «Знакомый почерк... до чего знакомый почерк...» Прочитал адрес, дважды повторил про себя: «Жиренковой Наталье... Жиренковой Наталье...» Затем вслух произнес: «Это же мое, мое!.. Мое!»

21

«**Д**имка, я не могу больше. Что случилось? Не могу себе представить, чтобы все было хорошо, чтобы с тобой что-нибудь не случилось. Долго боролась — ты же знаешь, какая я упрямая! — и не выдержала, пишу первой.

А вдруг твоё письмо затерялось, самым элементарным образом выпало, выронилось, а я, как идиотка, злюсь и не нахожу себе места. А ты молчишь, ты будешь молчать целый год, если не получишь ответа, и, как только я поняла это, я села за письмо.

Димка, ну почему первая наша большая разлука принесла столько тревог и сомнений? Я, кажется, все ночи напролет о тебе думаю, я тебе уже говорила всякого на сто писем.

Знаю, что Севка и Эдъка получают от тебя письма, тем более непонятно, почему нет мне. Им, по-

моему, взбрело в голову, что у меня с тобой особая тайна, даже от них, и тема «Лобов» у нас почти не затрагивается.

А сколько же дней прошло? Сейчас посчитаю по календарю. Сорок четыре дня! И все без тебя! Собираемся без тебя, на дорожные соревнования ездили без тебя (представляешь, собирали по домам!), даже на моем привычном месте в четверке на городском сидел не ты, а Вarioхун. И проигрвали ребята только потому, что тебя не было, они сами говорили.

Позавчера у Лиды Заболотской собирались последний раз, ребята, как говорит Эдъка, все архивы памяти перетряхнули, вроде много смеялись, но все равно было грустно. Десять лет были вместе, привыкли ко всем — и вот... А тебя не хватало просто ужас. У Севки, одного, даже шутки не получают, а мне было особенно плохо.

Был и Вася Дроздов, он за последнее время очень изменился. Он ведь отличный человек, а Ида из-за двоек делала его каким-то преступником, то есть считала и нам внушала. А Эдъка и Севка — молодцы, читают морские книги, обливается холодной водой и зубря, зубря. Это у них называется «аврал».

Боже мой, как грустно прощаться с девочками, с нашими школьными глупостями! Даже учителя все стали любимыми. Смеешься? А мне действительно грустно.

Через два дня уезжаем с Лелей в Ленинград, будем говорить. Неужели не пройдем?

Димка, ну почему от тебя нет ничего? Сейчас вот успокоилась, а ночью опять начну скрывать с ума.

Ну вот, кажется, все.

Натка».

22

«**Д**то Наткино письмо Лобов еще не получил, оно еще трясется где-то на пути к нему в ящиках почтового вагона, трясется, равнодушное и к Наткиному и к его недоумению.

А пока он стоял посреди фойе, подталкиваемый снующими, возбужденными людьми, и, ничего не понимая, вертел в руках свое письмо к Натке.

— Постояй-постояй... Геня! Геннадий! — крикнул он прихорашивающемуся у дальнего зеркала Карину. Тот быстро подошел.

— Что такое?

Лобов протянул конверт и сказал:

— Геня, как же так? Почему оно здесь? Как же так, я же был уверен...

Карин взял его под руку и наморщил лоб. Потом понимающе закивал головой:

— А-а, понял, понял... Погоди, сейчас объясню. Черт, только сегодня, когда собирались, наткнулся. Даже выбросить хотел... Понимаешь, тогда еще, в общем, в те дни, забыл бросить, а потом пиджак этот не надевал, все в корзинке ходил. Ну, вот... Это ты от нее все ждал? Да ничего страшного, ну чего ты!..

Карин потащил Лобова вниз, а буфет, что-то объясняя по пути, жестикулировал. Когда они уехали за стол, он хлопнул Лобова по колену, потер ладони.

— Ну и все. Подумаешь, письмо. Кто она тебе? Лобов молчал. Электрик попожил руку ему на колено.

— Да остынь. Посмотри, лицо-то, как у убогого.

Чтобы переменить разговор, Карин посмотрел по сторонам и сказал:

— Ч-черт, ведь есть еще красивые женщины! Ты посмотри, посмотри... Совсем одичаешь на коробе.

В зале было тесно, звенел оркестр. Лобов успокоился, даже как-то обрадовался, что все так пошло — с писмом; обрадовался, что не обманут, что так получились само собой. И к нему вернулось хорошее настроение. Он выбрал на валс привлекательную, не похожую на других, ярко одетую молодую женщину и закурил, закурил ее, упруго поддерживая рукой за подвижную талию. Женщина улыбалась, раскрывая невероятно алые губы, и прищуривала глаза на особенно крупных виражах.

Музыка умолкла. Часто дыша, все еще чувствуя перед глазами кружение настенных огней, Лобов провел женщину к стульям, прошел ближе к оркестру и тут неожиданно увидел Зойку. В струнку вытянувшись на высоких шпильках, в узком серебристом платье, она неотрывно смотрела на приближающегося Лобова. Она заметила его давно, видела, как он пригласил на валс какую-то чернявую веселую женщину и нежно и стремительно кружил ее по всему залу.

Лобов подошел. Рядом с Зойкой стоял Лашков, он кинул головой в ту сторону, где Лобов оставил женщину, и сказал:

— Ничего чуваша, не выпускай.

Лобов усмехнулся, посмотрел на Зойку. Она в упор, пронизывающе, без тени улыбки смотрела на него, потом, отведя глаза, подтвердила:

— Ничего.

— Ну, и как тут? Доволен? — спросил Лашков.

— Да, неплохо, нравится, — сказал Лобов.

— Воруется? Все вместе, как? Дурова? — захватив всех их в объятия, засмеялся подкашиваясь Карин. Он мигнул: — А я, говорю сейчас одной: «Хочешь, подарю младенца?» — Электрик достал из кармана пластмассовую малютку и подкинул ее на ладони. — А она, я и показать не успел, чуть по форшительно мне не захлзала.

Зойка покачала головой. Карин спрятал куклолку в нагрудный карман.

«Медленный танец», — объявил кто-то из оркестра. Спокойно, меланхолично зазвучал саксофон. Рядом стояла Зойка, и Лобову было немного тревожно. Она повернулась к нему, посмотрела исподлобья и спросила:

— Может, пригласишь?

— Пойдем...

Вслед им смотрели и Карин, и Лашков.

Зойка чувствовала расстояние, на котором Лобов находился от нее и которое, как ей казалось, даже не пытался преодолеть. Отвернув голову, ощущая его дыхание на своем виске, она думала о том, как легко она нравилась и нравится другим и как другие не похожи на этого парня. Вот Карин, он в первый же день прижал ее у двери домой и потребовал, чтобы она впустила... А этот... Ну пусть бы потребова-вал что-нибудь или все сразу, все-все...

Зойка тряхнула головой, волосы опустились на рот, и она, чтобы не убирать руку с плеча Лобова, дула их, выпятив нижнюю губу.

Так, молча, они и танцевали, и когда труба, смеившаяся саксофон, надсадно возвестила об окончании танца, Зойка, прижимая локтем руку Лобова, сказала:

— Станцую еще.

«Господи, что же это такое? — думала она, легко, но как-то автоматически улавливая каждое движение Лобова. — Почему все на свете сейчас имеет для меня смысл только в связи с этим человеком? Откуда он взялся на мою голову? Господи!»

— Ты у нас до декабря? — спросила она.

— Нет, в ноябре надо будет ехать, — сказал Лобов.

— В училище?

— Да. Пока в лабораторию, до приема.

— И сколько лет там учиться?

— Почти пять.

— Ой, пять лет! — Зойка покачала головой. — Это же ужас — пять лет. А потом куда?

Лобов пожал плечами.

— На Балтику, на Черное, на Север... Всюду направляют.

— На Севере холодно, на Юге жара. Самое место тут, — Зойка сказала и посмотрела на Лобова. — Самое место.

...Когда после танцев Лобов медленно шел по узкому, выставному булыжником переулку, его настиг цокот каблучков.

— Димка!

Из темноты выступило светлое платье Зойки, свободная рука ее — за вторую держался Лашков — просунулась под руку Лобова.

— Один? — спросила Зойка.

— Нет, со звездами.

И Зойка, и Лашков посмотрели на небо: звезды действительно двигались вместе с ними, перемещаясь через деревья и крыши.

— Ну, а где же та чуваша? — спросил Лашков.

Лобов пожал плечами и почувствовал, что Зойка — очень мягко, едва ощутимо — прижимает его руку к себе.

— А Генка где? Я его так и не нашел, — сказал он.

— Пошел дарить младенца, — сказал Лашков и засмеялся.

У Зойкиного дома Лобов, бросив: «Ну, я пошел», — свернул на мостовую. Зойка что-то сказала Лашкову, тот промолчал, и уже на середине улицы Лобов услышал, как хлопнула входная дверь. Он перешел улицу, поискал Зойкино окно и нашел его как раз в тот момент, когда в нем вспыхнул свет. Лобов остановился. Засунув руки в карманы, смотрел на окно. Вдруг свет погас. Лобов постоял несколько секунд, поддал ногой мерцающей на панели лампочки и быстрыми шагами двинулся в сторону парта.

23

В конце сентября «Сто тринадцатый» снова оказался в Таллине и остался там на текущий ремонт. Мотористы регулировали зазоры клапанов, сменили одну форсунку на главном двигателе и заменили в картере масло. Лобов, засучив рукава, вылизывал скользящий, почерневший от отработанного масла картёр, десятки раз водил щупом между роликом и толкателем клапана, определяя «закиснувшие» гнущиеся калиброванной пластинки. Надев самые засаленные робы и комбинезоны, копались в машине вся нижняя команда.

Зойка ругалась, когда они, перемазанные, словно из пекла, выползали из машинного тамбура на обед, и заставляла снимать верхнюю робу. Ее оставляли либо в машине, либо прямо в коридоре возле салона.

— Интеллигенция привет! — насмешливо возгласил, входя в салон, Карин и тряс над головой кисть руки. — Все Филоним!

— Тебе бы так пофилонить, брюхо порастрясти на палубе, — отзывался с края стола, где сидела верхняя команда, Куртеев.

Вечером почти все, исключая вахтенных, разбрелись по городу, а Лобов зубрил математику, в толстой канцелярской книге решал уравнения, разбирая теоремы. Карин тоже было взялся за это дело, но скоро занятия наделили ему, и он, посоветовав Лобову обратиться за помощью к Салову: «У того свежо: два года как из училища», забросил книги.

Как-то после ужина, когда все уже оставили салон и Лобов один дожевывал ненавистную треску, он сквозь зовн перебираемых мисок услышал доносящийся с кухни негромкий разговор.

Говорила Зойка:

— Работы много, вон посуды сколько, и вообще грязизна.

— Ведь договорились. — Это говорил Лашков. — Тетя Лина, обиделась без нее? Это что, срочно, да? Ну, придет, потом сделает.

— Сделает... Заладил каждый день — весь вечер, весь вечер... Дай человеку передохнуть! — Тетя Лина поняла, что сказала вроде что-то не то, и добавила громче: — И работы, правда что, сам не слепой.

Лашков еще что-то говорил, говорила Зойка, редко, двумя-тремя словами, вешивалась тетя Лина. Потом Лашков твердо протопал по коридору.

Лобов пошел к помощнику. Сапов действительно еще не забыл математику. Он тоже собирался на берег, но, взявшись за одну из задач, решил вместе с Лобовым еще несколько и часа через полтора, спохватившись, провел по щекам электробритвой и убежал.

Лобов сошел в кубрик, там никого не было. Он хотел взяться за письма домой, но по пруту осторожно спустилась Зойка. Войдя, Зойка выключила и снова зажгла свет. Лобов вспомнил вечер танцев и как заглох, а потом погасло Зойкино окно, когда он стоял у ее дома.

Зойка улыбнулась.

— С ума сойдешь. Ты где была?

А Лобов, сам не понимая почему, вдруг проговорил:

— Как говорят, в темноте, да не в обиде?

Зойка напряженно и внимательно посмотрела на него.

— Что ты хочешь сказать?

— У себя в комнате ты тоже сразу гасишь? — говорил Лобов и уже прокинул себя за это.

Зойка прищурила глаза, унеслась куда-то мыслями и вдруг вскрикнула.

— Дурак, я легла, он сразу ушел... Вот дур-рак!..

Она хлопнула дверью тамбура и быстро поднялась на палубу, побежала в свою каюту. Там она села к столу, уронила голову на ладони и заплакала. Сразу же душу опустошило осознание ложности и ненужности того, что было у нее с Лашковым. Не могла же она рассказать Лобову, как Лашков, несмотря на ее нежелание, не ушел, а, упрямо повторяя какие-то одни и те же, затупленные слова, прошел с нею до самой двери, до комнаты и потом, едва войдя, погасил свет и так же, как до этого, как и в первый раз, глухо, молча подступил к ней. А она отталкивала его, сопротивлялась, а потом, обессилив, лежа с закрытыми глазами, растеряв все мысли и чувства, твердила про себя: «Ну, и пусть... ну, и пусть...»

Зойка вскрикнула, сжала ладонями щеки.

«Почему она ни о чем этом не думала до сих пор? А если и приходили тяжелые мысли, прятала их или, вдруг нахлынувшие, изгоняла, легко выбрасывала из головы?»

А что дальше? Ведь Лашков врет все, ничего ему, кроме этого, не нужно, иначе бы не вел себя так, жалел бы ее, берег...»

Зойка приподнялась, чтобы взглянуть на себя в ви-

саящее над столиком зеркало, и тут же быстро опустилась: кто-то осторожно постучал в дверь.

Она быстро стерла со щек слезы — Зойка знала, как слезы портят ее лицо, — и хрипло произнесла:

— Да!

Зойка спрянула платок.

— Да! — повторила она громче, поправляя волосы.

Вошел Лобов. Он секунду появился, поцарапал ногтем прикрытие двери и негромко спросил:

— Ты... сейчас свободна?

Зойка, даже не успев подумать, о чем он спрашивает, кивнула головой.

Лобов подошел ближе.

— Послушай, Зоя... Я, правда, дурак. Я идю.

И осел. И вообще кретин. Прости меня.

Зойка молчала. Лобов глядел в сторону, водил рукой по кромке стола и говорил. И Зойка видела, что ему все это действительно неприятно, что он, очевидно, ругает себя...

— Пойдем на берег? — сказал Лобов.

Зойка подняла голову.

— Пойдем, а? — повторил Лобов.

Не отвечая, Зойка смотрела на него. «М-м... Скажи он эти слова в кубрике, сразу как она вошла, — это было бы лучше, что он мог для нее сделать. Эх!..»

Лобов смотрел очень серьезно, твердо, хотя и виновато.

— На берег... на берег... — повторила Зойка.

— Пойдем?

— Хорошо, — сказала Зойка и вздохнула. — Я сейчас переоденусь.

Она преобравалась, переодеваясь. Белая куртка, которую она почти не снимала на судне, словно скрывала и ее фигуру и лицо. Зойка становилась совсем другой в узкой, в меру короткой юбке или легком платье с удивительно идущим ей воротником. И вообще ей, кажется, все шло, или уж такой безошибочный вкус был у нее.

Зойка хорошо знала Таллин, и после молочного кафе на узенькой улице Виру, где, кажется, и велосипедистам не разрешается, она повела Лобова в город.

Старая ратуша словно дремала, устав за сотни лет охранять примыкающую к ней площадь. Дома с мансардами и самые новые — прямые и высокие — давно переросли древнюю городскую стену, которая потепленно, как и все старые стены, разрушалась, исчезала, несмотря на охранные мемориальные грамоты.

Лобова удивил парк — огромный, старый, очень чистый, с красивым названием: Кадрюрг. По нему — и широкое, с многими сотнями скамеек и куполом сцены певческого поле. Зойка объяснила, что здесь проходят праздники песни, когда народ съезжается со всей Эстонии, составляется многотысячный хор из взрослых и детей, все поют, и каждый может целовать кого хочет.

Зойка перепрыгнула с одной скамейки на другую и сказала:

— Серьезно, это у них такой обычай.

К вечеру запахи сгустились. И Зойка и Лобов вдыхали застывший, полный запахи ответных или, последних цветов и наливающих каштанов воздух и шли наугад по бесконечным аллеям и тропинкам дремучего Кадрюрга.

Лобов надкусил желтый горький листок и сказал:

— Здорово здесь.

— Ага, — сказала Зойка.

Она не ожидала, что ей будет так хорошо, и сначала даже жалела, что они не пошли куда-нибудь в людное место, на танцы или в кино.

— Зоя... Зоя... — Лобов повернулся к Зойке. — А ты знаешь, что означает твоё имя?

— Что?

— Живая. Зоя — это живая. Зоологию помнишь? Ну вот, зю — это живое, логос — знание, наука. Так, кажется.

— Гм, интересно. А твоё что значит?

— Моё? О, я сын богини греческой, Деметры — богини земли,

— Это что же, все имена так?

— Нет, не все, наверно. Это только старые, из Греции, Рима.

— А-а... Римма — наверно, прямо от самого города Рима? Да?

— Римма... Римма... не знаю, может быть, — сказал Лобов.

— А как зовут твою девушку?

Зойка давно готовила этот вопрос, но задала нечаянно, как-то по инерции.

Лобов подпрыгнул и сорвал свисающий ниже других листок с ветки клена.

— В переводе? То есть в расшифровке какое значение, да?

— Ну, в переводе.

— Родная. Наташа — это родная, или, по-другому, — утешение.

— О, и родная и утешение. Все сразу? — Зойка смущенно засмеялась. — Это ты от нее все писем ждешь?

— Не только от нее.

— У тебя что, несколько?

Лобов видел перемену, происшедшую в Зойке: она обострила разговор, подолгу, без особого смущения смотрела ему прямо в глаза, свободно касалась его плечом, когда вдруг шаги сводили их.

Лобов подумал о том, что вроде бы он сам ухватился за ее вопрос о Натке, точно хотел защититься ею.

Но Натки не было. У него в мыслях, в сердце до тех пор, пока Зойка о ней не напомнила, Натки не было. Натка исчезала, незаметно, без досады, легко, изо дня в день. «Неправда», — подумал Лобов. И потом другое: «Правда. Правда». А потом опять: «Неправда».

Зойка смотрела вперед, вдоль дорожки и выше — там, в восточной стороне, небо уже померкло.

— Она твоя невеста? — спросила Зойка, Лобов не успел ответить, как она спросила еще: — Ты ее любишь?

Было непонятно, Зойка спросила или произнесла это утвердительно, и Лобов снова промолчал.

— А о чем вы говорите, когда бьете вместе, один? — Зойка откинула голову. — Хотя... Пойдем к воде?

Внизу, у неподвижного, тихого пруда, Зойка сняла туфли, села и поставила на них ноги. Сухой веткой надколола поближе к воде стекло воды — четкие круги плавно поплыли по нему.

Она села на холодную траву. Обхватив руками колени, положила на них подбородок.

На восточной, темной стороне Неба, над узким концом пруда, прорезалась первая звезда. Она слабо мерцала, разгораясь, утверждаясь на сером своде. Лобов видел только ее.

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

Зойка слушала странные, не очень понятные стихи, смотрела снизу на Лобова. Ей стало тревожно, она крепче, прижавшись грудью, стиснула колени.

А после
ходит тревожный,

но спокойный наругую.
Говорит кому-то.
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?»

Лобов запрокинул голову и увидел еще звезду..

Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?

Зойка вздрогнула, тряхнула головой, отгоняя какие-то мысли.

— Сядь рядом, т-так холодно, — сказала она. Лобов опустился, коснувшись ее. Сквозь одежду он почувствовал, что плечо у нее действительно холодное, и сбился Зойку одной рукой, неуклюже и неестественно выговаривая:

— Какая ты ледяная...
Зойка, разняв пальцы, вдруг повернулась и поцеловала его где-то в угол рта. Лобов схватил ее, стал искать губы, но Зойка, защищаясь, встала.

— Н-не надо, не надо...

24

Н а «Сто тринадцатом» звенели струны. Когда Лобов ступил на шаткую сходню, Зойка, поднимаясь за ним, ухватила его за руку. Они, еще подходя к бурсу, увидели на корме несколько человек, среди них элентрика и Лашкова в белой рубашке, видной и в темноте. Гитара зазвучала слышнее. Карин, повернувшись к сходне, отчаянно затянул:

В переулке пара поназавалась —
Не поверил я своим глазам:
Шла она, к другому прижим-малася...

Зойка зацокала шпильками по палубе и скрылась в надстройке, а Лобов, коротко посмотрев ей вслед, направился к сидящим на корме.

— Ну, и как? — выступил ему навстречу Лашков. — Отоварился?

Лашков был пьян, это было видно даже в темноте. Он пододвинулся вплотную к присевшему на фальшборт Лобову и повторил еще громче:

— Отоварился? А?

Лобов почувствовал, как под сердцем у него прошел холодок и стало сухо языку. Он увидел, что на корме стало тихо, даже пальцы Карина застыли на гитарных струнах. Он соскочил с фальшборта — показалось, что Лашков может его ударить, — и сказал:

— Не понимаю.
— Во как, не понимаешь?

Лашков медленно взял в пальцы рукав рубашки Лобова и твердо притянул его к себе.

— Ты что, салага микроносая, бегаете за нею?

— За кем? — пусто, безразлично спросил Лобов, чувствуя, что говорит какую-то явную глупость, необходимость и что всем это ясно и все думают о том, как он изворачивается и увиливает от прямого ответа. Он попытался освободить руку, но Лашков еще крепче, вместе с кожей захватил рукав, и Лобов ребром ладони сильно ударил его по руке.

— Отойди от меня!

— Ах, ты...

Лашков хлестнул его по лицу. Лобов, видя перед собой белую рубашку матроса, выбросил вперед

обе руки и толкнул его. Лашков повалился под ноги сидевших на решетке банкета Карина, Куртева и кого-то еще, плохо различимого в темноте.

Подбирая губы, Лобов согнул холодную, солоноватую кровь...

Лашков поднялся и молча, задыхаясь от злости, снова подскочил к Лобову.

«Ах, как нехорошо... Как нелепо, и нехорошо, и непонятно! Ах, как это все нелепо!.. Вот только что, пять минут назад, было все правильно, все, как хотелось,—все легко и ясно. И город, и Зойка, и буксир, и все на нем, и желания, и вечер, и будущее. И вот это, о чем даже мысли не было...» Лобов увидел, как от банкета к нему двинулось большое, неясное пятно. Оно росло, расплывалось шире, закрывало уже все пространство, и когда оно надвинулось вплотную, Лобов сам сделал движение вперед...

— Я же не хотел этого,— говорил он потом Карину в кубрике.— Но что я мог делать? Вы же все видели. Вы могли вмешаться раньше.

— Э-э, тут дело особое. Тут надо было подождать,— отвечал Карин.— А ты ничего себе, а смотри, я и Лидия удерживали до поры. Ага. Как, думаю, он выкрутится? А? Это еще один из китов, на которых я держусь,— давать сдачи.

Карин хлопал Лобова по спине.

— А ты, молодой, ничего. Все правильно. И за себя, и за Зойку, и... В конце концов не купил он ее.

— Да разве в этом дело?— Лобов, потресанный, пылающий, вытирал лицо майкой и шагал, как в клетке, по кубрику.— Не в ней же дело... А потом, все дело — она сама...

— Дело-дело-дело. Все правильно, я тебе говорю. Карин тоже раздвигался. Он, подкаскивая на одной ноге, стянул с другой штанину и сказал:

— А вот знаешь, молодой, мне иногда жутко обидно, что я не сын академика.

Лобов рассмеялся, и швырнул майку на свою койку, и подумал, что, видимо, действительно все правильно, все так, как и надо.

25

Директор рыбачьей артели стоял у носовой кишовой планки — скобы для направления тросов — и жестом показывал место. Рядом с ним находились Старков, два водолаза из аварийно-спасательного отряда, кое-что из команды и несколько рыбаков.

«Сто тринадцатому» по договоренности артели с управлением и спасателями предстояло расчистить от топляков — давно затонувших судов — самый ходовой для ловли лосося в путину участок.

Рыбаки объясняли, что часть рыбы уходит между грунтом и сетью, идущей не по-над дном, а значительно выше из-за торчащих из донного ила остатков кораблей еще-де петровских времен.

— Чертовое место,— говорил директор артели.— Пустишь сеть выше, рыба низом идет, дашь глубину — потерял сеть.

Водолаз одевали вчетвером. По команде его товарища раздвигали горловину скафандра и с криками натягивали зеленый кожан на высоченного человека.

Тетя Лина стояла рядом, вытирала фартуком блестящее лицо.

Водолазы шутили:

— Может, попробуете, тетя, слезите туда? Если, конечно, костом подойдет...

Тот, что оставался на палубе, уставился на вышед-

шую из надстройки Зойку. Завинчивая гайки на шлемы приятеля, он вздохнул и сказал помогавшим ему Карину и Лобову:

— Лада вам, такая цыпа на коробке.

Карин неопределенно промывчал, Водолаз подмигнул:

— Всем хватает?

Электрик сощурился, обернулся в сторону Зойки и отдал водолазу гаечный ключ.

— Смотри, когда тебя будем опускать, назад не вытаскиваем...

Водолаз засмеялся. По его команде двое рыбаков еще раньше начали вращать большие колеса ручной воздушной помпы, а водолаз в скафандре, подгибая голову, проверил работу выпускного клапана и кивнул.

По выходящим на поверхность пузырькам воздуха на борту следили за тем, как он менял направление и удалялся от буксира.

Лобов стоял у борта и потихоньку выпускал шланг-сигнал.

— Что-что? — закричал вдруг в телефон, поднявши руку, водолаз на борту.— Так... так...

Он повернулся к подошедшим артельщикам и объяснил:

— Там три балки. Две большие, а одна почти вся в грунте.

Директор артели немного подумал, потом обратился к Старкову:

— Ну, как, капитан? Сначала с этими разделаемся? Старков кивнул.

Топляки были в двух местах, и после того как, заведя с помощью водолаза старый, тонкий буксирный конец, ходом судна обе балки выдернули из грунта, а потом лебедкой подтянули и закрепили у борта, «Сто тринадцатый» перешел на другое место.

Водолазы поменялись ролями. Точно так же вытаскивали еще одну окаменевшую деревянную конструкцию и с запозданием, пригласив рыбаков и водолазов, собрались в салоне на обед.

Давно в нем не было так много народу, давно не велся такой оживленный разговор. Артельщики разместились на краю стола, водолазы смешались с командой. Тот, что говорил о Зойке на палубе, и здесь усердно наблюдал за нею, встречая и провожая глазами.

Из камбуза шел приятный запах жареного лосося. Рыбаки еще в порту принесли две огромные, чуть ли не по метру рыбы, и, приготовивая их, тетя Лина постаралась не подкачать.

Старков с главным артельщиком ушел обедать в каюту.

Карин щелкнул себя по горлу, пояснив:

— У рыбака-то есть, я видел, а кэт-то — ни-ни... Закусил за него.

Зойка то и дело заходила в салон, уносила и приносила миски и, заметив на себе частые взгляды одного из водолазов, недолго повела плечом.

Водолаз уже по-свойски толкал Карина в плечо и говорил:

— Геннадий, так она серьезно ни с кем?

Электрик улыбался.

— Не мысля, не мысля...

— Нет, серьезно?

— А что, ты привык быть спасателем?

— Да нет, я просто...— не находил слов водолаз.

И Лобов и Лашков не торопясь шевелили в мисках вилками и прислушивались к разговору Карина со своим соседом.

После обеда буксир снялся с якоря и пошел в порт. Старков так и не показывался из каюты, а в рубке рядом с Лашковым, стоявшим на руле, находился помощник. Он уперся локтями в раму окна

и, тихоноко насистившая, смотрел на бегущую навстречу буксиру поблескивающую воду.

Лашкову не терпелось вернуться в салон, где остались и гости и свободные из команды. Наконец он попросил Сапова заменить его на руле и быстро спустился вниз.

В салоне водолазы под громкие возгласы окружающих обыгрывали очередную пару в домино, на этот раз Куртеева и Шило. Лашков вошел в тот момент, когда после очередного проигрышного хода Куртеев стукнул ладонью по столу.

— Шило! Шило!.. И что же дал тебе такую острую фамилию? Ну чего же ты дулла мне отрубашь? Ги черта не следишь за картой...

— Чего не следишь? Чего не следишь? — для вида кипятился Шило, который в самом деле хотя и играл в домино часто, так и не научился запоминать кисти. — А сам ты куда этого, пустышку, сунул?

— Какую пустышку? Ты что, перегрелся?

— Ну этого, четвершного...

— Четвершного... Смотри! — Ливадий многозначительно стукнул костяшкой по столу.

Зойку Лашков увидел за угловым столиком, там же был Лобов, Куртошкин, один из водолазов.

Горечь, сухая и горячая, разлилась в твердой груди Лашкова. Никогда Зойка не была с ним рядом такой открытой, внимательной и улыбчивой, как сейчас, рядом с Лобовым, — радиста и чужих он не видел, не замечал.

Зойка улыбалась, подолгу радостно смотрела на Лобова, и золотые искры в ее выпуклых глазах освещали все ее лицо.

Лашков дождался, пока она не посмотрела на него, и, небрежно повернувшись, двинув желваками, вышел, сплунул за борт и, рывками подтягиваясь за поручни, поднялся в рубку.

26

А Сулин ничего. Улыбается, машет перевязанной рукой. Не успели закрепить концы, как он уже убежал на борт. Радостный, немного похуеший.

Ему дали отпуск, а после обещали направить опять на «Сто тринадцатый» — он попросил. Пришел он за вещами.

Старков приветствовал его за руку. Сообщил, что заявку на матроса в управление и не думал подавать, хотя на руле приходится стоять и боцману и помощнику; что, в общем, все в порядке, пусть он, Сулин, едет в отпуск, а после него — милости просим.

Боцман с Кариным предложили собрать для Сулина немного денег, потому что отпускных у него почти не будет: проработал мало.

Лобов торопился на почту. Долго стоял у окошка, и когда уже vystоял очередь, обнаружил, что не взял с собой документа. А письма выдавала незнакомая женщина. Пришлось возвращаться назад, в порт, и бежать к почтатку совсем с другим настроением: «Вернулся — добра не будет».

Но писем было много: от матери, Севки, Эдьки, от Натки.

Лобов пересек улицу, миновал магазины и в скверике, выбрав поукромнейшей скамейке, сел на нее и разорвал первый конверт.

Ребятм повезло. Правда, они не набрали баллов для штурманского отделения, их определили на артиллерийское. Это хуже, но терпимо. Севка писал, что им уже выдали форму, из старшекурсников наз-

валили отделенных — ну те и куражатся... Перзое увольнение только через месяц, к ноябрю.

Эдька писал о том же в основном, что и Севка, не было в его письме только жалоба на строгую дисциплину.

Теперь Наткино. Лобов читал Наткино письмо и за строчками, за словами не видел ее. Не видел той Натки, которая совсем недавно закрывала своими колючими коричневыми глазами все его настоящее и будущее, воспоминание о которой держало его в постоянном напряжении и примирало со многими вещами. И ему было грустно, было ценного досадно, что все так получается, словно бы само по себе и словно бы по их обоюдному желанию — его и Натки.

Он прочитал письмо второй раз, почувствовал какую-то неловкость за первые ее письма — теплые и смелые — и посмотрел на буквы «Н», Наткину подпись. Обычно она писала имя полностью — «Натка». И его письма были теплыми и смелыми, может быть, даже больше, чем Наткины... «Как просто...» — подумал Лобов. — Не ведь обмана никакого не было, Никакого не было. Или было? Нет, не было, не было. А что же было? Самообман? Зачем же выкручиваться? Какой самообман? И у Натки самообман? И там, дома, тоже? Тоже был самообман? А сейчас что? А сейчас ничего. А Зойка? Ах, Зойка! Да, да, Зойка, Зойка. Конечно, Зойка...

Лобов поднялся и быстро зашагал в порт. В кубрике — подвыпивший, злоющий Карин. Как оплеухи, отвечает кому-то переселенные эпитеты. — Паразит, вот паразит, жаб! Да он же... да он дырку в галюне проковырял, смотрел, как бабы в душе моются. Тонну обглядывал, Венеру нашел, пока она купатком не шаркнула... В-вот паразит! Дырка спасла, уж очень маленькая, надо было б ему ф-фары почитать...

Электрик встал навстречу Лобову, но хмель потянул его назад, и он сел, приподнял руку.

— Молодой, пойдй сюда, сядь сюда.

Карин опустил голову.

Незадолго до этого, проводив Сулина, они с Лашковым вернулись на вокзал, в ресторан, где уже сидели до отправления поезда. Заказали еще водки. После нескольких рюмок Лашков заговорил о Зойке, о том, что он думал, что она ничего, а она кошка: чуть поглядь — и полный порядок.

— А ходит-то, а ходит-то, — говорил Лашков. — С таким видом, будто вся команда того гляди за него конится.

Он напяливал рюмки, гримасничал, будто ему на самом деле противно говорить о Зойке, но продолжал и продолжал говорить о ней:

— Меня коржик от ее ужимок... Теперь этого салагу... в этого салагу вцепился. А? — Лашков тронул Карина за рукав и скривил в отвращении свои острые губы. В середине нижней было видно маленькое пятнышко веснушки. — Зря вы тогда удерживали, надо было и ему и ей отвалить за...

Лашков произнес гадкое слово, и Карин, до тех пор молча евизив, пивший и слушающий, уже хмельной, отодвинул, разливая водку, свою рюмку и, напугавшись, чтобы яснее выделить из ряби перед глазами лицо Лашкова, сказал:

— У тебя клюв.

— Что? — не поняв, спросил Лашков.

— У тебя клюв, а не рот, — повторил Карин. — И молодой из тебя ведь котлету бы сделал... Ах-ах-ах! Да ты же спасибо должен сказать!.. Да ты же... Что, не хватило тогда тебе? Не наелся?.. Да тому, что с тобой поладит, нужно премию девять... Ах ты, морда! Сам дерьмо, и Зойку дерьмом решил... Ах ты, морда...

Они не подрались, они выбрались из ресторана и, оскоряя один другого, направились в разные стороны: Лашков в город, Карин на судно.

Электрик встал и, шатаясь, шагнул к Лобову.

— Он же в детстве бутылками промышлял. Сначала около пьяных ошивался, а потом на молочном заводе в склад залез—это точно, это он сам говорил. Это же паразит. А? Бутылками промышлял...

Карин положил руку Лобову на плечо, притиснул его к себе.

— А ну его... Я ведь, знаешь, Димка.. Он ведь Зоюку обманул. Смотри сюда, ведь она мне... в общем, я плавать на нее хотел. Хотя нет, нет... Но ведь она сама к тебе, я вижу, я все вижу, молодой. Я вижу...

— Чего-то вы?—По трапу неслышно спустился Шило и распахнул тамбурные двери.—А? Чего вы? Он проснулся в кубрик локматую голову.

— Закрой двери!—Карин рванул рукой воздух.—3-закрой, говорю!..

Лобов приподнялся, подошел к своей койке, машинально взбил подушку и ощутил под ней что-то твердое. Он откинул подушку—яблоко! Положил их на ладонь. «Яблоки!.. Зойка!.. Ну, конечно...»

— Подожди, Генка, я сейчас,—быстро сказал Лобов, вырывая рукав из цепких пальцев электрика.

Зацепившись за стол, он выскочил на трап, быстро поднялся наверх и устремился к камбузу. Тетя Лина скребла металлической сеткой закопченную кастрюлю. Зойки не было. Лобов прошел к женской каюте, стукнул костяшками пальцев, толкнул дверь.

— Ой!—Зойка, приподнимаясь с пола, одернула юбку, кистью руки отела упавшие на лицо волосы. Она опустила тряпку, которой мыла пол, в ведро и, часто дыша, смотрела на Лобова. Она хотела что-то спросить, но он шагнул к ней, взял ладонями за голые горячие, влажные плечи, придивнулся к ней и прикоснулся ртом к мокрой, солоноватой коже лица.

— Ой, подожди!..—Зойке было неудобно, что она такая потная. Она не понимала, что происходит... Измажешься же... Ты выпил...

— Ни капельки.

Лобов отпустил ее. Зойка, выгнув губы, дунула на упавшую на глаза пряду, сощурилась, посмотрела на него.

— Ты что это?—спросила она.

— Ничего, просто так. Я пойду...

Лобов дотронулся до Зойкиных волос и повторил:

— Я пойду...

Медленно сойдя по трапу, он вернулся в кубрик.

— Ну где же ты ходишь?—Карин схватил его за рукав.—Вот, я принес яблоки, с вокзала.—Он положил вторую руку на яблоки и затряс головой.—Ведь Зойка к тебе... Она же видит. А? А я? А я что? Может, тут любовный сиомер нужен? А?..

27

Последние рейсы перед закрытием навигации для «Сто тринадцатого» были особенно тяжелы. Постоянно штормило, в кубриках, в рубке, даже в машинном отделении было холодно—котел отопления не обеспечивал достаточного нагревания воды, нужно было чистить водогрейные трубки.

Лобов в редкие свободные минуты почитывал физику, решал задачи, но уже бессистемно, на что напад,—почти все казалось хорошо знакомым. Он послал в училище письмо, напомнил о себе, о том,

что ему обещали в конце декабря оформить лаборантом в лабораторию двигателей—до лета, до приемных экзаменов. Он ждал ответного письма.

Но в один из рейсов—может быть, он должен был быть последним—с буксиром случилось непоправимое.

28

Куртеев подтолкнул капитана вперед и снова крикнул:

*** — Ходом! Хода-ам!..

До Новых Солонцов было семнадцать километров. Только теперь, пробежав метров пятьсот, все поняли, что это значит—семнадцать километров бега по мокрому или обсушк, который лишь у самого края, к снегу, был подсушен морозом. Семнадцать километров—в начинающей корчиться от мороза одежде, с остро занывшими руками, лицами, лопатками, с едва волочащими ноги капитаном и Корюшкиным...

«Если бы в Солонцах знали, если бы знали... А может, знают? Может, разглядели дым от горевшего на буксире факела? Хотя нет, не-ет... мыс метает и пар над водой... А вдруг!..»

Эта мысль была у всех.

Вместе двигались с полчас, хотя о времени никто не думал. Все время оборачивались назад и измеряли расстояние до буксира, пока он не скрылся за мысом. Потом капитан и Корюшкин стали отставать, Сапов и Воронов тянули за руки Сулина и бежали ровно. Плотной кучкой бежали Карин, Зойка и Лашков, и только Шило, прижав руки к груди, не оглядываясь и прижимаясь к самому берегу, опередил всех.

Куртеев передал капитана Лобову и подбежал к остановившемуся радисту.

— Федей! Пойми ты, дура, нельзя стоять! Федей!—Куртеев забросил руку Корюшкина себе за голову, обхватил его правой рукой под мышкой и потянул вслед за всеми.—Топай сильнее! Топай! Вон за тем поворотом,—боцман слотнул,—еще поворот, а оттуда и Солонцы видно.

Потом Куртеев посмотрел вперед на далеко убежавшего в одиночку Шило и тихо проговорил:

— 3-зареза, а! И не обернется, гад...

Он тряхнул Корюшкина и крикнул:

— Топай, Федейоха!..

Тот напрягся и, тяжело, с хрипом дыша, задвигал ногами чаще.

— Ах, гад!—повторил боцман, глядя в сторону Шило.

Передние все так же, не быстро, но ровно, бежали и оглядывались. Карин на ходу растирал Зойку плечи.

— Стоп!—выдохнул Куртеев.—Фух!.. А где же Лобов, Ильин?..

Он остановился, и радист в его руках сразу обмяк и подогнул ноги. Ливадий приопустил его и оглянулся. Лобов, взвалив капитана на спину и держа его одной рукой за штангину, а другой за руку, шатаясь, шел метрах в тридцати. Лица его не было видно, он смотрел себе под ноги.

Воронов и Сапов—они уже таскали Сулина—и Студенец, увидев, что Куртеев остановился, тоже стали.

— Идите, идите!—махнул боцман рукой. Кричать он уже не мог.

Лобов проковылял мимо, не остановившись. Куртеев слышал его спазматический стон и видел, как

пар часто-часто и неровно вырывался у него из рта, Ливадий ударил ногой о ногу и охнул от боли. «Пальцы! Мерзнут пальцы, ничего не чувствуют... Портянка одна там, где выжимались... Или на ноге!..»

— Фе-дь! Фе-дька! Дурак! У-у, дурак! — Боцман ухватил Корюшкина за затвердевший ворот и за руку, нагнулся и везали его на спину.

Ноги кололо, кололо почти так же, как иногда в лютый мороз при долгом стоянии на улице, только — да что сравнивать! — обморачиваются ноги, обморачиваются... Куртеев даже присел от этой мысли.

— Фе-е-дь! — Он на бегу стал трясти Корюшкина, стараясь сильней ударять ногами по земле.

А Старков просил Лобова оставить его:

— Брось меня, сынок, беги один: Слышь, Лобов?.. Придешь с подмогой — забереешь... Слышь, Лобов, даже не знаю, как тебя звать, забыл, как звать... Молодой ты, один дойдешь, брось... Все равно мне теперь... Слышь?..

Холода он не чувствовал, он не думал о нем, он думал только о том, что случилось неоправимое, самое страшное, что перечеркивало всю его трудную жизнь, уцелевшую на недавней жуткой войне, все, чем он жил. Он опять подумал, что дойти вот так до Солонцов они не сумеют. «Не-ет, не-ет... Вон и Куртеев еле идет с радистом... А Лобов... Лобов! Ох, Лобов, Лобов...»

Несколько раз он хотел оттолкнуться от спины этого мальчишки и остаться тут, на обшукке... замерзнуть, чтоб только не проклинали живого. «И один ведь он дойдет, Лобов, дойдет...»

— Слышь, Лобов, тяжел я, отдохни чуток... отдохни, опусти меня... — снова начал почти беззвучно шевелить губами Старков.

Лобов не отвечал. Его шатало из стороны в сторону, и, наконец, запутавшись в собственных ногах, он упал. Упав лицом, не успев подставить руку, и расклевывая бровь и скулу. Лобов чувствовал, как кровь потекла по веку, по щеке... Старков придавил его и никак не мог найти в себе силы сползти в сторону, на землю.

Рядом послышались шаги и тяжелое дыхание боцмана, тоже едва влощившего ноги.

— Ну? — сипло спросил он, переводя дух. — Давай, Дима, считай, половину прошли, вон второй мыс... Пошли... нельзя стоять...

— Ильич! — толкнул он капитана ногой.

Тот с трудом открыл глаза и грустно, тяжело посмотрел на боцмана.

— Все будет хорошо... — нагнулся к капитану Куртеев и, отойдя к Корюшкину, стал растирать ему грудь и спину негнущимися пальцами и локтями.

Лобов сделал то же самое с капитаном. С трудом приподняв Старкова, подсел под него. Навалив его на себя, он встал на четвереньки, с большим напряжением выпрямился и почувствовал, как спину облегла сразу схваченная морозом жесткая, холодная, как железо, рубаха.

— Только бы не упасть, тогда все... — вслух сказал он и двинулся вслед за боцманом.

А Шило был уже у самого поворота. Он так и не обернулся, а все бежал и бежал, часто растирая то уши, то грудь, то голову и лицо скрюченными пальцами. Он ни о чем не думал, только одно доходило до его сознания: «Спасисты, спасисты, спасисты...»

Во второй тройке Сенов вдруг выпустил из рук. Сулина, упав, поскользнувшись на голыше, и, тотчас сев на землю, стал судорожно снимать с себя сапоги. Это ему не удавалось, руки не слушались. Тогда он, сунув ладони под мышки, стал яростно

бить одной ногой о другую и громко выкрикивать ругательства.

Когда Куртеев дотопался до них, помощник все так же бил ногой о ногу и ругался, а Воронов и подошедший Студенец растащили Сулину лицо — сам он сделать это уже не мог.

Подступавшие волны прижимали их уже к самому краю обшукки, еще немного — и идти придется по колено в снегу...

— Да не так! Снегом три, сильнее три! — свистящим шепотом выдохнул Куртеев. — Держись, ребята, считай, дошли... Шило за людьми побежал, вот-вот будет... Шевелись, шевелись, ребята! Шевелись...

— За какими людьми? — продолжая ругаться, закричал помощник: — М-мр-разь он! Да-а!.. Мр-разь!.. Во-о, гляди-и!.. — Он показал сжатым кулаком в сторону мыса.

Боцман подошел к помощнику и сказал:

— Ладно, не ори, помоги Лобову. — Он показал назад на вновь упавшего моториста. А вы тут вот с ним... кивнул он Воронову и Студенцу на Сулина. Потом, гребянув руками снега, стал отчаянно тереть Корюшкину лицо. Оно было белым и жестким, снег не таял на нем — рассыпался, как мука...

Лобов не отдал капитана Сапову. Он встал сам, предварительно снова посадив Старкова и став перед ним на четвереньки. Помощник потер Старкова безжизненное лицо, помог Лобову приподняться на дрожащие ноги и снова закружился на месте, чувствуя острую боль в пальцах.

Незадолго до этого Лобов, повернув набок голову, не ощутил привычного, хотя и слабого, дыхания Старкова. Ему также показалось, что спина, отогрета телом капитана, стала остывать, а нести стало еще тяжелее, совсем немого. Тогда и пришла мысль о смерти. На ходу услышать сердце было нельзя, и Лобов, подогнув ноги, опустился вниз.

— Не-е-т! Не-а-а!.. — Лобов ударился лицом в снег и, крутя головой, застал... Мама! Ма-ма-а! Почему ты так далеко... почему ты не видишь...

А день был ясный. Начиналась зима, это были ее первые морозы. И было какое-то несправедливое, ужасное несоответствие чистого, безоблачного неба, широкого серого разлива воды, бесконечного нетронутого снежного покрова — горю людей, совершенно лишившихся сил, хотя и не потерявших еще последней надежды...

Теперь они останавливались через каждую сотню шагов, снова в иступлении терли себе и потерявшим способность двигаться товарищам лица и руки снегом, ударяли по снегу руками, растащили груди и спины и снова двигались вперед.

Когда они увидели дома Новых Солонцов, это прибавило им сил, и они ускорили шаги и двигались до тех пор, пока не увидели бегущих к ним людей. Тогда они попадали, почти все сразу, только Куртеев, ухватив Корюшкина под мышки, спиной к бегущим тащил радиста и неслышно шевелил губами...

И все-таки Старков остался жив, правда, и лицо, и руки, и ноги у него оказались обмороженными. А Корюшкин скончался в медпункте Солонцов, скончался буквально в ту самую минуту, когда из ближнего центра пришла машина экстренной помощи.

Вслед первой машине, увозящей радиста, смотрели все. После того как она, переваливаясь с боку на бок, скрылась за поворотом дороги, Лобов мол-

ча приблизился к Шило и, когда тот повернулся к нему, ударил разламывающейся от боли рукой в лицо. Потом закричал, бил и кричал. И Куртеев подскочил и тоже стал бить Шило...

К ним подбежали, обмякшего, плачущего Лобова и иступленного Куртеева под руки увели в медпункт.

Тяжелее всего пришлось Сулину, его еле спасли.

Лобов, Карин и Лашков, а также Зойка почти не пострадали, если не считать тяжелого воспаления легких и небольших язв на лицах и руках. Во время бега Лашков и Карин, поставив Зойку между собой, плотно прижавшись друг к другу, постоянно менялись на ходу местами, и это им помогло. А Лобова уберег Старков, так Лобов думал сам и все время говорил об этом товарищам.

В областной больнице, куда их привезли из Солонцов после оказания первой помощи, они собирались в одной палате, устраивались на трех койках (Зойка приходила со своего этажа) и говорили, говорили...

Однажды к ним пришел Шило. Они прервали разговор, тяжело задыхались, точно в палате стало меньше воздуха, и Шило, так и не открыв рта, ушел и больше не появлялся.

Вернувшаяся из отпуска тетя Лина — она всегда брала отпуск в конце осени, когда особенно штормило, — бывала у них ежедневно, приносила по две авоськи всякой еды, и охала, и говорила:

— Отощаете тут, ох, отощаете. Знаю я, как тут варют, — Генке на один язык...

30

— И вовсе не смешно, — сказал Карин Лобову, показывая на идущего впереди Лашкова.

Лашков, твердо, широко шагая, нес чемодан.

Лобов уезжал. Накануне во время обеда в салон ввалился вернувшийся из управления с почтой Куртеев и высыпал на стол письма. Ливадий тотчас вышел. В кармане у него было письмо Корюшкину. Боцман знал, от кого это письмо — от Тороповой Кати, она давно переписывалась с радистом, и он собирался летом поехать к ней в отпуск. Она еще ничего не знала о Корюшкине, и Ливадий решил написать ей.

Карин разбирал письма. Одно подтолкнул пальцем к Лобову — ему уже с конца лета писали на судно. Лобов вскрыл конверт, быстро пробежал глазами листок, оживился и передал его назад, электрику. Карин прочитал письмо, поднял брови и покачал головой. Потом сказал:

— М-да-а... Значит, дело на мази...

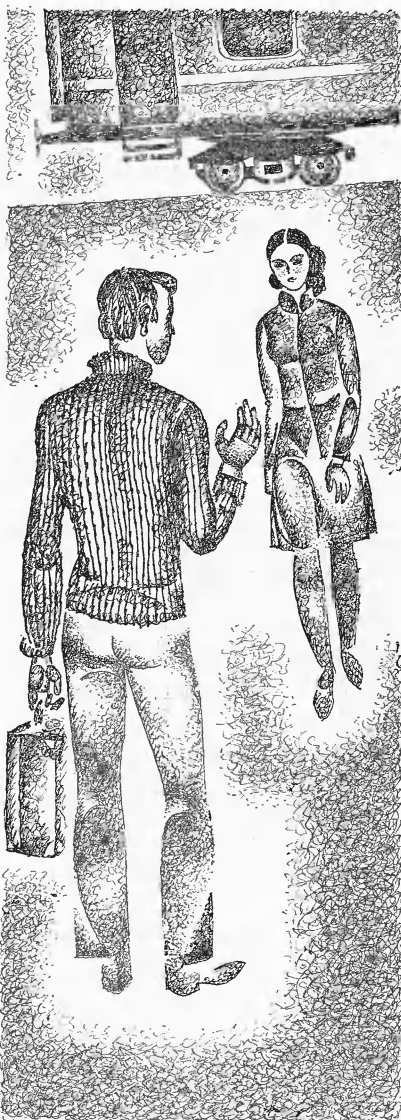
Письмо было из училища. Штаты лаборатории там утвердили, о чем и сообщали Лобову.

И вот его провожали, Лашков шел впереди, Карин, Зойка и Лобов несколько поотстали.

Лобов оглянулся на док, помазал рукой стоящим на палубе Куртееву, Воронову и еще кому-то рядом с ними. «Сто тринадцатый» уже готовили к выходу из дока, наружные работы были в основном выполнены, заканчивали их в помещениях. Команда на буксире оставалась старой, пришел только новый капитан — Старков находился в больнице до сих пор, — ждали радиста.

— А он ведь хороший сегодня, а? — сказал Карин, кивая в сторону Лашкова. — Он даже несет твои

3. «Юность» № 1.



вещи. Но, по-моему, боится, что ты передумаешь и останешься. А? Молодой? Вот будет номер!..

Он взял Зойку за локоты, но она с досадой отдернула руку.

Электрик повернулся к Лобову, протянул ему сетку и сказал:

— Нате, держите, волоките сами.

Он привалил шагу, догоняя Лашкова.

Сетка была нетяжелой: кое-что из еды, и Зойка сунула какой-то пакет. Она тоже взялась, за две ручки сразу, прикоснувшись к руке Лобова. Шли молча, потом Зойка, покачивая головой, тихо, словно про себя, сказала:

— Как быстро время летит...

— Да,— сказал Лобов.

Зойка медленно повернулась к нему.

— Ты приедешь сюда еще?

— Не знаю, я хотел бы приехать.

— Приезжай...

Темнело. Небо опускалось все ниже, на самые крыши притихших домов.

На асфальт перрона падали огромные, тяжелые снежинки.

— Ты счастливый: в снег уезжаешь,— сказала Зойка.

Лобов вытянул ладонь, на нее упало несколько снежинок.

— Это, правда, к счастью?— спросил он.

— Говорят...

Потом Карин хлопал Лобова по спине и говорил:

— Ну, давай сдавай, не зря задачки решали. Все время готовься, всю зиму и весну. А потом, глядишь, к нам обратно, а? А может, останешься? А что у нас плохо? А? Ну, ладно, давай-давай! Счастливио!..

Он сказал что-то шутовское проводнице, та улыбнулась, кивнул на Лобова.

Немного помолчали.

— Э, смотри сюда!— Карина словно осенило.— Боцман две бочки огурцов соленых получил. Что теперь нам кашка!.. А?

Все засмеялись. Кроме, кажется, Зойки. Рука у нее холодная, неживая. Лобов держал ее в своей и не мог отпустить: ему казалось, что она упадет, оборвется. Зойка смотрела на Лобова, и глазам ее было горячо, и какой-то туман наплывал на глаза...

— Если бы я знала, что ты приедешь...— сказала Зойка.

— Я хотел бы приехать,— ответил Лобов.

— Если бы я знала,— повторила Зойка и закрыла глаза.

На окно вагона упало несколько снежинок, они растаяли, потекли каплями по стеклу...

г. Псков.



Назир Хубиев

Лавина

Как лавиною, все мое детство
С головой завалило войной.
Помню: бьет пулемет по соседству,
Всадник падает рядом со мной...

До сих пор, когда скрежет лавины
Среди ночи поднимет меня,
Мне все кажется: руки раскинув,
Там, в горах, кто-то рухнул с коня.

Перевел с карачаевского
Константин СИМОНОВ.

Город зеленого листа

Пришла весна в предгорья Ала-Тоо,
Как молодость, прекрасна и чиста.
Стоит громада солнца золотого
Над городом зеленого листа.
Журчит вода арычная, речная,
Шумят ряды зеленых тополей.
Веселый мальчик, ласточек встречая,
Идет дорогой юности моею.
Вот здесь когда-то ласточкины гнезда
Я сам лепил из глины по весне.
Шумит листва, весенний легок воздух,
Весенний город подпекает мне.
И держат небо тополя опоры,
Оно синей, чем двадцать лет назад...
Еще светлей серебряные горы,
Все зеленой светло-зеленой сад!
И снова детство предо мной предстало,
Как мальчик, я по улице бегу
Туда, где Ленин смотрит с пьедестала
На край вершин, чьи головы в снегу.
Апрельским днем, сойдя со склонов
Ближних,

Под крыльями весеннего дождя
Сложу цветы холмов и гор киргизских
К подножью изваяния вождя...
Я помню, как открылся предо мною
День осени странщичьей бундари
Над площадью торжественно-большую,
Где мчится Фрунзе — всадник Октября.
Вновь облака над белыми горами
Я вижу с Лебединого моста.
Все глубже в сердце входишь ты с годами,
Вид города зеленого листа.

Перевел с карачаевского М. СИНЕЛЬНИКОВ

Владимир Лавринович



Подъем

Я вспоминаю тот подъем,
И, как сейчас,
Мы обязательно вдвоем:
Я и мой «Краз».
Мне двадцать два,
А он старик. Давно старик.
Я здесь держусь едва-едва,
А он привык.
Ему труднее: десять тонн,
Как десять мук,
А он ползет — железный стон,
Железный стук.
Налево выставила грудь
Стена, хоть бейся лбом,
Направо тоже не свернуть:
Свернешь — металлолом.
Но нам не нужен поворот,
Нам на подъем,
Туда, где добрый небосвод
Сияет днем,
И десять тонн не просто вес,
А рыхлая руда,
И с нею мы хоть до небес
Добрались бы тогда.

Руда

Огромная чаша. Полчаши пыли,
Остальное машины. Вверху луна
И сосны, испуганные, у обрыва застыли
В предчувствии падения.
Невероятная глубина.
Зачем же, зачем же они землю роют!
Старый тетерев, обхвативши сук,
Сматрив глазами второстепенного героя
На всплески света. В глазах испуг.
Ну рыли б днями. Зачем же ночью!
Ночь, она на то и дана,
Чтоб каждый, кто хочет — а кто не хочет! —
Отдавался покою благотворного сна.
Но люди роют. Они не герои.

Работа в общем обыкновенная,
Жаркая, пыльная и трескменная.
На каждой машине — трое.
И днями, ночами — просто всегда
Со дна туманного, вниз манящего,
Запыленная, как водители, оживающая руда
Поднимается в настоящее.
Поддерживать огонь, как это просто...
Но такот силы, заливает пот,
Лопата, толпки ненасытный рот.
А когечар на вид почти подросток.
За дверью ночь. Уральская зима
Грозится заморозить все вокруг,
Но в инеем поросшие дома
Течет тепло из торопливых рук.
Я дома. Я смотрю в свое окно.
И кажется, что в мире только снег,
Да есть еще хороший человек,
Который дарит мне свое тепло.

Николай Година



Мама

Мама чуточку горбится
Оттого, что стара.
Мама ходит по горнице,
Блеск наводит с утра.
Водит мокрою тряпкою
По кровати резной.
Руки мамыны дряблые.
Как картошка весной.
А в окно сивой мордочю
Мягко тычет зима.
До чего ж мама гордая,
Все сама да сама!
У меня руки белые
И не мятая кость.
Ничего я не делаю,
Не положено — гость.
Оттираюсь бессовестно
Целый день у стола.
Мама смотрит так солнечно
На меня из угла.
Очень хочет не горбиться,
Мол, ничто не берет...
Пахнет ладаном горница,
Хвойный след от ворот...

Виктор Нахомов



Сон

Дымятся трубы. Крематорий.
Освенцим. Я уже развезя.
Лечу на Родину, которой
Я был, и есть, и буду верен.
Граница. Родина. Смоленщина.
Ветряк. Речушка. Перевоз.
Седея, сгорбленная женщина,
Полуослепшая от слез.
Ее морщины, словно шрамы,
Глаза с извечно мольбой.
Кричу, кричу ей: «Здравствуй, мама.
Я снова дома, я с тобой!
Вновь буду жить под отчей крышей
И никуда не пропадать...»
А мать меня совсем не слышит,
Меня не замечает мать.
Стоит, качается былинкой,
Концы платка прижав к плечу.
А я над нею пепелинкой
Летаю и кричу, кричу...



Эти «МАЗы» в ночи
На «катюши» похожи.
Если снизу, с откоса
Дороги смотреть.
— Вечно мнится война вам,
Одно все и то же! —
Говорят мне. Я каюсь.
Не буду, мол, впредь.

Только это слова.
А на деле попробуй!
Память прошлого жжет.
И бессильны года.
Как несчастный малыш
Горб пронесит до гроба,
Так и мне мою память
Не деть никуда.

Надо мною —
Берез шелестящие пряди,
Лунный зрак замигал
На поверхностях луз.

И ревут, проносясь
По ночной автостраде,
Самосвалы,
Похожие так на «катюш».

Актриса

Мы уясняем честь по чести
Азы сценических наук.
Красноречивы в каждом жесте,
Пленительны движенья рук.

Звонит ликующее слово.
Блеск глаз лукаво-озорной.
И вся она взлететь готова,
Как будто крылья за спиной.

Не занимать запала чувств,
Но все же, все же, черт возьми,
Такая преданность искусству,
Когда ни дома, ни семьи,

Когда вся жизнь ее на сцене
Прошла и — на кого пенять!..
Нет, нам ее самосожженье
Не оценить и не понять.

А вот ее вопрос не гложет:
Правда мль нет!.. Глядит в окно
Одна из жертв, без коня, может,
Искусство вымерло б давно.

Герасим Иванцов



Когда за ярким блеском молний
Ждут гулкий громоподобный раскат,
То в этот промежуток долгий
На небо даже не глядят.

Но в тишине так ясно слышат,
Как пивень близится кругом,
Что каплю первую по крыше
Считают за далекий гром.

А он совсем внезапно рядом
Оглушит, в стеклах зазвенит
И птицей жуткою над садом,
Срывая листья, пролетит.



Тополя обнажены наполовину —
 Чьи-то души так обнажены...
 Можно смело рисовать картину
 Осени, тепла и тишины.
 Женщину, стоящую под кленом,
 И трезубец желтого листа
 Над ее плащом темно-зеленым,
 Описать черты ее лица,
 Бесконечно близкие, и все же
 В этот миг беспомощно понять:
 Для нее ты, как и все, прохожий.
 ...Вот как просто осень описать.



И сердце не оборвалось,
 И седины не появилось —
 Все так прекрасно обошлось,
 Что ничего не изменилось.
 И я, как прежде, перед сном
 О нашей встрече вспоминаю
 И будто сказочным вином
 И пьян и друга угощаю.
 И не могу дожидаться дня,
 И ночь считаю за потерю,
 И, что не любишь ты меня,
 Я до сих пор еще не верю.

Евгений Поликутин



Забываю о славе и прочем,
 ни чьего не пытаю ума.
 Безымянным завидую зодчим,
 сотворившим резные дома.

Погляди на дедьях земные, —
 велики они или малы, —
 как темны рассужденья иные,
 а наличники — бон как светлы!

Словно светятся новым и давним.
 И пока я под ними сижу,
 забываю о чем-то о главном
 и на маленький дворик гляжу.

Потому, может быть, нам и надо
 на пути к простоте и добру
 ребятишкам качели наладить
 и щенку починить конуру.



А женщина простит —
 как к жизни воскресит.
 Ты хуже камня злого,
 а женщина простит.

Друзьям оно не ново —
 прощать тебя живого,
 а женщина простит,
 как к жизни воскресит.



И вся-то жизнь — осенним полем
 в каких-то нескольких шагах.
 Как много грусти и покоя
 в намокших убранных стогах!
 Под серый дождь до горизонта,
 за не приметные луга
 легло в краю односезонье,
 и утро спрятано в стога.
 Как будто там уже чужбина,
 которой не было родней.
 Но почему вокруг не видно
 ни птиц, ни зайцев, ни людей?
 Быть может, плохо им живется,
 когда измок осенний жар!
 Когда ушло из сердца солнце,
 как золотой и теплый шар!

Лев Таран



Деревня Казанка

Проселок рыжий от хвоинок,
 Весь в легком сумраке лесном.
 И чей-то старенький ботинок
 Лежит, приямый колесом.

И вот над желтым косогором
 Приподымается село.
 Поет телега хриплым горлом,
 Поет бездумно и светло.

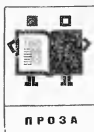
Синеет поле в отдаленье
 И лес — оранжевый, рябой.
 И, словно знаки ударенья,
 Дымы над каждою трубой.

ВИКТОР ПРОХИН

Родился в 1942 году.
После окончания Кишиневского
университета
работал на телевидении,
затем служил в армии.
В настоящее время —
сотрудник молдавского сатирического
журнала «Кипэруш».
В центральной печати
публикуется впервые.



ДВЕ НОВЕЛЛЫ



Рисунки А. Чернова, студента
VI курса Института имени В. И.
Сурикова.

1. ТЕЛЕВИЗОР

В село провели электричество. Тудораке продал корову и купил телевизор. Теперь уж он не обтирал стены клуба в ожидании очереди на бильярд. Как только наступали сумерки, он стелил на лавку мягкий коврик и усаживался перед телевизором.

Капли дождя барабанили по дранкам крыши, а там, на экране, чередуются иные миры, полные невиданных чудес. Серьезные с виду мужчины перепрыгивают на лошадях через камышовые барьеры, парни с заломленными набекрень шапками отбивают батуту¹, и одна женщина, прекраснее подружки жизни самого главного районного начальника, рассказывает о повышении урожая капусты в сравнении с прошлым годом.

Не стоит даже пытаться вытащить Тудораке из дома в такую минуту. Легче оторвать ножку лавки, на которой он сидит, чем отодвинуть его от телевизора.

Покончив с делами, Ильяна тоже усаживается рядом с мужем.

— Ну и голова у того, кто придумал это чудо! — шепчет она.

И ей кажется, что в этом деревянном ящике собраны все небылицы из сказок бабушки.

Постепенно дождь утихает, и кошка, очевидно, почуяв мышь в коридоре, начинает царапаться в дверь.

— Поднимись же ты да выступи!

Тудораке закидывает ногу за ногу. С ума сошел он, что ли, разве можно оставить телевизор из-за кошки, а вдруг на экране появится сама английская королева?

Ильяна поджимает губы и отодвигается на край лавки — верный признак того, что в эту ночь некий женатый человек будет спать один-одинешенек на двуспальной кровати.

В конце концов Тудораке сдается. Обещает, что привезет ей из Черновцов платок с красными цветами, и жена, успокоившись, кладет голову на мужнино плечо.

¹ Бату́та — название молдавского танца.

Покупая телевизор, Тудораке даже не подозревал, сколько новых друзей он приобретает. Только приходишь домой, не успеешь еще повесить пиджак на вешалку, как на пороге уже появляется сосед: приехал отдать долг — какую-то мелочь, которую занял еще в позапрошлом году. Слово за слово, потом по сигарете, и вот выясняется, что сегодня передают футбольный матч.

— Не видели случайно поросенка с кольцом? — приоткрывает дверь соседка, у которой другого домашнего животного, кроме ленивого кота, не водилось испокон веку. Задержавшись на минутку, она находит, что один из футболистов, тот, что в перчатках, похож на ее племянника из Кодрян, и, позабыв про поросенка, остается смотреть футбол.

Немного погодя, повернув голову, хозяйка убеждается, что дом полон гостей. Одни смиренно усажены на полу, другие стоят, а самые догадливые принесли с собой даже табуретки. Все смотрят и слушают. Но вот сзади поднимается какой-то шумок. Нашелся один умник, которому известно, что по второй программе как раз сейчас идет фильм с участием Чарли Чаплина. Присутствующие разделяются

на два лагеря. Сердца одних принадлежат кино, сердца других — футболу. Неожиданно конфликт разрешается самым мирным образом. В момент, когда судья положил мяч на одиннадцатиметровую отметину, где-то происходит замыкание, и село погружается во мрак.

«Что ни говори, а это вещь», — размышляет Тудораке о телевизоре. — Находишься в курсе всех событий и к тому же знаешь, какая будет погода».

Правда, у Иляны другое мнение. После ухода гостей ей опять придется мыть полы. Вообще с тех пор, как в доме появился телевизор, Тудораке очень изменился: он совсем забыл все нежные слова.

«Лучше бы я вышла замуж за Петраке!» — все чаще вспоминает Иляна одного знакомого кинемеханика, который однажды приколол ей на платье марцишор¹. А жил тот Петраке неподалеку, в затерянном среди холмов селе.

¹ Марцишор — сувенир из белых и красных ниток, который парни и девушки дарят друг другу в первый день весны — первого марта.



Придумав, как можно избавиться от телевизора, Ильяна начинает издавать:

- Дорогой, а не покрыть ли нам крышу цинком?
- Откуда столько денег?
- Продадим телевизор.
- Да ты что, с ума сошла?

И жена становится серьезной. Пока супруг развлекается у телевизора, она гремит ведрами и кастрюлями.

— А почему это она не смотрит? — замечает кто-нибудь из гостей.

— Чтобы глаза не болели, — успокаивает его Тудраке.

А однажды, будучи «под мухой», признался, что наибольшая глупость из всех, которые он совершил, — это та, что «взял в жены гражданку, которая совершенно газет не читает и даже не знает, где находится Индия».

Услышав такое, Ильяна собрала все свои платья в сундучок, закинула его за спину и перешла жить к матери. «Погоди-ка, голубчик, есть еще на свете настоящие мужчины, которые не очумели от телевизоров. А я полюбуюсь, каково будет тебе, когда найдешь себе паву с маникюрами, педикюрами да с международным положением в голове». И мысли ее неслись в село, где проживал Петраке, куда, по ее мнению, никогда не дойдут столбы, а без электричества телевизор нем, как сундук. Тудраке остался один в доме, как в лучшие времена холостяцкой жизни. И даже не подозревал, что теща ходит по адвокатам, интересуясь, нельзя ли подать на него в суд: ведь корова, которую он продал, чтобы купить телевизор, была свадебным подарком ее дочери!

Ильяна так и не дождалась, когда Тудраке прибежит к ней хотя бы узнать, сколько соли нужно положить в борщ. Она собрала свой сундучок, попрощалась с родителями и вернулась в мужин дом. Ключ был на месте, под камнем, возле конуры Тарзана. Открыла она дом и начала наводить порядок.

Удивлялись молодухи великой любви Ильяны к мужу: он ее не звал, она сама вернулась к нему, хотя ушла по собственной воле. Зато женщины постарше говорили, что в святые ей все равно не выйти, — дескать, видели, как ходила она смотреть кино в то село, где жил Петраке. Но не удалось ей посмотреть картину, потому что кассирша не могла ей дать сдачи с трех рублей; с тех пор, как у людей появился телевизор, в кино ходят очень редко, и только на новые картины, так что в кассе не было и рубля. И даже сам киномеханик Петраке водрузил над крышей своего дома антенну, похожую на деревянные грабли.

2. КРАСНЫЕ РОЗЫ

Встречаясь на районных олимпиадах или на колочем жниве, где мы пасли коз и следили, чтобы они не перевернули какой-либо комбайн, мы, сельская ребятня, сразу же после знакомства начинали плести всякую всячину, лишь бы прославить свое село. И чего бы ни выдавали хвастуны из окрестных деревень, все равно мы укладывали их на лопатки своим главным козырем:

— А у нас есть один, на которого даже собаки не лают!

Мальчуганы из других колхозов тут же немели. Еще бы: всякое село может вымостить камнем дороги и построить железные качели, а пусть попробует они утихомирить всю собачью свору, когда поблизости проходит чужой!



Его крестили в день святого Дмитрия, а сельчане — и стар и мал — звали его Дима-дурачина. И не то чтобы творил он какие-нибудь непотребные глупости, а просто мог часами смотреть, как вертится колесо телеги, и с не менее торжественным видом, чем у Галилея в момент открытия им вращения Земли, шептать: «Крутится...»

Шло второе лето войны. Немцы наводили понтонные мосты через воды Дона, и одна чужая птица, сделанная из чужого металла, заблудившись в бескрайности большевистского неба, уронила несколько бомб на околицу, где Димка, шестилетний голлец, усердно барабанил в ржавое ведро. То ли от взрывной волны, то ли от испуга у него навсегда остался разум шестилетнего мальчика.

Очень любил Димка праздники. Только слышит гармонию, так и несется прямым через сады в клуб. Удивлялись женщины, почему он выбирает такую необычную и неудобную дорогу. Димка отвечал им, обрывая репьи со штанов, что по улице ходят машины и там пыль столбом, а тетя позавчера как раз постирала ему рубашку.

Говорили, что есть у него где-то и отец и мать, но тетка любила его больше родителей, поэтому и забрала жить к себе. Не дай бог, чтобы сказал кто-нибудь плохое слово о ее Димке! А по праздникам, прослезившись за стаканом вина, говорила, что они, собаки, лучше людей, потому и не бросаются на голубиную душу.

Щупленький с виду, Димка опрокидывал подводу с глиной, как будто там была солома. Несмотря на это, любая девчонка могла разделить его в пух и прах. Потому что при крепких бицепсах смекалка

у него оставалась детской. Но никто из нас не подумал бы тронуть его даже пальцем. Был он незаменимым игроком в лапту, а осенью каждый день ожидал терпеливо у ворот школы, когда кончатся уроки, чтобы вместе с нами пойти ловить раков. Так же, как и мы, носил в кармане луковичку, чтобы его тетя не могла догадаться, что он курит.

Обычно ему доверяли стеречь возле дома утят. Иногда он вместе с тетей пропалывал свеклу, помогая ей выполнять норму, или же крутил пресс на маслобойке.

Председатель предложил тете устроить парня сторожем в правлении. Она, конечно, согласилась, но выразила опасение, что ему будет страшно по ночам.

Целыми ночами светились окна правления, где Димка не гасил свет. Он сидел над подшивками газет и радостно поздравлял всякий раз, когда ему попадалась буква «д» — единственная, которую он отличал от других.

Вначале работники правления разыгрывали Димку. Прятали его шапку, посылали за яблоками в чужие сады, а потом выпрашивали их все до одного. Но постепенно привыкли к нему и перестали замечать его так же, как не замечалась цвета дверной ручки, за которую хваталась десятка раз в день.

Только ученица Дуся никогда над ним не смеялась и даже сердилась, если какой-нибудь шутник разыгрывал Димку.

С некоторых пор она каждое утро стала находить свежую розу на своем столике возле окна и каждый раз заливалась при этом краской. Мужчины начали шептаться по углам, всячески истолковывая таинственное появление цветов. И один любовознательный от рождения не в силах был сдержать свое любопытство. Он спрыгал однажды за кустами и выследил, как Димка на рассвете сорвал розу в колхозном палисаднике и, оглядываясь, чтобы его кто не заметил, поставил ее в стакан на Дусин стол.

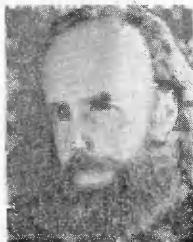
К концу дня работники правления начали чешать языки насчет Димки и Дуси. Все эти экономисты и помощники бухгалтеров, которые за всю свою жизнь никому не подарили цветка, знали откуда-то, что красный цвет означает любовь. И если Димка приносит Дусе красивые розы, то дело ясное...

Достаточно было только начать. Дальше слухи разрастались, подобно снежному кому, который катится с горы. И, наконец, когда этот ком достиг внушительных размеров, он достиг и до Дусино го мужа, тракториста с крепким телосложением и слабаватым умом. Услышав, что Димка-дурачка сохнет по его Дусе, тракторист разъярился, как буйвол, и в тот же вечер, встретив парня на улице, отколотил его сумкой с гайками, которые прихватил из бригады, чтобы сделать грузила для невода.

Не в силах вынести такого унижения, причиненного неизвестно за что, Димка собрал все свои пожитки в сумку и ушел из деревни, вероятно, к своим родителям. Соседи уговаривали его теньку подать в суд на тракториста, но она заявила, что проку не будет: Димкины синяки не заживут быстрее.

Так село лишилось единственного человека, на которого не лаяла ни одна собака.

Перевел с молдавского
Борис МАРИАН



Лев Щеглов

Имена

Опустевают имена,
Один лишь звук собой являя,
Так вымирают племена,
Язык на память оставляя.
Еще по слуху различит
Его звучание ученых,
Но смысл исчезнувший молчит,
На неизвестность обреченный.
Что там за именем твоим!
Какие замыслы и страсти!
Еще привычно говорим
Друг другу вежливое «Здрасте».
А кто там здравствует!
Какой
Таятся джин в твоём сосуде!
Какою новою рукой
Освободен оттуда будет!
Как осквешивает времена
Своим явлением великим!
Опустевают имена,
И лица прошлые безлика.

Снегири

Не скупись на святое слово —
Говори его, говори!
Видишь, как расцвели багрово
Над сугробами снегири!
Им бы тоже лететь на розы
И вдали о зиме жалеть...
Нужно очень любить морозы,
Чтобы так на снегу лететь!

В библиотеке

Я вхожу без доклада
И сажусь в уголок —
Мне распутывать надо
Вековечный клубок.
Размотаю по нитке,
Узелки раскручу,
На рога той улитке
По земле проскачу.
Буду ехать и ехать
От огня до огня,
Будет звонкое эхо
Впереди у меня.
Я пряду свою пряжу,
Кто-то завтра придет,
Все концы ее свяжет
И полотна соткет.

Татьяна Смергина



Солнце качалось
На лапах еловых.
А внизу мы смеялись
Двое...
А потом про меня
Наши бабы
Говорили что-то
Плохое...
А потом кукушка
Кричала!
Ельник эхом вторил:
Ку-ку!
Сколько лет она обещала:
Быть несчастной
Мне на веку.
Вот беду на меня
И накликала.
В это летечко,
Лето сухое,
Тонкой веточкою
Поникла я,
Так и высохла вся от горя.
Дождь мне в листья —
Раскосыми нитками,
Серым-серым дождем
Земля вытана.
Травы стелются,
Распознаются,
А кукушка кричит,
Надрывается!
Прошло летечко,
Лето сухое...
Никогда не придут сюда
Двое...
Дождь опутал
Еловые лапы...
Что вы сделали,
Глупые бабы!
Все забылось,
Что вами рассушено,
Только... милый
Не мой уже суженый!
В мокром ельнике,
Там, на суку,
Бьется, мечется эхо:
Ку-ку!..



За рекою паром не видно.
То ль кричать!
То ли ждать на ветру!
Скрип от гравия, нудный и длинный,
Далеко ль меня видно одну!
А сегодня был снова иней.
Берег весь от него промок.
И уже из воды кто-то вынес,
Лодку выбросил на песок.
Вот потащат домой, в ограду.
По траве килем след взбороздят.
У хлевя на подпорках поставят,
Она выгнется, будет лежать.
А сейчас, запрокинувши весла,
Предалась она серой тоске,
Словно девушка, вскинувши косы,
Стройно вытянулась на песке...
Что-то долго паром не видно.
То ль кричать! То ли ждать на ветру!
Скрип от гравия нудный и длинный.
Далеко ль меня видно
Одну!..

Николай Щербинский



На автобусной остановке

Прощай, в понедельник нам больше с тобой
не выдаться!
Прощай! В понедельник леса прекратят
осыпаться.
Автобус отходит. Прощай же,
не то опоздаешь!
Прощай на прощанье, как будто и вправду
прощаешь.
Следи за дорогой бесцельным,
непристальным взглядом,
За тенью деревьев, бесшумно летящею
рядом.
За птицей, травой, за неспешной походкой
солдата,
Смотри, это мы, те, которые были когда-то.
Не помни, а просто следи и следи
с постоянством
За мерно летящим безмерным осенним
пространством.
Смотри же отныне печально куда-то
в безбрежность.
Летя по дорогам своим все быстрее
и быстрее в неизбежность.

Анатолий Кравченко



Когда отдымит метелью февраль,
и дрогнет на реках лед,
и зимнего солнца тусклый фонарь
мартом вовсю качнет, —
травой из-под снега следы прорастут
у старых военных дорог:
с востока на запад пролеет маршрут
и с запада на восток.
Бесенних разливов спадет вода,
и пыль заметет следы.
Но многим из тех, кто ушел,
никогда
назад уже не прийти.
И лишь ночами увидят опять
выросшие сыны
отцов, возвращающихся назад —
оттуда, из той войны...

Анатолий Титов



Я присягал звезде и стягу,
до хрипоты кричал — ура!
И рифмы пылко на бумагу
стекали с лезвия пера.

И жизнь, проигрывая гаммы,
меня своим путем вела,
преобразуя раны в шрамы,
верша великие дела.
Земля качалась под ногами.
От затаженных боев устал,
я огрубевшими губами
твердил неизблемый устав:
так будь же, Муза, не капризна,
будь песне времени годна,
а слава —
это, как Отчизна, —
дается нам на всех одна.



Пылится сад. Линяет форма грядок.
Затягивает хламом водоем.
Присущий крупной стройке беспорядок
рельефно проявляется во всем.
Я новосел и человек нездешний.
Но привлекает мой пытливый взгляд:
озябшие деревья и скворечни
так сильно по уехавшим грустят.

Валентина Телегина



Слова любви

Не создан человек для одиночества.
С дремучими инстинктами в крови,
Он может жить без имени, без отчества,
Но никогда без ласки и любви.

Живой душе святое поклонение
В грехах нам забываться не дает.
К живому телу тайна тяготения
Хранит и движет человеческий род.

И пусть цари догматами и спорами
Тревожат мир и саблями звенят, —
На вымерших развалинах истории
Слова любви, как маки, шелестят.



Стучали холодные струи
И звенькали тоненько.
Пьянили твои поцелуи,
Как запах шиповника.
И в долгой и нежной печали
Намокшие сучья трещали.

Когда это было, давно ли!
Тянулось веками!
На старом картофельном поле

Заброшенный камень.
Ворона на камне кричала,
И все начиналось сначала.

Хожу я, зову я кого-то
Устами паломника.
Осыпаны эти болота
Цветами шиповника.
Цветами, дождями, шипами
Моя переполнена память.

Уходит, уйдет все живое
В полынь и крапиву.
Но это величие покоя
Подобно разливу.
Все это еще повторится —
Забвения Русь не боится.

Генрих Кац



Дорога

Дожди. Предательски юлит дорога.
Буксует под дрожащим колесом.
Здесь если кто-то и припомнит бога,
То в смысле, мягко скажем, не святом.
Дорога посильней морской болтанки
Качает самосвалы по горам.
И, словно к рулевой своей баранке,
Шоферы привыкают к топорам.
Дорогу настигают спозаранку,
Абстрактному виновнику грозя.
Но только, право, к вымошким портянкам
Привыкнуть человечеству нельзя.
Нельзя привыкнуть к леденящей дрожи...
Под вечер возвратится шоферия,
Согреется скорее (кто как сможет)
И вывесит портянки у огня.
Но перед тем свои родные «КРАЗы»
Пристроит на ночевку, на постой.
И на асфальте возле автобазы
Сползет с колес дорога полосой.

Удивленье

В этой жизни мы смеемся, возмущаемся,
Обживаем и Сибирь и небеса.
Только реже, только меньше удивляемся —
Приучили нас к великим чудесам.
Приучили, объяснили все открыто,
От космических до ядерных орбит.
И нас больше удивляет срыв «Зенита»,
Чем рассчитанный полет ракет в зенит.

Удивляет лист весеннего раскроя,
В каплях солнца паутины хитрой нить.
Удивляет нынче близкое, простое,
Что, наверно, невозможно объяснить.

Константин Ковалев



Ночью я черною птицей в окно вылетаю.
С криком лечу я к знакомому дальнему краю,

Чтобы под утро назад на постель
возвратиться
И о подушку удариться белой птицей.
Так я лечу над провалами черными ноци,
Реки, и горы, и осень мне тычутся в очи.
...Ниже и ниже... Вот детство, а рядом

по лугу
Дуб тихо бродит, зеленую ищет кольчугу.
Речка и омут, а в нем — разноцветные
рыбы

Возле расколотой лунной диковинной
глыбы...
Черная хата, и бабушка, кажется, снова
Что-то бормочет, а в стойле вздыхает
корова.

Голуби спят на соседской большой
голубятне.
Ниже и ниже... а сердцу приятней,
приятней!

Где-то за речкой — топ-топ! — жеребенок
гуляет,
Там, где душа моя, там, где душа обитает.

Картошка

Мы в Гомель вернулись за армией вслед,
Мы в Гомель вернулись, а Гомеля нет!
Не камни, не пепел кругом, не зола —
Картошка росла!..
Как будто бы вспать пробежали века,
Как будто бы вспать протекли облака,
И вспать за веками река отползла —
Картошка росла!..
— Так где же здесь люди!! — спросил
мой отец...

Внизу показался старинный дворец.
Был цел он! Чья сила его сберегла!..
Картошка, картошка росла..
А вот и землянки среди битых камней,
Руины, избушки — найдем и люди!
Недаром на пепле неправды и зла
Не горечь-полынь, а картошка росла!

ЭТЕРИ БАСАРИЯ

Ей двадцать два года.
Окончив десятилетку,
она работала
литсотрудником
в газете «Советская
Абхазия».
Сейчас — студентка
Литературного института.
«Балагур» —
ее первый рассказ.

РАССКАЗ



Рисунки А. Ахальцева,
студента VI курса Инсти-
тута имени В. И. Сурикова.

БАЛАГУР

Внашей деревне он пользовался большим уважением. И если кому-нибудь нужен был совет, он непременно шел к Алиасу. Старик было семьдесят лет, по кавказским понятиям, возраст в общем-то зрелый, но, конечно же, не преклонный. А Алиас к тому же был подвижен, весел и ни разу не болел. Невысокого роста, худощавый, он двигался быстро, склонив немного набок гладко выбритую голову, седые и длинные усы его всегда свисали вниз, но отнюдь не уныло, а скорее с чувством собственного достоинства. Алиас редко носил на голове башлык, но он неизменно лежал на плечах; небрежно закинутый назад конец башлыка с длинной кистью жизнерадостно стучал по спине при каждом шаге.

Жил Алиас на краю деревни, недалеко от моря. По утрам он брал свою старую берданку и шел к морю — стрелять нырков. Обычно нырки плавают довольно далеко от берега, и попасть в них из старой берданки — возможность маловероятная, но это никогда не охлаждало пыла Алиаса. После каждого промаха старик философски изрекал, обращаясь к мальчишкам, которые всегда оказывались рядом с ним: «Кинь в утку камень, попадешь — хорошо, а нет — камнем большие станет в море».

Уж только по этому изречению можно понять, что Алиас был заядлым оптимистом, проигранных ситуаций у него не было. У внука его — восьмилетника Беслана, безбоязненного непоседы, вдруг прорезались педагогические способности, и он обучил своего деда читать и сносно изъясняться на русском языке. Говорят, что однажды в городе Алиас по-срамил даже продавщицу газированной воды благодаря своему знакомству с русским языком. Оказывается, старик попросил у продавщицы: «Дай вода». А она, молодая поборница правильности речи, возмутилась: «Надо сказать не «вода», а «водды». «Слушай, дорогой, ты вода продаешь или грамматику продаешь?» — не растерялся старик.

Насколько этот факт достоверен, никому не ведомо. Может, это просто анекдот, скажем, бродячий сюжет, а кто-то из деревенских балагуров связал его с именем Алиаса. Точно известно одно, что сам старик отнюдь не отрицает слухов.

Каждый день Алиас появляется то на поле, то на чайной плантации, то в табачной казарме, а то и на строительстве школы в центре села. Он очень любит посоветовать, как надо взяться за ту или иную работу. Даже экскаваторщику у него есть что сказать, хотя он впервые увидел экскаватор, появившийся совсем недавно в нашей деревне.

— Надо уметь по сторонам смотреть, — учит Алиас молодого экскаваторщика, который, по его мнению, слишком сосредоточивает свое внимание на одной точке, а именно на ковше экскаватора. Но ему мало только советовать, и, часто не удержавшись, он присоединяется к работающим, особенно на кукурузном поле.

— И отдыхать толком не умеешь! — подтрунивает над ним его сосед и приятель Махаз. — Мало ты ворочал землю? Наконец-то выпрыгни, а ты опять норовишь под яром.

Махаз младше Алиаса на двадцать лет, но все равно они приятели.

— Тебе этого не понять, Махаз, у тебя и отец был лентяй, каких свет не видел; бывало, целый день у очага без курева просидит оттого, что лень ему нагнуться и взять жар для трубки, — отвечает старик.

Махаз примирительно качает головой, мол, что с тобой сделаешь. А когда у Махаза умерла престарелая теща, Алиас сыграл с ним такую шутку, что целый месяц об этом говорила вся деревня. Не успел покойник опустить в могилу, как Махаз получил телеграмму, которая гласила: «Тебрене пришла благополучно Приветом Хрисп». Тебрене было имя покойницы, а Хриспом звали ее мужа, умершего лет тридцать назад.

Махаз рвал и метал. Алиас посмеивался. Всем было известно, что телеграмму состряпал по поручению старика его внук — лоботряс Беслан. Махаз заявил в присутствии всей деревни, что если ему удастся отыскать человека, надругавшегося над дорогой покойницей, то не миновать беды. Но односельчане не очень обеспокоились, все знали, что Махаз не мог дожидаться, когда отойдет, так сказать, в мир иной «дорогая» покойница, которой в момент смерти было далеко за сто лет и которая, по мнению зятя, слишком была привязана к этой брэнной земле. Так что радости Махаза не могла омрачить даже эта нахальная телеграмма. И потом он ни за что не захотел бы «узнать» в виновнике Алиаса.

Разумеется, телеграмма не свидетельствовала о неприязни Алиаса к Махазу. Наоборот, старик был очень привязан к своему соседу, и редкий день проходил без того, чтобы они не увиделись, просто характер у него был такой: не мог жить без чужаества.

После обеда Алиас прочно обосновывался в беседке своего маленького дворика. Рядом с собой на низкой длинной скамье он ставил графин чаи — виноградной водки — и тарелку, в которой в зависимости от времени года менялась снедь. Ранней весной на тарелке лежали куски хачапури — домашнего пирога с сыром, так как для фруктов было слишком рано, потом хачапури сменялось майскими персиками, грушами, яблоками, а осенью появлялись чурчхела, орехи и куски сушеного инжира. Свою позицию в беседке Алиас покидал только поздней осенью, когда уж и бурка не спасала от холода. Тогда место действия переносилось в дом, к очагу. Но там было менее удобно, легко было прозевать кого-нибудь из соседей или знакомых. То ли дело в беседке! Пойдобнее устроившись на скамейке, Алиас следил за калиткой, выходящей на проселочную дорогу. Глаз у него был зоркий, недаром слыл в молодости одним из лучших охотников нашей деревни. Завидев же знакомого, чаще всего это бывал Махаз, Алиас дергал себя за правый ус и громко восклицал:

— Эй, Махаз, решил старика обидеть? Проходишь и не поинтересуешься, жив ли старикашка. Может, он уже давно богу душу отдал!

— Нечего приbedняться! До старости тебе еще далеко, — возражал неизменно Махаз, заходя к старiku.

И начинались разговоры о житье-бытье, о старине, которым не было видно конца. К вечеру собиралось человек десять соседей. И уж Алиас никогда не отпускал без чарочки чаи, без горячего ужина. Жена Алиаса, сухопарая Нуца, не то что была негостеприимна, а просто не любила слишком большого количества гостей да частые их посещения. К тому же, господи, какие же это гости, все соседи, а старик требует каждый день такого угощения, будто важный гость из города пожаловал. Так не долго и по миру пойти. Совсем свихнулся старик. Но некому сказать об этом. Сын работает в городе и приезжает домой только по субботам, и то не всегда. Перечить отцу он не станет, а этот Беслан — вылитый дедушка, такой же охотник до болтовни и безделья. Вот и позавчера Люна, учительница Беслана, жаловалась, что он все время как на иголках крутится-вертится. Да что требовать от внука человека, который и на поминках готов плясать, дай только волю!

Бабка Нуца вздохнула и поджимала губы, но спорить с мужем не смела. И по-прежнему каждый вечер в доме Алиаса собирались старики потолковать о том о сем. Свой протест Нуца выражала тем, что никогда не принимала участия в этих разговорах и даже невзначай не вставляла словенка.



Однажды к ним приехал наконец-то, как считала Нуца, достойный человек, знакомый их сына Алмысхана. Гость работал не то в милиции, не то в министерстве. Словом, был большим человеком. И надо ж было старику все дело испортить. За столом гость пожаловался Алмысхану на какого-то человека, писателя, который надсмехался над ним и описал его чуть ли не дураком.

— Это как, прямо по имени назвал? — поинтересовался Алиас, до этого молча слушавший разговор.

— Да нет, отец, — объяснил Алмысхан, — по имени-то не назвал, но того человека, которого описал, сделал похожим на Арчила. — Алмысхан указал на своего друга.

— И он узнал себя? — кивнув на гостя, спросил старик.

— В общем-то да, — несколько смущенно ответил Алмысхан.

— Ну что ты, дорогой, тогда обиделся? — с удивлением обратился к гостю Алиас. — Допустим, ты идешь по улице, а следом иду я. Вдруг ты на стене нарисовал ишака, а я подошел и стал вопить, что ты нарисовал меня. Так в чем же твоя вина, если я себя узнал?

Гость покраснел и взглянул на Алмысхана, призывая его на помощь.

— Ну, отец, зачем ты так? Не понимаешь в этом деле, зачем вмешиваться?

— Не понимаю, так объясни! — рассердился Алиас. — Тоже, яйцо курицу учит.

— Не сердись, дорогой, стар стал мой отец, — сказал по-русски Алмысхан своему гостю, но старик все понял и целый вечер был мрачен. А назавтра жаловался своей доброй компании:

— Не получился мужчина из Алмысхана, корня в нем нет, весь в мать, а вот этот, — он добро взглянул на Беспана, вечно крутившегося возле старших, — этот в меня, в огне не горит.

— Хвастать больно много стал старик, кланюсь твоими усами! — фыркал Махаз.

— Клянусь твоей плешью, хвастунов я за людей не считал, когда тебя еще и на свете не было! — беззлобно ответил Алиас, однако не забывая напомнить о преимуществе, которое давал ему возраст.

Предметом гордости Алиаса, кроме Беспана, был еще и рыжий, на редкость упитанный бычок, в котором дед и внук одинаково души не чаяли.

— Ну, погляди, что за спина у него! Двоим спокойно улечься можно! — хвастал Алиас Махазу, любовно поглаживая бычка по широкой гладкой спине.

Бычок на самом деле был очень хорош: крепкокогий, с лоснящейся рыжеватой шерстью. В восторг приводили Алиаса и короткие, с сильно заостренными кончиками рога бычка.

— Клянусь, Махаз, захочет он — и сейчас вздернет тебя на рога. Будешь висеть, как старый мешок! — искося поглядывая на соседа, подкалывал его Алиас.

— Ну, ну, ты поосторожнее! — сердился Махаз. Каждый вечер укрядкой от бабки Нуцы, которая не очень жаловала бычка именно потому, что он нравился старику, Алиас насыпал в старый медный таз несколько горстей кукурузных зерен, смешивал с крупной солью и относил своему любимцу. Затем долго наблюдал, как предводительный бычок хрюпал зернами.

И вот бычок пропал. Утром Алиас сам выгнал его вместе с коровами на пастбище. Вечером же коровы пришли домой без бычка.

Старик облизал все окрестности деревни, заглянул в каждый ров — может, бычок упал туда и не смог вылезти сам, хотя при его проворстве вряд ли могла стряпнись с ним такая беда, расспросил всех со-

седей, авось, к кому-нибудь случайно забрел, но все было тщетно. Беспан, в свою очередь, с друзьями прочесал несколько раз лес. И это не дало никакого результата — бычок исчез бесследно. Изнуренные и уставшие поздней ночью вернулись домой.

— Украли! — грустно высказал вслух старик мысль, которую он отгонял от себя целый день. — Сбылись, небось, старуха, твои молитвы! — не удержался он все-таки от шутки и взглянул на жену.

Бабка Нуца с тех пор, как пропал бычок, настроилась воинственно-любовно. Воинственно по отношению к злодеям, укравшим бычка, а любовно, соответственно, к бычку.

Только и знаясь зубы скакали! — накинута она на мужа. — Лучше бы поискал вора. — И вдруг лицо ее оживилось. — Я знаю! — победно сказала она. — Я знаю прохвоста, у которого рука поднялась на нашего бычка. Это сын Маруши, эта дилда Рюфик. Всем известно, что он на руку нечист. Это он. — Бабка с каждой минутой все больше утверждалась в своей догадке. — Чтò руки у него отсохли, мерзавца, да и что хорошего ожидать от сына неряхи Маруши и длинноногого Кадыра. Босмаки были все в их роду, босмаки и остались.

— Хватит, старуха, еще неизвестно, кто украл, да может, и не украли, заблудился в лесу, так к утру вернется, — прикрикнул на нее Алиас.

Но бычка не было и на второй день и через день. Нуца заявила, что если дело не прояснится, то она выцарапает глаза этому бесстыднику Рюфику. Алиас развел руками и призвал на помощь соседей. Когда почти все соседи собрались в знакомой беседке, Нуца, нарушив свое обычное презрительное молчание при подобных сборищах, разразилась длинной тирадой, из которой выяснилось, что вор, укравший бычка, — Рюфик и никто иной.

— Прохвост, неумный голодранец, да носить твоей матери по тебе траур, сейчас же признайся, собачий сын, где наш бычок! — совсем разошлась бабка.

— Будет тебе, Нуца! Нельзя же так, разберемся, — успокаивали соседи.

В это время у калитки появился всадник на вороном коне. Все замолчали, и даже Нуца, несмотря на то, что внутри колотали бранные слова, просясь наружу, стиснула зубы и промолчала.

Всадник между тем въехал в калитку, Алиас двинулся ему навстречу, все пристали, приветствуя гостя.

— Уй, это Ардашил, да падут твои горести на мою голову! — умильно воскликнул, засеменила Нуца к спешившемуся всаднику, узнав в нем племянника.

После взаимных приветствий гость, как близкий человек, был введен в курс дела.

— Мой отец, — заговорил Алиас, — да будет светлого его пребывание на том свете, был известный вселю округе конокрад, тогда это считалось почетным занятием, но, кланюсь тебе, Рюфик, своей седкой, он не только у односельчан, упаси боже, но из близлежащих сел никогда не уводил коней. Он это посчитал бы бесчестием. Я не думаю, сынок, чтобы ты стал обворовывать старика, от чьего дома до твоего ручья подать. Но всякое бывает; если случился такой грех, повинись, сынок.

— Что вы, ну как я могу вас обворовать? — обиделся наконец Рюфик. — Вы что, верите бабке Нуце? А потом я уже давно бросил эти дела, теперь я на шофера уучусь. Честное слово. Если не верите, так спросите у комиссара.

Комиссаром в деревне называли председателя сельсовета.

— Видишь, старуха, он говорит, что невиновен, — обратился Алиас к жене.

— А ты думал, что он так и скажет, что украл? Ослепнуть ему, если он видел бычка. Бесстыдник! — Старуха меня каждый день обманывает, а этого мальчишка я еще ни разу не уличал во лжи. Так кому же верить? — развел Алиас руками.

Все засмеялись, Нуца сердито покосилась на мужа. Вдруг гость, до этого молча слушающий, встал и отвел Алиаса в сторону.

— Слушай, Алиас, а как ваш бычок выглядит-то? Старик описал.

— Ух ты! — горестно ударил себя по лбу Ардашил. — Бывает же такое! Это я увел твоего бычка, провалиться мне на этом месте. Откуда мне было знать, что твой, на лбу же не написано, а животное больно хорошее, не удержался, да и нашел-то я его чуть ли не на другом конце села. Ну кто бы мог подумать! Завтра же я верну его тебе, слава богу, он еще жив. Надо же! Чуть своего родственника не обокрал! Ты только никому не говори.

— Все еще эти промышляешь? Говорил же, что бросил! — шепотом спросил старик.

Гость смущенно замаялся:

— Вообще-то я бросил, но как можно мимо такого красавца пройти, когда сам лезет в руки!

И тут старик рассердился. Да еще как! Очевидцы говорят, что таким рассерженным Алиаса не видели ни разу. И куда подевались его шутки-прибаутки?! Приподнявшись на носки — гость был выше его на полголовы, — он заорал срывающимся голосом:

— Вон отсюда! Вон, чтобы духу твоего не было! А бычка себе оставь, не нужен он мне, раз ты касался его. А ты, старуха, полюбуешься на племянничка. Вор! Проклятие вашему роду, стыд и позор.

— Как же, Ардашил, да падут твои горести... — по привычке начала Нуца, но осеклась.

— Вот именно, да падут все горести на ваши позорные головы! — гремел Алиас. — Вон отсюда!

— Зачем при всех кричать, сами бы — разобрались! — тихо сказал гость обиженным голосом.

— Ты еще меня учишь, молокоос? Сколько раз разбирался сами! А пользы? Тыква у тебя вместо головы! Тыква!

— Алиас, все-таки он гость, — напомнил один из соседей.

Ардашил затрусил к своей лошади, никто его не удерживал, и он при полном молчании покинул двор.

Алиас яростно дергал правый ус.

— Осрамил, подлец, заставил нарушить обычный отцов, — успокоившись, пожалел он. Первый раз его двор покинули, не подняв рюмки водки, не поев.

Старуха, неси нам что-нибудь выпить, закусь! — сказал Алиас бодрым голосом жене. Но все видели, что старик уязвлен в самое сердце, хотя и пытается не подавать виду.

На другой день старика не было ни на улице, ни в беседе.

— Заболел, наверно, от огорчения! — грустно сказал Махаз длинноносому Кадыру, отцу Гофика.

— С такой женой и в гроб сойти недолго, — ответил Кадыр, который не мог простить Нуце несправедливого отношения к Гофику.

Старик не выходил из дома, и в деревне все чувствовали себя неутоно, будто в чем-то провинились. — Что-то совсем спрятался наш злоязычный! — сокрушался Махаз.

И он очень обрадовался, когда спустя несколько дней, проходя мимо дома Алиаса, услышал:

— Куда ты, плешивый, путь держишь? И не оглянешься, точно мимо пустыря проходишь! Старика обижалось? Бог не простит.

Алиас сидел на прежнем месте. Рядом с ним на низкой скамейке стоял графин, полный прозрачной чаи, и миска с желтыми грушами.

Виктор Герасимов



Вода бурлила в зареве ручья.
Гудели вербы ночью над могилой.
Солдаты шли.
Весна была ничья.
Война была, и песни в мире были.

А кто в земле —
о том никто не знал.
Землей и небом пахли сенокосы.
И лишь ручей метался и стонал,
и плакал, как обиженный подросток.

Я приходил,
садился у воды.
Я приносил букеты из ромашек.
И для меня зеленые дрозды
военные насвистывали марши.

И как недобрый знак военных детств —
по небу
сонно самолеты плыли.

Здесь,
может быть,
и мой погиб отец!
Здесь у ручья его похоронили...

Дети

Дети забывают города,
Грозные годы и ненастья.
В детстве вспоминают только счастье.
Беды и невзгоды — никогда.

...по тылам грохочет товарняк...
...по Уралам носятся теплушки...
В том, что мамы нет и нет подушки,
Дети никого не обвинят.

И потом лишь, в школьной тишине,
Губы закупись,
Чтоб слез не видели,
Дети вдруг напишут о войне,
Что путевки в детдома им выдала...

Александр Фенев



Сверчок

И незрим, незаметен, а как голосист!
Уж травили тебя, уж морили!
Да откуда ты взялся, такой вокалист!
Чем средь ночи тебя разбудили!
О лунатик! Позволь же нам сны
досмотреть.

Будто так уж тебе все и рады.
В этот час колыбельную в пору бы петь.
Ну, а ты зарядил серенады.
Ну, а ты на игривый настроился тон,
Рассвистелся, как будто пернатый.
Уж давно на тебя порошок припасен
Раздраженной хозяйкою хаты.
И давно б тебе сгинуть, давно б умереть,
Возмутитель спокойствия рьяный,
И давно б тебе стоило лазаря петь,
Ну, а ты извергаешь осанны.
Ну, а ты раскрутил серебристую трель
В танце лунно-сумбурных мелодий.
За кусочек тепла, за убогую щель,
О, как ты благодарен природе!
И в сумятице вьюг — полусон, полубред,—
Эти трели в концерте неожиданном.
Как по-летнему ты в этот снежный рассвет
Голосишь за кирпичным органом.
Будто хочешь сказать ты: антрактов ведь
нет,
Чуть разлука — и сразу же встреча.
Солнце скроется — звездный рассыплется
свет.
Птица смолкнет — сверчок защебечет.

Венера

И атмосферой едкой ты одета,
И адским солнцем выжжена вода.
Ты, может быть, ужасна, как планета,
Но, как звезда... прекрасна, как звезда.

Давно когда-то, радостно встревожив,
Не тем ли светом ты тревожишь вновь!
Все говоришь, ты на любовь похожа.
Наверное, на первую любовь.

Ни лабиринтов нет, ни паутины,
И ты взойдешь еще до темноты,
Светлынь кругом, на небе ни единой
Звезды... и ты, одна лишь только ты.

Потом другие звезды загорятся.
Они тебя, возможно, и затмят;
И от звезды к звезде начнет метаться
Восторженный и ненасытный взгляд.

Но все напрасно, знаю, все напрасно,
Они горят на своде темноты,
Сначала те, другие, звезды гаснут,
И долго-долго светишь только ты.

Потом ты сносишься, и в лучах рассвета,
Бывает так, ты вспыхнешь иногда,
Что будто сам я на Венере где-то,
Где адским солнцем выжжена вода.

Алла Рязанова



Зимнее

В декабре снега хмельные,
Пьян от холода мороз!
Мчатся сани голубые
С колокольчиками звезд!
Мчатся сани! Охлест ветра!
Кони белые лихи!..
На ресницах, как на ветках,
Луновитые стихи.
Мчатся кони, ярко светит
Чудный след из-под копыт,
Наконец, на белом свете
Добрый путь и мне открыт!
Наконец, дороге воля —
Без границы и конца...
...Свет серебряный над полем
От любимого лица...

Меня спросили

Меня спросили: в ком моя душа,
Кто сторожит ее так преданно и нежно,
Что каждый мой едва заметный шаг
Любовно выслан светом и надеждой!
Меня спросили: как душа моя

Не убывает с каждым новым словом,
 Что даже образ мира сотворя,
 Она и защищать его готова!
 Меня спросили: есть ли та черта,
 Что срок души всегда подстерегает,
 И меж какими плещет берегами
 В пространстве обетованном мечта?...
 Что им сказать! Душа! Она сегодня —
 Начало всех истоков и начал...
 Моя душа, быть может, — капля полдня,
 Стекающая с женского плеча...

Елена Петрова



❊

Вам никогда не снились сны
 От ледников вдали,
 У края горной крутизны,
 На краешке земли,
 Про невозможный ураган,
 Про забытый лед,
 Про то, как белый пеликан
 Холодный ветер пьет!
 Клюв открывает для глотка,
 От влаги вдалеке,—
 И стынет капля холодка
 На остром языке.
 Она бездонна, как струя,
 Влажна, как облака!
 Осталась позади земля
 Из белого песка.
 Кружит над птицей ураган,
 Роняет гулы гром.
 Качает белый пеликан
 Разорванным крылом.
 Над зноем он парил, скользя,
 Был трудным перелет.
 И вот сейчас, закрыв глаза,
 Он встречный ветер пьет!

❊

Что ни изба — к реке крылечко,
 Одна на семь избенек речка,
 Один на речке перевоз,
 Один паром на семь берез.
 Зимой сугробы там до звезд,
 Скрипят морозы лютые,

Под кружевом семи берез
 Белым-бело, бело до слез.
 Лыжня летит на перевоз,
 Девчонку только путает.
 Она иначе не могла:
 Спросонком вызвали дела,
 Метель навстречу замела,
 Весь белый свет завесила.
 По взгоркам, как по этажам,
 Летит девчонка, чуть дыша,
 Летит, упряма и свежа,
 Прискакивает весело.
 И впредь бы ей не горевать,
 От горя не чернеть, как мать,
 А коль придется боль принять —
 Ее узнать бы издали...
 Пролить, крепясь, кадушку слез,
 Но больше чтоб не привелось...
 Чтoб семь дворов, чтoб семь берез
 Ее счастливой видели!

Николай Грачев



❊

Пошехонье, Суздаль, Кострома...
 Стынь-вьюга, пять месяцев зима.
 Бедный прах рассыпчат и кипуч.
 Наволоки в наволоках туч.

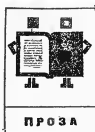
Наволоки в наволоках туч,
 В Юже вьюжит, бегится пурга.
 Снег сухой в лицо летит, колюч,
 Не видать ни зги за два шага.

Не видать ни зги за два шага,
 Мутно расплываются огни...
 Стужу и метельные снега
 В декабре, озлобась, не кляни.

В декабре, озлобясь, не кляни
 Стужу и метельные снега —
 Вешние опять наступят дни,
 Как бы ни была зима долга.

Как бы ни была зима долга —
 Соловьи ударят у реки,
 Закипят черемухи стога,
 В Родниках заблещут родники.

В Родниках заблещут родники,
 Вешние покажутся грома,
 И сплетут, как девушки, венки
 Пошехонье, Суздаль, Кострома...



**ВАЛЕРИЙ
ГРУЗИН**

РАССКАЗ



Валерию ГРУЗИНУ
двадцать семь лет.
После средней школы
он работал токарем
на заводе,
затем служил
в рядах Советской
Армии.
В армейской газете
печатал статьи
и маленькие рассказы.
Сейчас он студент
Литературного
института.

Рисунки
А. Барахтынского,
студента IV курса
Института
имени В. И. Сурикова.

ЕДИНСТВЕННАЯ...

Неделю назад запал сработал раньше, чем водолаз Семен успел просигнализировать на плот: «Подъем!». Сильный короткий удар по всему телу было последнее, что он запомнил, и теперь в палате военного госпиталя он ничем не отличался от других раненых и контуженных, доставленных только что с обожженных полей сражений. Там, на севере, Семен воевал по-своему: из школы саперов его направили не на передовую, а на торфоразработки, где подводными взрывами он должен был прокладывать путь торфодобывающим машинам: война шла к концу. Семен спешил всегда, но на этот раз запал оказался слишком коротким. На месте старого двухметрового корневища теперь должна быть мутная воронка, выпускающая тухлые пузыри...

Приходил он в себя на мгновения — сознание вспыхивало в нем слабым, дрожащим светом, когда сестра прикладывала ко лбу мокрую салфетку. Он припоминал, что работа не кончена, в подвальной полутьме болотного затона, пронизанного лучами несильного северного солнца, продолжали жить другие корневища, скользкие на ощупь, черные, упрямые, и он все порывался встать с койки.

— Успокойся, миленький! — Сестра меняла салфетку.

Стыхал, почувствовав облегчение, но память оставалась прикованной к зеленой долине между округлыми сопками с проблемскими свободной воды. По обводу сопки целый день ходило солнце, день длился сутки, и вдруг среди тишины и покоя по сопкам начинало скакать эхо взрыва.

Утром Семен шел в резиновых сапогах через болото к месту разработки. Слева оставался ручей и

большой валун с кривой березой в расщелине. Впереди, где отступили на сопки деревья от гнилой воды, масляно стучала помпа — сердце и легкие Семени. Он выходил на свет и здесь, на этой опушке, неизменно сталкивался со стряпухой. Эта женщина, растолстевшая в долгие годы вдовства, привычно пугалась его неожиданному явлению и роняла ведро с морошкой. Так было каждое утро.

— У, лешак косопалый! Чего крадешься!..

Она ругалась, а глаза ее светились хищным напряженным желанием: укради, лешак, схapai своими лапками! Она была в летах и некрасива. Семен нахал ей рукой и подмигивал. Жаль было эту женщину, но знал: нет, не она та, единственная, от которой в жизни никуда не денешься. И даже шагов не замедлял.

На свободной воде качался плот. Вода была снизу в железные бочки и со всплеском тут же отрывалась, как от живого, и сыпалась каплями по зеленоватой воде. Молодой моторист с закатанными по локоть рукавами приветствовал Семени вскинутой головой и, подняв вверх палец, приглашал послушать, как легко шипит воздух в шлеме. Семен хлопал его в плечо, и они смеялись. Из вагончика появлялся прораб с синим пористым лицом и тоже смеялся, смеюхм перешивая похмелье. Он приносил с собой тол, запалы и запах вчерашней выпивки. Потом моторист и прораб растягивали ворот скафандра, завинчивали шлем и давали по шлему напустившему подзатыльник — на счастье. Нагруженный ящиком со взрывчаткой, он отпуская последнюю ступень трапа, и его охватывала темнота и нетерпение: скорей, скорей истребить, расчистить, дать простор торфодобывающим машинам.

Мокрая салфетка уже не холодит, а жжет... Сестра едва удерживает его на койке.

Семен слышит голоса, растерянное бормотание прораба, причитания прибежавшей стряпухи и думает, что надо встать, тогда все успокоится и можно снова идти под воду.

И опять сестра выжимает салфетку и кладет на лоб.

2

Косени сорок восьмого Семен возвращался домой глухим. Бывший водолаз не узнавал родных мест, густых лесов, знакомых когда-то до последней кодобины, до последнего сгнившего пня, — недавняя война хоть и не докатилась до Матвеевки, но эо близкий канонад оказалось не менее разрушительным, чем снаряды, обилие срублены в беспорядке крайние деревья, отчего оплутки дико белели свежими пляжи, на дорогах нет следов машин, лишь узкие, прорезанные тележными колесами канавки, а вышел в поля — и того хуже: засеяна под хлеба половина.

Отсюда до дома оставалось версты четыре, решил передохнуть. Привалился спиной к высокому пню, вытащил из кармана несколько искрошенных сыроег, подобранных по дороге, и соль. Вило пожевал, не чувствуя вкуса грибов, ощутил па запах пачку пореформенных денег, но радости от этого не получил, натянул на глаза армейскую фуражку и попробовал уснуть. Но тут же передумал, схватился, отряхнул со штанов грибные крошки и быстро зашагал по дороге, стараясь сапогами затапывать глубокие тележные следы.

Мать совсем одряхлая. Сидела на приступочке, как это любил делать перед смертью дед, беззвучно покачивала головой, будто стирывала со лба мешающие мысли-капли, а сложенные пальцы на коленях походили на угог старого сруба. Отца у них не было. Еще до войны насмерть привалило незакрепленным штабелем кругляка на лесоповале. Не могли один старушечьи руки соблести небогатое хозяйство. Да что старушечьи! Тут и Семену одному не управиться. Нужно идти в колхоз за помощью.

И все это мелькнуло в голове, когда от калитки бросил взгляд на зачернелый от времени дом, на мать, сидящую не то в ожидании, не то в тоске по светлым прошлым дням, когда в доме было трое мужиков.

Мама!

Она вздрогнула, слепо зашурчала в сторону дороги, а он толкнул калитку, побежал по тропке сквозь ветки лапчатой смородины, бросил на ее колени свою голову.

— Глухой я, мама.

Пальцы ее затихли в волосах. Он поднял на мать лицо, пытаясь в шевелении ее губ угадать, как в детстве, прощение за свою неосторожность, за то, что принес с собой лишние хлопоты, но ничего не увидел в ее глазах, кроме заскорузлого безразличия убитого горем человека.

«Помирать скоро мамане...»

Он встал с колен, поднял под локоть мать, повел в дом.

Там он выложил на стол все деньги, что были. Мать долго разглядывала пачку, подносила нерешительно руки, но отдергивала, будто от них исходил жер. Всю дорогу думал Семен: обрывается мать. Только не такой радости он ждал. Старуха вдруг схватила пачку, оглянулась на окна, на углы, метнулась к лжанке, но передумала, подскочила к иконе и стала спешно тыкать неслитанные деньги за чудо-творца.

— Вы что, маманя? Ведь по запас не напасешь—

ся, вон лаги прогнили, крыша течет, не надо прятать.

— Знаешь много! — ответила старуха, пережившая войну.

Но Семен не слышал бормотания, и это пугало его еще больше. Пачка денег выскользнула из маманиных рук, и порхающие деньги заполнили весь угол под иконой. Старуха слезла с табуретки, заползала по полу, прижимая к груди одной рукой мягкие бумажки, а другой, быстрой и щипной, хватала остальные, еще не собранные.

Он вышел вон из комнаты, так и не узнав, где спрятала мать деньги.

Ни в тот день, ни на следующий Семен не пошел в правление просить тесу. Раз ей не надо, ему — подавно. Что жить ему в этом доме с женой когда-нибудь придется, об этом он и думать не смел. Кому нужны его болести? Он плотно завесил от матери вход в маленькую дедову комнату, отгородившись веселыми ситцевыми цветочками от мира. По ту сторону занавески умирала мать; когда все было кончено, эта голубенькая занавеска так и осталась висеть на дверном проеме.

3

Вкомнате было окно с двойными рамами, которые никогда не выставлялись на лето. Между рамами зимой лежали мертвые мухи, невост как попавшие туда. Дедова лжанка была устроена из деревянного топчана, покрытого пролежанным истончившимся соломенным тюфяком. Под ней валялся всякий хлам: нож, сделанный из полотна английской пилы, недоразный наличник — слыл дед по селу когда-то изрядным плотником, — уздечка, дедовы валенки, ненужные ветошки. Пахло в комнате высохшей с дождя овчины и мышами.

Днями сидел Семен на лжанке, вслушиваясь в огромную тишину мира, понятую им до конца с того часа, когда остался в дому один.

Приходили в сумерках его дружки. Они топтались у калитки, он видел их лица, но на улицу не выходил. Те гуляли с гармоной, в лихо растегнутых пиджаках, навеселе. И в окна стучали, но Семен не слышал. Он доставал из-под лжанки дедов наличник и от безделья дерезывал веселый узор. И думал: как жить дальше?

Зимой он нашел перепрятанные матерью в дымоход деньги, на них и жил, с боязнью ожидая, когда деньги кончатся и все же придется выйти на глаза людям из дедовой конуры. Он не хотел пугать сельчан своим калечеством, добавлять еще одного поспевшего инвалида на селе. Но деньги кончились...

С военного времени председателем осталась Екатерина Маркова. Умела она командовать не хуже рогатого старшины, и на пахоту народ собирала, и о фронтных делах рассказывала, в каждую мелочь хозяйства вникала. К ней и пошел. Обяснялась она с Семеном записками на полх старых газет, сваленных на углу стола. Екатерина сразу взяла несколько, потому что разговор предстоял долгий. А в конце, когда все расспросила и сама рассказала о колхозном житье, предложила Семену идти в кузницу, но Семен покачал головой: не хотел. В кузнице день-денский толчется народ, а вот на конюшню бы в самый раз. Присмотрел он уже: конное хозяйство колхоза, отошедшее за время войны, требовало одного конюха. На том и сошлись. Следующим утром Семен уже задавал лошадям корму, а



его предшественник, дед Матвей, ушел на отдых к своей старухе...

Утром мимо конюшни шли на работу дваки. До того часа Семен давно уже был в работе и не замечал их. Утром — самая работа. Больше всего ему нравилось чистить лошадей жесткой скребницей. Лошади тоже любили утреннюю чистку, стояли в проходе смирно, слушая Семеновы руки...

4

3 аглядывала на конюшню и Екатерина... Екатерина росла без отца, и в характере было у нее много мужских черт, которые вырабатываются в безотцовщине. Еще в дваках она была напориста, даже груба, покрывала на мать, когда что-то делалось в доме не по ее вкусу. А в период взросления, когда дваки ходят в невестках и смущаются от такого неприличного положения, у Екатерины не было никаких смущений. Работала она тогда в поле с бабами, командовала ими, подстегивала в работе, и получалось вроде неплохо. О мужиках не думала, а когда старшие ее бабы говорили о своих мужьях, только фыркала с презрением. Война сделала ее председателем: мужики все из села поуходили и только теперь возвращались.

Конечно, она знала, как дети рождаются, и понимала, отчего у инструктора исполкома, приехавшего в колхоз в сорок третьем, самом напряженном для фронтов году, глаза самоуверенные и дерзкие. Тот сидел на каурум жеребце и поглядывал на нее сверху, а ей солнце било прямо в глаза, и она щурилась, глядя на него вверх, и чувствовала себя униженной. Он тоже видел, что неудобно Екатерине смотреть на него, но с лошади не сходил и вел долгий разговор о хозяйстве, нахваливая старания председателя. Пришлось пригласить его в дом, иначе бы до вечера с лошади не слез.

В доме чаевничали. У инструктора на такой слу-

чай был приспесен сахар и щепоть заварки. И с этой щепотью долго пили чай, хоть и порывалась Екатерина все время бежать по делам.

— Куда же вы? — щурился на нее подобреший инструктор. — Неужто пару часов без вашего глаза не обойдется? Погода хорошая, вон какая, и на фронтах успехи... Посидите, поговорим.

— Посиди, на все не набегавшись, — поддакнула гостю мать.

— Вас, мама, не спрашивают.

— Норовиста лошадей, хоть и сходит с борозды, а тинет долго, — хохотнул инструктор, смывая с лысины мутные капельки пота.

Инструктор прогостевал до вечера и заговорил о темной ночи и путаных степных дорогах, намекая, что неплохо бы заночевать в доме Екатерины. Она положила его во второй комнате, и, хотя не было сказано меж ней и гостем ничего такого, что могло на-

сторожить Екатерину, чувствовала она волнение. Улеглись...

Тонкая фанерная перегородка пропускала все звуки, и Екатерина слышала, как ворочается и тяжело вздыхает инструктор. «Пусть только попробует!» — думала она и лежала вся напряженная, так что мышцы подрагивали мелкой судорогой. Она хотела расслабиться, но не получалось. Инструктор ворочался, вздыхал и вроде бы ничего не собирался предпринимать. А Екатерине уже немалого была ее напряженность, когда вздрогнула от мысли: «А что, если самой?..» Тотчас она спустила ноги с кровати. Снизу резанул холод сквозняка.

— Ты куда? — сонно спросила мать.

Екатерина взяла одеяло.

— Спите, мама, — зашептала. — Душно в хате, на сеновале.

А утром, будто не было бессонной ночи: видели ее и в поле, и в коровнике, где она распекала баб, да так, что все стало оборачивало на хриплый голос удивленных морды.

Заворачивала она и раньше на конюшню, к веселому балагуру и рассказчику деду Матвею. По старости годов проку от деда было мало: ноги лошадей были в грязи, кровинки, и навоз свален прямо в проходе. Но на деда она не кричала, а любила послушать его рассказы про молодость, как дед влился в свою старуху, как с неделю прятался они в гражданскую войну от всех властей, от пуль, от разгула банд в стожке сена.

Опустила руки на лугу седла, Екатерина, усмехаясь своим мыслям, ласкала лошадей шагом. И душа ее, туго перетнутая суровыми требованиями военного времени, отдыхала. Хоть и смеялась она над рассказами старого конюха, а все же грустно ей было слушать о чужой любви.

Отчего председателя продолжала заворачивать на конюшню, когда не стало там деда Матвея, никто не спрашивал, и так понятно: хозяину до всего есть дело. Но была еще одна причина: Екатерине нравился Семен. Нравилось, как он работает, весь крепкий телом; с широкими запястьями и красивой

коротко стриженной головой. Она бросала лошадей у ворот и шла к конюшне пешком, чтоб он не сразу ее заметил и можно хоть минуту понаблюдать, как он работает. То, что был он глухой, она не замечала — в его движениях не было инвалидской робости и неуверенности. И на конюху он был мало похож, больше на ловкого солдата, приставленного во время к лошадям. А когда он видел Екатерину, то выпрямлялся, подтягивал живот и отдавал ей честь, а его глаза смеялись.

Однажды она застала его работающим в деннике. Она постояла, со стороны наблюдая, как двигается его широкая спина между тесными перегородками, потом подошла незамеченной и прикрыла дверь на засов. Семен выпрямился.

— Не шали, слышь, Екатерина!

Толкнул ногой дверь, но засов был надежен.

— Выпусти, некогда...

Она знала, что он ничего не услышит, и могла говорить ему, что захочется.

— Теперь ты мой,— сказала она,— никуда тебя не выпущу,— и засмеялась.

А он гордо тряхнул головой и отошел в угол, отчего Екатерине стало неудобно за свою шутку. Она отбросила засов, вошла в денник и увидела опущенные сильные руки, а на лице его беспомощность.

— Не сердись, Сеня. То пошутила я, все хорошо будет.

Они постояли так с минуту, молча вслушиваясь друг в друга, и Екатерина, удивленная своей смелостью, думала, что надо уходить, и... не могла. Вот, сейчас, еще секундоочку... сейчас... Наконец она со владела с собой, оттолкнулась от Семена и быстро вышла. Вот такой она была. Только мало кто знал об этом.



3 а Матвеевой простор душу вытягивает. Семену чудилась великая справедливость жизни, что нет ни единого звука в этой бесконечности полей и перелесков.

Вышел табун за село, через долина шмыгнул заяц — дурная примета, — и было в беге его столько напора, испуга, дикости, что присели передние лошади, закосив в страхе глаза, точно им под морду сунули горячую головушку. Двое подсобных пазанов, Ванечка и Гена, бросились вперед ровнять ход, гикая, нацеливая бичами. И снова мерное покачивание в седле, будто плывет Семен по волнам своих мыслей. Глаза видят все и запоминают, а души плывут в тишине, и все они об Анке Мзыгину, Ду-мал он о том, что у Анки не такие, как у Галинки Рожкиной, брови, не выплывающие под мышинные хвосты, а широкие, щедрые, и волосы полуще еще, чем у Алены Свириной, — та приглаживала их одежной щеткой, опасаясь их буйства, а Анка не боялась снопца коротких волос. «Очень она красивая», — думал Семен.

Солнце проскакивает кроны перелесков по-сбачьи, сзади, провожая табун в поднятой пыли. Степные мухи тигрового окраса стоят на месте в воздухе, высматривая самую потную лошадиную спину или готовясь в дальний полет. Будут висеть они так до самого места выпаса, это километром в пяти от Матвеевки...

Там он усыляет пазанов к лошадям, а сам прива-

ливается спиной к дереву. Он думает: любить — очень хорошо. Если бы его спросили: «Хочешь вот сейчас, в эту минуту, слышать, что делается вокруг?» — он отрицательно покачал бы головой. Возвращенные звуки кони отпугнут его мысли об Анке. Она была теперь для него повсюду: начнут ли задирать молодые жеребцы кобыл, неуклюже, но упрямо подымаясь на дыбы, плещется ли солнце на крупах гнедых кобыл, полнится ли воздух коротким летним дождем, или дики блестят звезды в окне его конуры.

Летом он купил платок, а осенью начернил до зеркального блеска сапоги и пошел к Анке. Он так привык к мыслям о ней, что счастливо казалась ему скучным, ненужным ритуалом. Все же он замер перед ее дверью...

Вечер был темный, на месте луны пронзительно белой кромкой высматривались высокие черные облака. В ногах у Семена серой тенью по желтому листу мелькнула кошка и скрылся за домом. Семен привыкся отряхивать и был того чистые сапоги, но вспомнил, что шел не по дороге, а по обочине, а там трава, значит, сапоги не запылились. Ощупал на груди спрятанный полушало и постучал. Потом слынее...

Как она рассмеялась! В жизни не видела Анка Мзыгина ничего смешнее этой нелепой, темной фигуры колхозного конюха. Совсем спятил со своими кобылами! Ишь, свататься надумал...

Семен покorno отворотил оглобли. Собаки проважали его вдоль заборов, выказывали зубы, топорищали холки. «Брешут», — догадался Семен. Он все еще держал край платка, волоча его за собой, заметая след к Анкиному дому. Он бросил платок за селом, на старой забытой дороге, усыпанной мягкой, прошлогодней хвоей. Ездили по ней редко и неохотно: зимой здесь пиратили волки. Свернул в лес, провалил плечом зеленую плоть кустарника и брел уже без смысла и цели, лишь бы идти. Хотел ли он здесь заблудиться? Или непосильной дорогой заглушить боль отверженности? Влажный вечерний лес трепетно принял его.

Бегал когда-то в этих местах от лесхоза по узкой колее паровоз-кукушка с большой широкой трубой, подставленной щедру всем дождям неба. Подкапывала последняя платформа, и жудящие ее мальчишки бросались из-под косогра прокатиться на шершавых торцах кругляка. Паровоз двигал шатунами дальше, как экономный упрямый бегун, прижав локти к телу. И сколько бы ни случалось потом верст возвращаться домой, идти было легко и весело...

Не удержали ноги, когда запнулся за пень, рухнул на вспушенные многолетней волостью шпалы. И уже смиренно и без зла вспомнил об Анке: зачем девке его немочи? Не для него те дороги, которыми ходят люди, у него иной путь. Этого-то и боялась мать, когда просила Семена ехать пазаном не ходить на опасное гульбище к железной дороге. Только не слушал ее, потому что не думал он тогда о смерти.

Семен пошарил в траве, нашупал ближний к нему рельс и, испугавшись холодного ожога, отпрянул. Робкие прутки молодых дубков поднялись над шпалами, спрятала вглубь трава ржавчинный рельсов, где-то на свалке давно встал в землю тот самый паровоз-кукушка — значит, живи, Семен!

На конюшню вернулся к полночи. Оседлал Лгуна и погнал в ночное, к Ягодному. Там он пустил лошадей в камыш, а сам развел на бурге у сосен костер, достал из сумки кусок березы и нож и принялся вырезать Анку.

Ванечка и Генка, помощники Семена, встретили в тот вечер у правления председательницу и на ее вопрос, где Семен и почему они не с ним, рассказали, что ходил сегодня Семен к Анке Мзыгиной, весь новый из себя, в чистых сапогах и чистой рубашке, потом исчез куда-то, пришел на конюшню поздно, их отпустил, а лошадей погнал один, как был, в чистом. Домой идти они боятся: как бы их там не заругали за самовольный уход. Спать они сейчас все равно не хотят — привыкли, лучше им пока погулять.

Сначала Екатерина хотела отправить их тут же к Семену, но передумала, села на лошадь и подалась к Ягодному одна.

Брошенные у правления, Ванечка и Генка испугались, как бы не нагорело им еще и от председательницы, не говоря уже о родителях, и сами решили бежать к Семену.

Нерасселанная председательская лошадь с заброшенным на спину поводом по-чужому ходила среди табуна, а сама Екатерина сидела рядом с Семеном, склонив голову ему на плечо, и что-то говорила. Костер вздрагивал изнутри, рассыпая по нему жаркие искры.

— Чего это она ему говорит? — спросил младший Ванечка у старшего приятеля, которому было уже тринадцать. — Он же глухой...

Они стояли за кустами, не смея выступить на свет, разведывая обстановку. Генка натянул немешиньшущую кепку на глаза.

— Любовь у них, понял?

— Жених и невеста, что ли?

— Да уж ясное дело...

— Мамка говорит: кто возьмет в дом Екатерину, во как жить будет — она баба справная.

— Да уж... Только и Семен здоров мужик: водолозом был, взрывы делал, ранен, как на войне.

Где-то рядом за их спинами фыркнула в темноте лошадь, Ванечка вздрогнул, но те двое у костра ничего не слышали.

— Домой пойдем, теперь уже можно. Только ты, чего видел? — никому. Понял? — Генка поднес к глазам Ванечки кулак. За Семена стоял Генка горой: отец его так и не вернулся с фронта, и мальчонка душой прилепился к Семену.

— А я что?.. И не видел ничего...

— То-то... Курить охота? — Генка вытащил из кепки сигарку, чиркнул и, зажав в ладони спичку, быстро запыхал, раскуривая, сведя к носу глаза, чтобы видеть, как разгорается табак.

— Дай курну, — робко попросил Ванечка без всякой надежды.

— Мал еще, да уж ладно... На повороте дам. Пошли.

И не видели они, как вскоре поднялась с земли Екатерина, нарочито медленно, чтоб не выдать своего волнения, как протянула Семену руку. Он тоже встал, с лентой пошел за ней в ночную темь недалекого леса. И как нескоро вернулись они, сели по разные стороны огня, и Екатерина, подбрав руками колени и положив на них голову, с нежностью смотрела на Семена. А он принялся вновь за свое вырезывание, избегая пытливых глаз Екатерины.

Костер догорал, закраснел углями, и уже робкие синие язычки пробегали по головешкам, когда Семен встал за сучьями.

— Совсем догорел, — сказал сам себе и скрылся в темноте.

Екатерина будто ждала, когда останется одна, встала, переступила угли и поднялась с земли Семенову работу. Тень от огня пробежала по ее лицу, на миг покрывив его. Она оглянулась в ту сторону, куда ушел Семен, и, не раздумывая, бросила дровяшку в огонь.

Угли вспыхнули, отдав последний свет, потом стало еще темнее...

Весна тронула землю не сразу. Долго шалила снегами и оттепелями, морочила утренним солнцем и вечерней хмарью, а то вдруг в одну ночь остепенилась ровным теплом. Не спрашивала земля, есть ли в колхозе тракторы и что бросить в ее требовательное чрево, хватит ли мужиков на все работы...

Всю зиму Семен угрюмничал. Еще по первому снежку заворачивала дважды Екатерина на конюшню, но натикалась на конюшню, чужие глаза Семена. Она все еще жалела его и любила, но шутить с ним не могла. Дома она плакала в подушку, пугая всхлипами мать, но слез этих Семен не видел. То казалось ему справедливым: быть в своей тишине одному...

Ходила по снегу и Анка с девками, будто ничего не случилось. Да и что в самом деле? Подумаешь — жениха отадила... Но если Семен не улыбался Екатерине, не желая обманов, то с Анкой не здоровался из-за гордости, хоть, как и раньше, поглядывал на нее из конюшни...

За зиму на окне его комнаты скопилось множество выстроженных в ряд женских фигурок. О том никто не знал на селе, так как Семен стыдился перед мужиками своего немужичьего занятия и не пускал к себе никого. Но в одиночестве он еще больше пристратился к этой работе и уже не мог выпустить ножа из рук. Особенно трудной ему казалась та удивительная линия Анкиного тела, что начиналась где-то от затылка и вралась изгибом в самую землю; в ней мерещилась Семену загадка не только Анкиной красоты, но и своя загадка: чуял он в себе способность повторить эту линию, но ни одна из вырезанных уже фигурок не подтверждала этого. А почему, никто не знал, никто не мог подсказать...

Тем утром в колхозе решили пахать. За Ягодным натужно вычищали и выхлопывали два довоенных трактора, часто заставляли на борозде, в удивленном бессилии пуча фары на зеленый размах поля. Техник этой была занята вся мужская половина колхоза.

— Ну чего там у вас? — нервничала Екатерина возле заложного трактора, заглядывая через плечо одногого кузнца, исполнявшего и обязанности механизатора.

— Не кишались! Не гуляем, видишь? А лучше дала бы сюда плуги с лошадьми, все помошью... Я их на всякий случай зимой наладил, так и стоят на заднем дворе.

— Чего ж молчал раньше, черт?

— А ставить кого? — озлился бывший танкист. — Я-то не упрягаю.

Но Екатерина уже стегнула свою кобылу.

Дед Матвей по случаю праздника был наряжен в новые сапоги и даже перепал с лица, когда понял, что не зря наряжались, что понадобился и он для дела.

— Иду, иду, голуба!.. Эй, старая,— закричал он от забора в дом,— заверни чего поесть, вишь, люди ждут!

На крыльце старуха разбирала слепыми глазами, кому так понадобится ее Матвей, но при окрике мужа быстро юркнула в дом.

— Я живю,— обернулся Матвей к Екатерине, благодарно улыбаясь.— Только возьму, чего она там мне готовила.

Семен же в дому был один и никого не ждал. Екатерину он заметил по потемнению в комнате, когда та приложила к стеклу гнездышном ладони, высматривая, дома ли он. Пошел отворять...

Плуги тем временем бабы погрузили на телегу и повезли из кузницы в поле.

Екатерина прошла в кухню, но с делом не спешила. Его безразличие и забывчивость оскорбляли ее. Больше всего она боялась в этот момент походить на собаку, которую бьют, а она машет хвостом. Екатерина открыла бадейку, зачерпнула черпаком воды и, пока пила, смотрела на Семена. «Чего это он?— забеспокоился Семен.— И одета не по-будничному, каждая складка на юбке отглажена». Не привыкши видеть в своем дому баб, Семен переминался, тер рукой бороду, выжидал, чем кончится на этот раз новая встреча с Екатериной. Она же, испив, выставила поверх крытой бадейки черпак и, прежде чем начать, оправила его для порядка, лишь после этого решившись на разговор.

— Что было у нас, Сеня, забыла я. Теперь я с поклонком к тебе могу и со спокойными словами. За тем и пришла...

И она поклонилась. Правда, для Семена ее слова, что грозили в воду, глазами видел он, как двигались ее губы, как тыкала Екатерина ладонью в окно, по чудилось ему на миг, что от женщины этой исходит тихий шелест, будто тронул ветер молодую ветлу. Прислушался...

Екатерина развела в стороны руки и повела перед собой крепкими кулаками, будто толкала тяжесть, и он понял: пахает... Кивнул, достал из нижнего ящика холщовую, еще отцову рубашу, пахнущую лежалой сыростью и долгими годами забытого согласия Семенова дома с миром.

Кнут отыскался в каморке— сухая олышка с корой, до блеска натертой ладонями. И вспомнил, как после разговора с Екатериной, когда попросился на конюшню, мочил он отцовский ремень, державший батиньи штаны еще в первую войну и революцию, распуская его на полосы.

В такие дни мать собирала отца с ночи. В доме пахло чистым бельем и стиряной к утрунению, еще сумеречному застолию. По комнатам шлепали босые пятки матери, сквозь сны слышал Семен этот звук и запахи, потому что крепко уснуть не мог, опасаясь прозевать, когда встанет отец. Нынче этот день повторялся. Но сейчас не ощущал он той беззаботности, что была прежде. И когда он вошел в комнату за занавеску переодеться, взгляд его скользнул по окну, по ряду фигурок. Вот где таилась та разлада его души, что лишила покоя и праздник делала хмурым. «Брошу все к черту, не способен, видать: только кровь отравляет!»,— облегло его думал он.

В ту минуту, когда Семен и Екатерина подходили к полю, в ожидании их, лениво балуясь разговором у края дубняка, лежали бабы, доставшиеся на место плуга. Кто говорил о предстоящей работе, кто о детях, кто вовсе подстремывал, а одна сидела, опершись на руку, не вступая в разговоры. Она-то, та самая Анка Мзыгина, и углядела прежде других идущих.

— Ишь, князь какой плывет!— вскинулся ее ленивый смехок поверх головы, и все оглянулись.

— Но-но!— строго сказала ближняя к ней Алена Свиркина, Анкина ровесница, молодая вдова, получившая похоронку в первые дни войны.— Да и ты не велика княгиня!

— Какая есть, такая есть, а только завершила его.

— А теперь жалеешь, потому и злишься.

— Ха, ночи не сплю, жду, может, вернется!

— Вот и жди. Тебе не выбирать. Не Семен, так дед Матвей.

Бабы засмеялись громко и бесстыдно над молодой заносчивостью, а когда стало различимо Семеново лицо, примолкли. Он кивнул им, не выделяя приветствием никого. Бабы, Анка вместе с ними проследовали за Семеном присутствовать при зачине.

Он поставил плуг, чмокнул на лошадь, стегнул по крупу. На баб не оглянулся, точно этот день был только его праздник. За спину ходко поплыла жирная борода, свежий коричневый мякиш земли вышел на свет, радовался глаз его соку и искрытой мощи. На неровностях вздрагивали рукояти плуга, а Семену чудилось, что это нетерпеливый пульс его рук вызывает напряженное движение. Вздобренная первым усилием грудь искала ветра, Семен взмывал головой, сгоняя со лба волосы,— тогда приложится к лбу холодная, освежающая ладонь. И снова он видит, как расступается под ногами зелень первой травы, вызывавшая коричневый подбой, и он шагает туда, и еще шагает, и еще... Только теперь он ощутил как истосковался его душа по такой работе, и, весело огляывая поле, понимал, что пахает ему до вечера.

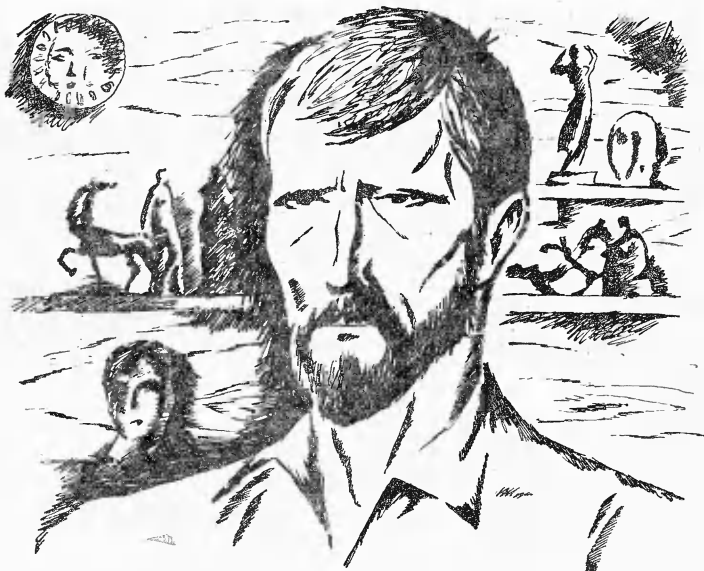
За полдень, когда ушел на отдых в те самые дубки, зеленые и нестойкие под ветром, и, закусив хлеб, повалился в траву, радость новой жизни, перемежаясь с усталостью, делала ненужную всякую мысль в голове. Семен видел небо; в небо, возвышаясь головой, заворачивались стебли и тянулись листья, он смотрел туда словно со дна глубокой пропасти, ощущая свою малость и одновременно не думая о ней, ему было хорошо, и единственно, о чем можно было думать,— это о чистоте и благородстве тонов и сочетаний линий растений. Он так и уснул, будто утонул в собственном счастье. А вот проснулся он странно: от знакомого голоса, сразу сел, озираясь дикими, непонятливыми глазами.

— Сеня! Слышь, Сеня!— звал его Анкин голос, и даже будто пробежал кто-то совсем рядом, за миг до его пробуждения,— по лицу скользнул легкий ветер, и он невольно повернул туда голову.

8

Было ли то случайное сплетение ветвей — на мгновение, на мельчайшую частичку времени,— или его услужливый внутренний взор увидел то, что хотел увидеть Семен, но только так, в свободном пространстве между двух кустов, образовалась и тут же исчезла та самая, трудная, мучительная, ставшая сразу ясной линия, не дававшая покоя...

Поле доработал уже без радости, зная наперед, что дома снова примется за нож и деревяшню. «Как же так?— рассуждал.— Утром ведь точно все решил, а тут на тебе — отменяется? И что за характер такой, без устойчивости, у человека? Даже видения,



как у пропойцы с похмела, мерещатся...» Семену ясно представилось все то время, что он жил в селе, угнетенный не столько своей болезнью, как думали про Анку, стыдом за безответность к Екатерине, за ту, свою вторую глухоту сердца, через которую не могла пробиться эта женщина. Он решил уходить из села насовсем. И завтра же...

9

Все его вещи вместились в заплечный мешок. С проводником сошлись на треске с тем, что если будет ревизор, Семен выкручивается, как знает, а проводник ни при чем. В тамбуре он бросил мешок на пол, а сам стал к окну покурить. Раскатом залязгали буферы, вагон сдвинулся с места и пошел считать разъездные стрелки, потом весь состав завернул, и Семен увидал паровоз, что тащил его в неизвестность. Железная дорога в этом месте обходила Матвеевку широким четырехверстным полукольцом, ельники застили дома, и даже самый большой, правленческий, отсюда не различить. И Семен порадовался, что не увидит ни своего, ни Анкиного дома,—сам отломил.

В тамбур вошел мужчина в военном, но без погон — демобилизованный. Семен покосился на него: уж не ревизия ли? Но нет, мужчина что-то спросил у него, и Семен понял по папиросе, что у него спрашивают огня.

Поезд приближался к месту, где железная дорога мостком перескакивала через проселочную, шедшую на Матвеевку. Зеленая полоса леса с кружащимися и убегающими назад елками здесь прерывалась, и Семен ждал с напряжением — перескочишь дорогу, и Матвеевка позади. Прикинул на глаз: оставалось версты три — совсем близко. Приник к стеклу, не в силах перебороть себя, пропустить миг, когда откроется проселок. И когда случилось, в первый момент ничего не увидел, кроме простертой от вагонного окна через небольшое зеленое поле охряной дорожной ленты. И снова потянулась зеленая полоса посадки, и тогда уже памятью восстановил столб поднятой утренней тяжелой пыли, сносимой ветром на обочину дороги, и фигурку всадника с лошадей. Он знал всех колхозных лошадей, а председательскую сразу узнал бы из тысячи. Куда могла так спешить Екатерина в этот ранний час, по каким таким неотложным делам? Вдруг молнией, как разрыв тьмы в ночном лесу, осенило: к поезду, к нему!

Рука скользнула вниз по холодному железу вагонной двери, сама нажала ручку. Удар ветра всадил в тамбур вместе со свистом пролетающих мимо столбов жесткие ляжки колес. Попутчик Семена с удивлением наблюдал за его действиями: впервые в жизни он видел так близко человека, решившего покончить с собой. Дальше Семен открыл люк над ступеньками, закинул мешок на плечо и прицелился к откосу. А демобилизованный изумился: зачем на том свете ему мешок; ведь прыгнет — убьется.

Он рванулся вперед, ухватил странного мужика за ворот, крепко уперся ногами в пол и медленно, дрожа от натуги, стал тягивать повисшее над отко-
сом тело в тамбур.

10

А ккуратный, глухой и бледный с лица, горбясь, сидит Семен над деревянным верстаком в полуподвальном помещении мастерской. Иногда он распрямляет все еще широкие плечи, встает и прохаживается вдоль комнаты от окна к окну, отрешенно углубляясь в свои мысли. Жизнь теперь уложилась с его мыслями о мире, как тщательно подогнанные мастером доски, так что не видно, где кончается одна и начинается другая. Изредка бросая взгляд на свой верстак, на деревянные фигурки, он скользит по ним безразличными глазами: уже нет тревожного беспокойства за свое неумение и бессилие. Руки его как-то сами собой за долгие годы работы научились делать свое дело. Стоит лишь увидеть перед глазами поворот лошадиной шеи — готова лошадь. Или вскинутую голову гордой женщины. В движениях его появилась та горделивая лен-ца и уверенность, чему так охотно подражают молодые мастера. В отличие от них Семен не кончал никаких производственных школ.

Окна мастерской выходят на перекресток. Внизу, удержанные светофором, напрягаются в ожидании машины, пропускающая людские потоки, а они текут и текут, заворачивая в норы подземных переходов, скапливаясь застойными лужицами у пивных ларьков и бочажками у троллейбусных остановок, вновь прерываются, вновь текут нескончаемым движением.

Семен не любит ходить по улице: он не слышит ее звуков, и это несоответствие ему не нравится. Постояв у окна, он возвращается на место, берет нож.

Он много работает, фигурки режет всякие и разные, но неизменной темой остается «Анка». Это уже вроде запомнившейся и любимой мелодии, которую он никогда не забудет. Она разная тоже, и нет двух похожих между собой. То расцветшая, беззаботная и веселая — природа щедра в любви, — она смеется, закинув руки за голову, и ветер треплет распушенные волосы; то задумчива и пытлива: молодости надо убедиться, что она прекрасна; то грустна... Но почему с годами Анка все больше становится похожа на свою соперницу, этого понять мастер не может.

Сергей Минацкая



Под вечер занавески
просвечены насквозь,
вороны в перелеске
чернеют среди берез.

Дома и лес, а между —
ни птицы, ни ствола,
ни счастья, ни надежды,
ни фальши, ни тепла...

И странная картина
осенних пустырей
вдруг ранит без причины
смирностью своей...



На цыпочках крадется тишина,
смыкаясь вокруг осенней деревеньки,
и вот она в свое погружена,
задумчиво присев на четвереньки.

Но, разрывая плотное кольцо
тревожного безмолвия и мрака,
ревет за поворотом колеса,
и хрипло отзывается собака...

Вот-вот — и вспыхнет крайнее окно,
и щелкнет механизм тугой засова,
но ничего, безгрешно и темно:
ни гостя, ни любовника, ни вора...

Промчалось колесо. и пес цепной
не вызвал все же ложную тревогу,
и над землей моей сплошной стеной
вновь тишина осела понемногу.

И хорошо, что так летели прочь
над нами облака, и в самом деле
неведомо, о чем молчала ночь,
о чем колеса «газика» скрипели.

И непонятно, от какой тоски,
густую тьму обливая жарко,
безмолвие кромсала на клочки
отчаянная серая овчарка...



ПРОЗА



ИГОРЬ
РОГОВ

Журналист
работает
в газете «Иомсомолец
Узбекистана».
В центральной печати
публикуется впервые.

РАССКАЗ

Рисунок Г. Пондопуло.

ТРЕТЬЯ ТАРАНЧИНСКАЯ

В тот день я не пошел в школу. Накануне вечером, после уроков, я провожал домой девушку по имени Лиля. Она не дала мне нести свою сумку, что было дурной приметой, а у ворот небрежно попрощалась. Но я, молчавший всю дорогу, остановил ее и наконец спросил: согласна ли она со мной дружить. Это были ритуальные слова, отличающиеся от признания в любви, как помолвка от свадьбы. Лилия засмеялась и сказала, что не ожидала от меня таких слов. Тогда я стал говорить, горячо и обиженно, но она не дослушала и исчезла, так что мое последнее: «Пожалуйста!» — досталось захлопнутой калитке. Впрочем, оно выражало не угрозу, а скорее надежду, что она сама потом пожалеет, отвергнув достойного, да будет поздно. С этим я и отправился домой.

А утром решил не ходить на уроки. Я погулял по улицам, прошелся мимо Лилиного дома, но делать мне в городе, собственно, было нечего. И тогда, в ожидании скорби и одиночества (они же должны наступить), я отправился к мавзолею султана Санджара. Через переезд, через базар и поселок пущистых домиков, по-местному, кибигок, я вышел в чистое поле.

Стояла середина апреля, вероятно, лучшее время в наших пустынных краях. Громадное поле зеленело молодой верблюжьей колючкой; как угли, подернутые пеплом, тлели багрово-черные маки. Я сорвал пушистую веточку: мягкие иглы царапали кожу, не впиваясь в ладонь.

Я шел по тропинке, и пристойное уныние все более вытесняла нахальная радость бытия. Словом, к мавзолею я подошел бодрыми шагами, перекинув через плечо снятую рубашку. Я бывал здесь, наверное, раз сто и поэтому без особого интере-

са смотрел и на массивный кирпичный куб древней постройки и на осеняющий его высокий цилиндрический купол, уходящий в ослепительно синее небо. Выходило, что я пришел сюда зря, просто так, как, бывает, человек, чтобы не гулять празднично, идет через весь город за сигаретами, которые мог бы купить и в ближайшем киоске.

— Добро пожаловать, — вдруг услышал я за спиной. Я оглянулся. Над арыком в тени тутовника сидел юноша примерно моих лет и весело смотрел на меня. — Присаживайтесь, — молвил он. — Сегодня вы здесь первый...

Я присел, свернул самокрутку. В десятом классе я начал покуривать, но за неимением денег на папиросы довольствовался дешевым самосадамом. Мы помолчали, «предаваясь своим думам». Молодой человек с легкой улыбкой поглядывал на памятник.

— Вы заметили, что внутри мавзолей кажется выше?

Я кивнул, соглашаясь.

— И знаете, что гробница пустая?

И это мне было известно: много веков назад ее разграбили монголы.

— И вот, представьте, — продолжал он задумчиво. — Тысячу лет стоит в пустыне мавзоль великого султана, повелителя народов. Проходят века. Тишина... одиночество... вечность. А гробница — пустая, и прах повелителя давно развеял ветер. Остались только стены да имя. Через тысячу лет исчезнут и стены. А имя? Что сохранится от славы владыки?

Я с удивлением взглянул на собеседника (подобные мысли (да еще высказанные таким способом) не приходили мне в голову.

— Не знаю, — сказал я нерешительно. — Память...

Юноша серьезно смотрел на меня и вдруг ласково улыбнулся. Была в его улыбке душевная признанность, но была и смутившая меня печаль.

— Я всгал.

— Вы в город?

— Да.

— Пойдемте вместе. Дайте, пожалуйста, руку.

Старший юноша слегка потянул мою протянутую руку и поднялся. Он оказался довольно высоким, худощавым, молчаливым, как у нас говорили, не широко широким в плечах. Не сильный, но, должно быть, гибкий и легкий, подумал я. И рука у него, как я успел заметить, была легкая, с длинными пальцами и выпуклыми ногтями. Он немного прихрамывал, точнее, как после ушиба, осторожно ступал на правую ногу.

— Вы из санатория? — осведомился я.

— Лечился, — отозвался он. — А теперь в городе проживу.

Я спросил, нашел ли он комнату. Он сказал, что нашел, и назвал улицу. Я заметил, что тоже на ней живу.

— Вот и хорошо — будем товарищами, — сказал он оживленно.

Так я познакомился с Валерием.

А жили мы на окраине города, на Третьей Таранчинской. Это была длинная немоущая улица, с домами из сырцового кирпича, которые назывались плановыми, и кибитками, с глиняными заборами-дувалами и редкими акациями и тутовником вдоль домов. Одним концом она выходила на железнодорожный переезд, а другим — на пустырь, поросший вездесущей колючкой.

Почему наша улица величалась Таранчинской, мы толком не знали — вроде жил такой народ, — ну, а Третья потому, что рядом были Первая и Вторая. Правда, ныне все они, как же иначе, наречены Красновосточными, но обыватели, думается, до сих пор кличут их непочтительно — Таранчинками.

Да, признаться, ни в какое время года наша Таранчинка не производила оградного впечатления. Чего уж там, серая была улица. Глина. Может, вам случалось видеть из окна вагона степи далеко за Оренбургом. Едешь, едешь, а все плывет перед глазами жаркая белесая твердь.

Вот на Таранчинку и перебрался из санатория Валерий. Но позвольте два слова о городе. Вырос он на железной дороге, в оазисе, на краю великой пустыни, из бывшего царского имения. И быть бы ему, возможно, до окончания века заурядным районным центром, если бы не санаторий для больных почками. Устроили его в нашем городе, в этом самом имении, по причине жаркого и сухого климата. И верно, этого добра у нас было в достатке. Триста солнечных дней в году, как уведомлял в заметке о санатории отрывной календарь.

Дня через три, под вечер, я снова встретил Валерия. Он сидел на глиняной лавочке перед воротами и, увидев меня, приветливо поздоровался и усадил рядом.

— Давайте смотреть, — сказал он. — Вы любите смотреть?

Я оглянулся. Чего здесь было смотреть — на постылой Таранчинке?

Мимо, по середине улицы, сменяли ишки, выше ушей наваленные сеном. Концы стеблей влочилились по пыли.

— Как дикобразы, — засмеялся Валерий.

Я взглянул: похоже. Мы посидели.

— Ну, идемте чай пить, — предложил он.

Он обосновался в одном из немногих на нашей улице «казенных» жактовских домов, в небольшой комнате с одним окном и с дверью, выходящей прямо на общий двор. В его комнате, кроме плиты, стояли железная кровать, вернее, койка, стол, табуретка и большой кожаный чемодан.

— Я зову его «Не боюсь нужды», — улыбнулся Валерий, заметив мое любопытство. — Садитесь — он для гостей.

Диковинный чемодан и впрямь оказался удобным креслом, даром что был почти пустой. Валерий долго заваривал чай, домовито, по-старорусски, что ли.

— Это для беседы, — сказал он, разливая чай и устроившись на койке напротив. — Расскажите про город — ведь я в санатории ничего не видел...

С этого вечера началась наша дружба, короткая и сильная, как весенний ливень.

Он часто улыбался, мой друг. И сейчас, вспоминая, я вижу легкую улыбку на его худом, чуть удлиненном лице, и трещинки на щеках — следы детских ямочек. И суженные в улыбку зеленые глаза с золотистыми, словно плавающими, точками. И были в его улыбке и доброта и сердечное веселье, но всегда и зыбкая грусть и тайное тягостное утомление, которые поразили меня в первый раз и которые я тогда не мог ни понять, ни разделить.

А был он тяжело болен. Впрочем, вот его история. Сам он был из Ленинграда, как я теперь понимаю, из семьи потомственных интеллигентов. И отец его, и младший брат, и дедушка с бабушкой, и какие еще были родственники — все погибли в блокаду. А мать, с которой они одни спаслись, умерла уже в конце войны. Сошла с ума и померла.

В то время — возможно, с голода и холода — и заболел он в общем-то редкой болезнью — остеомиелитом — воспалением костного мозга. Лечили его долго, да, видно, плохо. Потом зызлялся за антибиотиками. Но не знаю, то ли средства неправильно выбрали, то ли лошадиными дозами пользовались, только остеомиелит ему не вывелили, а загубили почки. Так Валерий с первого курса университета попал в наш санаторий. А после лечения врачи посоветовали ему остаться в городе: может быть, и станет лучше.

Обычно я заходил за ним перед школой, десятый класс занимался во вторую смену, и мы вместе шли в город: я на уроки, а он в санаторий — на процедуры. Ходил он с виду легким, однако быстро уставал, и мы нередко присаживались по пути отдохнуть. Я курил, а Валерий с любопытством поглядывал со сторонам. И, случалось, трогал меня за руку.

— Смотри, как в кукольном театре...

А это за осевшим дулом просто трусил парнишка на осле. Парнишка виднелся по пояс и дивался мелкими толчками, ну, как Петрушка за ширмой.

Вечером я приходил к Валерию домой, и начинались наши долгие разговоры. Во дворе, за кладовками, он нашел старую «семейную» кровать, починил ее и водрузил перед своим окном. На ней мы обычно и располагались. Валерий лежал, а я сидел, забравшись с ногами, — и текли часы в неспешной, вольной беседе.

Редко мне приходилось потом встречать такое умение слушать, такой интерес к собеседнику, к людям, как у Валерия.

— Ну-ка, рассказывай, что сегодня видел, с кем встречался? — живо говорил он, когда я приходил к нему вечером.

А по совести, слушать-то надо было мне: ведь он был художник, светлая голова и бесечно трапил свой дар, который мы скупо продаем по строчке.

Помнится, пошли мы с ним однажды насчет временной прописки. Как водится, долго ждали, истомились в очереди. Попали наконец на прием: паспортист, низенький и плешивый, раздраженно заметил, что справка у нас заполнена не печатными буквами. Я и сострил, что о порядках у вас, мол, надо писать непечатными буквами. И тогда паспортист, слишком уж круто озлившись, начал кричать на нас и долго кричал, аж подскакывая в кресле. А потом неожиданно осекся, тускло посмотрел в окно, переложил бумажки на столе и... подписал справку.

Только на улице Валерий, который слушал его с участливым вниманием, расхохотался. Я хмуро спросил, чего он, собственно, веселится.

— Ты знаешь, он мне напомнил одного старого козла в деревне. Тот тоже вылетит из ворот — и давай насккивать. Наскикивает и бодается, насккивает и бодается. И вдруг застынет, как вкопанный, опустит голову, землю понохает, ущипнет травку — и побредет прочь. Скучно: все уже было, все надоело. — И, вздохнув, добавил: — Бедный он, бедный...

Особенно мы любили гулять по ночам.

...Мы выходим на железнодорожный переезд. В лунном свете блестят накатанные рельсы с чешуей окалины по краям. Я встаю на рельсы, и мы смотрим, как они уходят в ночь, в темноту. Далеко впереди краснеет огонек входного семафора.

— А знаешь, задумчиво говорит Валерий, — если пойти по этим рельсам, то можно, не сходя, дойти до Парижа, до Лиссабона. Представляешь — Атлантика...

И языко поводит плечами. Атлантический океан, ревущие сороковые — как все это далеко от нас, от нашего городка в пустыне!

Мы идем по тропинке вдоль насыпи на вокзал, к скорому на Москву, который приходит в одиннадцать вечера с минутами. В кибитке, что притулилась у полосы отчуждения, тускло горит свет. Мы заглядываем в стекло, амазанное прямо в стену. Внутри угасающая керосиновая лампа на столбе, тени по углам, и ни души. Отходим, смущенные.

— Как тревожно — пустой освещенный дом в ночи! — вполголоса замечает Валерий.

Вот и вокзал, обычно пустой и тихий. Сейчас на платформе толпится народ: родственники, знакомые, зеваки. Сроду не видывал, чтоб у нас уезжали в одиночестве. Мы садимся на плоский люк у багажного склада и наблюдаем за всей этой картиной.

Наконец над головами появляется верх большого маслянисто-зеленого паровоза. За ним плывут окна: в общих вагонах — яркие и оживленные, в купейных — потусклее и потише, а в мягких — совсем сумрачные и сонные.

Парнишка с чайником, стрельнув кипятку — у нас его только к поездом и отпускали, — мимоходом осведомляется:

— Ребят, что за станция?

Мы называем.

— А... — говорит он снисходительно: дескать, где только люди не живут.

— Подумаешь, какой москвич! — замечаю я.

— К тете едет, в Бузулук, — размышляет Валерий.

— Нужен он этой тете, дурак! — говорю я сердито.

И мы оба смеемся.

Возвращаемся полночь через город. Все спит. Тишина глубокая, покойная. Ветерок потрепет листву, колыхнет тени на асфальте, мурашки пробежит по оголенным рукам. Свежо, молодо, хорошо!

Мы заворачиваем за угол и останавливаемся... До сих пор вижу это чудо: пустая преддверственная улица, густая черно-зеленая масса деревьев, и между ними, прямо в асфальт, опускается огромная луна.

Наступило лето. Днем на улице пекло, палило немилосердно. И ни облачка, ни ветерка, только зыбкий, жгучий и сухой зной, льющийся с неба, как расплавленное стекло. А еще пыль, которая затягивала мыльную пленкой даже воду в колодцах.

Валерий становилось хуже. Он не жаловался, не стонал, но я видел, что он все быстрее утомляется, что даже по утрам не проходили отеки у него под глазами. Знал ли он, что обречен? Думаю, что знал.

И вот однажды, набравшись духу, я стал говорить ему, что, наверное, тяжело жить, когда все время больно, все время плохо. Он слушал меня с далекой улыбкой, опустив веки. А когда я замолчал, внимательно посмотрел на меня и сказал:

Но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие.

Он редко читал стихи. Но всегда это было настоящее, истинное.

И лишь один раз прозвучала в его словах тоска по уходящей молодой жизни. В сумерках мы сидели на лавочке и смотрели через улицу на чужой двор. А во дворе... Ну что во дворе? Голая, без единой травинки земля, несколько засыхающих урючин, колодец с мутной, холодной, соленоватой водой, корова с острым крестцом и выпирающим животом да с полдюжины овец, стриженных и худых, из которых одна, как водится, вечно перхает и трясет курдюком. И, конечно, собака на цепи, большая и старая, с собачьими мухами на загривке, которая невесть что и караулит.

Во дворе женщина в темном протопливая глиняную печь-тандыр перед тем, как выпекать лепешки. Деревянным трезубцом она погружала в жерло печи навильник остуженный, слезавшейся колочик. Раздавался пороховой треск, и в небо, рассыпая искры, вздымался столб огня, озаряя текучим светом и темно-бордовое одеяние женщины, и ее гладкие смольные волосы, и тонкие, сухие ноги в глубоких калошах с острыми носами. Через мгновение пламя опадало, и лишь над раскаленным отверстием печи металлись пепельные мошки.

Стемнело. Над головой, как сквозь слезы, дрожали первые звезды.

Я люблю этот город вязевый.
Пусть обрзог он и пусть одрях.
Золотая дремлютная Азия
Опочила на куполах.

Валерий замолчал. Я не знал, что это было сказано про Москву, и, пораженный поэтической силой последних строк, хотел спросить: кто это написал

и про что? Но в эту секунду он закрыл лицо руками и сказал:

— Как хочется жить, ах, как хочется жить...

Первым к нам приблизился Степа. Это был рыжий, белоглазый и белокрылый парень, молчаливый и медлительный, бедный парень нашей улицы. Он с детства страдал падучей и с годами постепенно тупел, все больше отставая от сверстников. Когда с ним говорили о простых вещах, на лице Степы появлялось осмысленное выражение, и он отвечал здраво, хотя и с натугой. Но когда его оставляли в покое, лицо Степы распухало и принимало слабоумный вид — отвисшая нижняя губа и кончик языка, прикушенный между зубами. Работал он грузчиком на атабевских огородах, которые, впрочем, были не огородами, а громадным совхозным садом.

Ребята Степу дразнили, взрослые не принимали во внимание, а родители, люди простые, давно махнули на него рукой.

Мы шли по улице, когда у чужих ворот увидели стаю сбегавшихся ребят. В середине круга лежал Степа, только что закатившийся в припадке. Не успев я решиться, как Валерий растолкал ребят, глезающих с напряженно-боязливым любопытством, и подхватил Степу под голову. И так он бережно поддерживал его, пока Степа не затих.

Потом с моей помощью отел ослабевшего Степу к себе домой, умыл, напоил чаем и уложил спать. Степа проспал и вышел из-за пазухи на стол груды спелых абрикосов — знак своей признательности. И стал приходить почти каждый день. Он сам определил себе место — на приступках у двери и, никому не мешая, занимался своим любимым делом: лепил глиняные свистульки, которые потом самлично обжигал и дриал без разбора и малым и старым.

Потом появился Пиня, собственно, Пинхас, полный, черноглазый и черноволосый отрок, кроткий, замкнутый и самолюбивый.

Мы учились с Пиней в соседних классах, и я слышал, как он рассказывал первое время, что его отец — боевой, заслуженный летчик, что он был тяжело ранен и сейчас временно не летает. И ребята верили и признавали Пиню. За папу.

Пиня коротал свои часы в библиотеке, где его пускали даже в книгохранилище за неистовую любовь к изысканной словесности.

В библиотеке и нашел его Валерий, привел домой, приласкал и обогрел. Мне, признаться, сначала не шибко понравился новый компаньон. И Пиня при мне чувствовал себя скованно, поглядывал с кроткой дерзостью и все посмеивался и надо мной, и над собой, и над папой, и над всем на свете.

Но вот на второй или третий вечер мы разговорились о войне. Валерий по случаю вспомнил, как они в блокаде варили суп из стожарного клея. Пиня тоже привел подобающий беседе эпизод и вдруг стал рассказывать об отце. Сначала с усмешками, остро поглядывая на меня — не ухмылялся ли? — а потом все свободней и уверенней, что его отец действительно фронтовик, летчик-истребитель, что он сбил семь самолетов, в том числе известного немецкого аса (Пиня сбегал домой и в доказательство принес красивый кортик, принадлежавший тому самому асу, с надписями «СС» и «Все для Германии» на рукоятке), и что он награжден тремя орденами Красного Знамени...

Пиня рассказывал с увлечением, что называется, воспылал. Я видел, что Валерий верит ему безусловно, и сам чувствовал, что Пиня говорит правду. В общем, я с ним тоже поддужился, хотя он частенько и вызывал у меня раздражение. Первое время я пытался ему покровительствовать, но Пиня, освоившись, отверг мои попопозновения и ко всему оказался оготлым спорщиком, независимым в суждениях, изворотливым в аргументах и крайне упорным в ересьях.

Спорить с ним у меня обычно не хватало ни поддержки, ни сил. С Валерием он редко спорил, но тот Пиню и не задира.

...Старика, который, можно сказать, вломился в нашу компанию, Валерий встретил в соседнем дворе, куда мы зашли, чтобы купить молока. Он снимал у хозяйна «флигель», переделанный из кладовки, и, когда мы пришли, стирал во дворе над арком бельешко.

— Что, Иван Васильевич, плохо одному? — безразлично спросила хозяйка, поспешая за молоком.

Старик лишь отмахнулся, но, когда она прошла, хмуро бросил:

— Совсем худо: остался я один, без друга, как палец.

Когда мы вышли, Валерий спросил, что со стариком. Я сказал, что у него умерла жена. Он тогда уехал в Россию, вроде к племяннику жены, но, видно, не ужился там, потому что недавно вернулся назад, на Таранчинку.

Вид у старика был солдатский: стриженная под машинку голова, усы, прямая спина, твердая походка.

Несмотря на свои семьдесят лет, он был на зависть здоров, уверяя, что никогда не болел и не признавал докторов.

Старик, как он сам говорил, прошел три революции и две войны, исколесил полстраны и работал на многих советских стройках.

В наш город он попал во время войны и был давно на пенсии. И зачастую к Валерию, который вскоре после той встречи с ним познакомился, потому что Валерий ему не перечил и слушал его байки. А старик за свою жизнь, как видно, слушать не научился, говорил только сам и сердился, когда ему возражали.

Тяжелый в общем-то был старик, грубый и упрямый, и многие его не переносили.

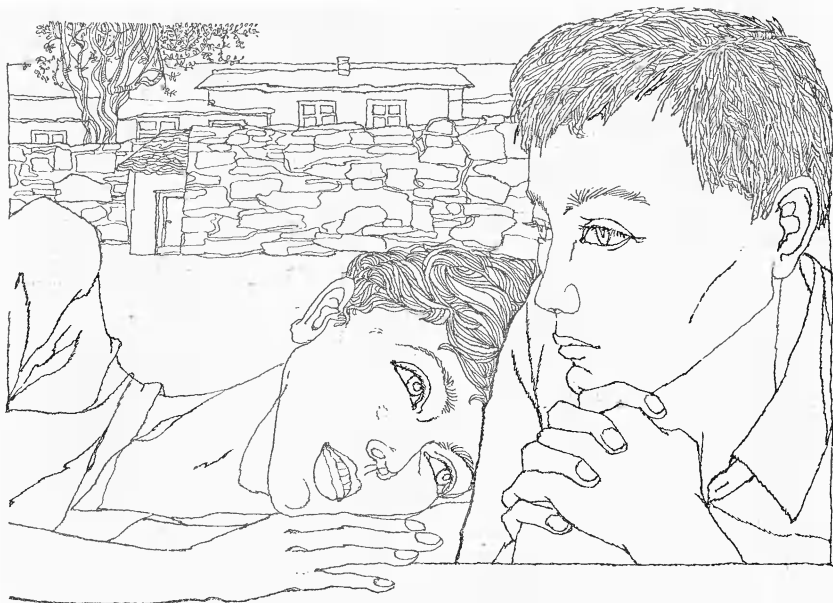
И теперь, бывало, по вечерам от самых ворот слышался громкий и грубый голос старика, заглушающий торпильный говорок Пини.

— Все ты врешь, я лучше знаю, я всю мировую не разуваясь прошел... Это у штабс-капитана были четыре звездочки, а у капитана — чистый погон. И у полковника был чистый погон. А книжки, чибрики эти, ты сам читай...

Попала к нам и Лилия, та самая девушка, которую я проважал домой. Я ее сам познакомил с Валерием, не без тайного тщеславия: вот, дескать, какой у меня друг. И она стала приходить к нему будто бы для того, чтобы он помогал ей готовиться к экзаменам.

Но я-то скоро заметил, что влюбилась. Была у Валерия привычка, быть может, бессознательная, — мягким, утешающим жестом гладить нас по головам. Погладил он ее так однажды, а она прижалась щекой к его руке.

— Что ты всех гладишь, как маленьких, — сказал я ему в тот день с досадой.



— Жалко...— ответил он коротко.

— Жалость унижает человека,— заметил я веско. Он посмотрел на меня и засмеялся.

— Ты как инструкцию прочитал.— И обнял за плечи.— Не сердись.

История, которая вскоре произошла, началась довольно заурядно, такие истории нередко случались на Таранчинке. Жил на нашей улице, недалеко от переезда, взрослый уж парень, Гасан. Запомню, какого он был роду-племени, но, помнится, его отец заведовал самым большим на базарной улице магазином. Сам Гасан вроде тоже числился работником прилавка, но за прилавком сроду не стоял, а как говорили, на деньги отца спекулировал каракулем. Ну, а в свободное от коммерции время исполнял обязанности местного, слободского негодяя. Естественно, он резвился не в одиночку, а со своей ватагой, преимущественно тоже из таранчинских, среди которой он был повелителем, «панханом».

Гасан этот и в тюрьме успел побывать, за то, что избил отдыхающего из санатория. На улице, да и в городе, его боялись, а местное правосудие все вроде присматривалось.

Пожалуй, хватил о Гасане. Впрочем, вот его портрет: белое, сытое, мясистое лицо со смуглыми пигментными пятнами. Волосы темные, густые, и глаза темные, выпуклые, со стеклянным блеском, словно он гашишом обкуривался. Походка ленивая, брезгливая, что ли, и все-то он приваливался, все-то разва-

ливался, где бы ни сидел. И тем больше пугал людей, когда вдруг бешено вскакивал и с неистовой же бранью бросался на мнимого или настоящего обидчика...

Не знаю, раньше ли он приметил Лию или впервые увидел, когда она с Валерием проходила мимо его дома.

— Эй, пончик, иди сюда,— потянул он ее за руку.

— Пустите меня,— рванулась девушка.

Гасан ухмыльнулся и посулил ей денег. Валерия он словно не видел.

— Дурак!— крикнула Лия.

Гасан лениво замахнулся на нее и выругался.

— По-моему, ты подонок,— удивленно сказал Валерий.

— Что, что?— помедлив, спросил Гасан. У него получилось: «Чтё, чтё?»

— Я говорю— подонок.

А...— равнодушно заметил Гасан и отпустил руку девушки.

Когда на следующий день Лия поведала мне об этом случае, я сильно встревожился. Если бы Гасан, вскипев, сразу бросился на Валерию, ну— куда ни шло. Все-таки один на один, при людях, на свету. А теперь было худо, теперь его будут караулить, искать всей стаей.

И я сказал Валерию, чтобы он серьезно остерегался, чтобы не ходил один по вечерам и вообще поменьше выходил из дома.

— Да ладно,— улыбнулся он.

И тогда я, рассвирепев, стал кричать, что он не знает жизни, не знает Таранчинки и Гасана, он думает, что все такие честные и благородные — по головкам их только гладить, но никакой честной и благородной драки не будет, да и где ему драться, а если его поймают, то станут бить всей козлой — не думаю, Гасан в стороне будет стоять. И не просто избьют, но сначала всласть над ним потешатся...

Я знал, как это делается. Представьте, вас вечером, скажем, на пустыре окружили человек десять. Ни убавить, ни друзей позвать на помощь. Бросаться бить? Нет, не так скоро. Начинается ленивый разговор о том о сем... Вот один проходит мимо и резко скидывает руку. Вы отшатнулись, а он весело изумляется:

— Ты чего?

Неожиданно нагнулся другой. Вы вздрогнули, а он под блуdivные смехи заявляет шуток на ботинке.

Вдруг вам сзади наносят удар по лицу. Вы круто поворачиваетесь и видите удивленные, улыбочивые лица. А третий уже тычет вас за плечо.

— Брось эту шпану, давай, дружок, покурим.

Долго так может тянуться: пока не начекаются, не распляшутся. Тогда уж нечужо бить.

Валерий слушал меня молча, серьезно.

— Все это я знаю, — сказал он наконец. — Хорошо, оставил...

А на следующий вечер один ушел в кино. В ленте кинотеатре начали крутить, как писали в афишах, «новый трофейный художественный фильм», кажется, «Гибель «Титаника», и мы с Пиней предложили посмотреть его всем вместе, с родителями и соседями, Валерий промолчал. Он в тот день плохо себя чувствовал, лежал с закрытыми глазами; и мы рано ушли. Против обыкновения он нас не удерживал. А когда в одиннадцатом часу я зашел к нему снова, Валерия дома не было.

Я знал, что он это делает, потому и пришел. Я сидел во дворе на кровати и думал: как быть? Борьбась с Гасаном и его шайкой я не мог, но не мог и бросить Валерия. Так ничего и не решив, я отправился к Пине и предложил ему вместе встретить друга. Пиня выскочил через минуту и показал за поясом под рубашкой трофейный кинжал: бог весть, что он собирался с ним делать. Мы зашли за стариком, и он немедленно согласился нас сопровождать.

В лунном свете мы шли по полю между Второй и Первой Таранчинками. Говорят, здесь собирались строить стадион, а пока на пустоши вдоль арыков сажали кукурузу и джугару.

— Гиблое место, — проворчал старик солдат.

И верно: на краю поля мы увидели темную группу людей, иные из них только подбегали. Мы с Пиней ускорили шаги, старик отстал, стуча прихваченной палкой.

Из молодой кукурузы навстречу нам вышли трое парней. Мы сблизились и, глядя в глаза, остановились. Ребята были не таранчинские, как я понял, с базарного поселка.

— Давай отсюда, — толкнул Пиню в грудь один из них, самый рослый.

Пиня попытался и сунул руку за пазуху.

— Что вы делаете, что вы делаете: он же больной, калека... — торопливо заговорил он.

— Ты чего, чего, хмырь, петушишься? — шагнул к нему рослый.

Я бросился к Пине. И в это мгновение мы услышали Валерия.

— Шакалы, подлые, грязные, трусливые шакалы, псы смердящие, свиньи, готовые вместе с поймом сожрать и собственных детей! — Голос Валерия дрожал от ярости и страсти. — Вы же холеры, было, хамская свора, способная лишь добивать беззащитных, мародеры, грабящие раненых и убитых. Ведь если завтра сюда придут немцы, вы все станете холерами, полицияками. За бутылку водки друга, мать родную продадите и повесите, а потом будете валяться в канаве в собственной блевотине. Что смотрите — человека не видели. А ну, расстпись!

И оторопевшая толпа расступилась. Стояла звенящая тишина, и в этой тишине мы увидели Валерия, который медленно шел через поле. Мы не решились подойти к другу и поберли стороной, страшась оглянуться. Ну, молвил у дома мы догнали Валерия!

— Ну и так, — толкнул старик. — Молодец, Валерия!

— Ты убил их словами, — сказал я.

А Пиня начал нести о нравственном превосходстве. Но Валерий прервал нас, и лицо его перевернуло от отращения.

— Какой стыд, — сказал он, — какая мерзость... Тем дело и кончилось. Правда, дня через три те самые ребята, что задержали нас в поле, случайно встретили Пиню и маленького его прижали. Ему полагалось бы убежать, а он стал на них кричать, но как-то уж чересчур высоко, заходясь, и раза два ему все-таки дали по шее. Но Пиня, молодец и здесь не побежал, а лишь не спеша улизнул.

Первой после выпускных экзаменов уехала Лия — поступать в институт. На вокзале я ее спросил, любит ли она Валерия.

— Ничего ты не понимаешь, — сказала она сердито. — Мы, девчонки, всегда мечтаем, чтобы у нас был старший брат — умный, сильный, добрый...

И заплакала.

Уехал и Пиня. А я в тот год так и не поступил в институт. Не мог уехать: мой друг умирал. Каждый день мы со стариком или со Степой ходили в больницу. Степа заходить в палату стеснялся и дарил свои свистульки через окно. Старик, трезвый, ворчал:

— Живу, и никакой хрен меня не берет...

А пьяный становился сердитым и грубым.

Помню, в последний день пришел он пьяным и громко спросил:

— Что, брат, конец?

А Валерий говорить уже не может, силится улыбнуться и только головой трясет: нет, мол, не конец.

А уже конец был.

Вот написал и не знаю — шапку, что ли, снять? Да и снимать ли шапку-то? Давно это было. А как вспоминать...

Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь скромным кипарисом, прямым и простым — благородным.

г. Ташкент.



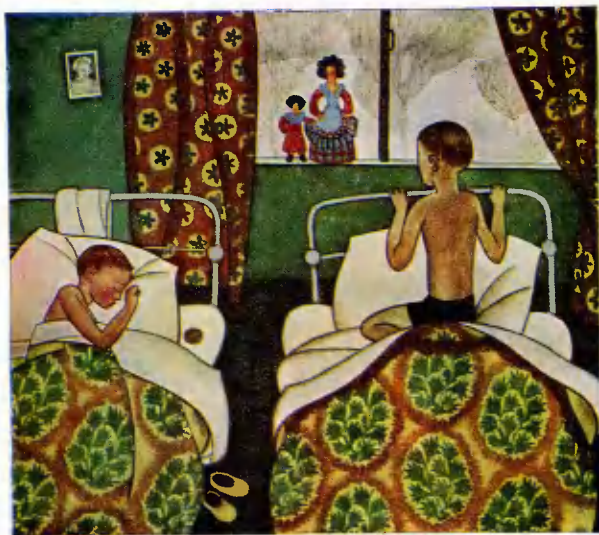
А. КОЧНЕВ (IV курс).

Патруль.

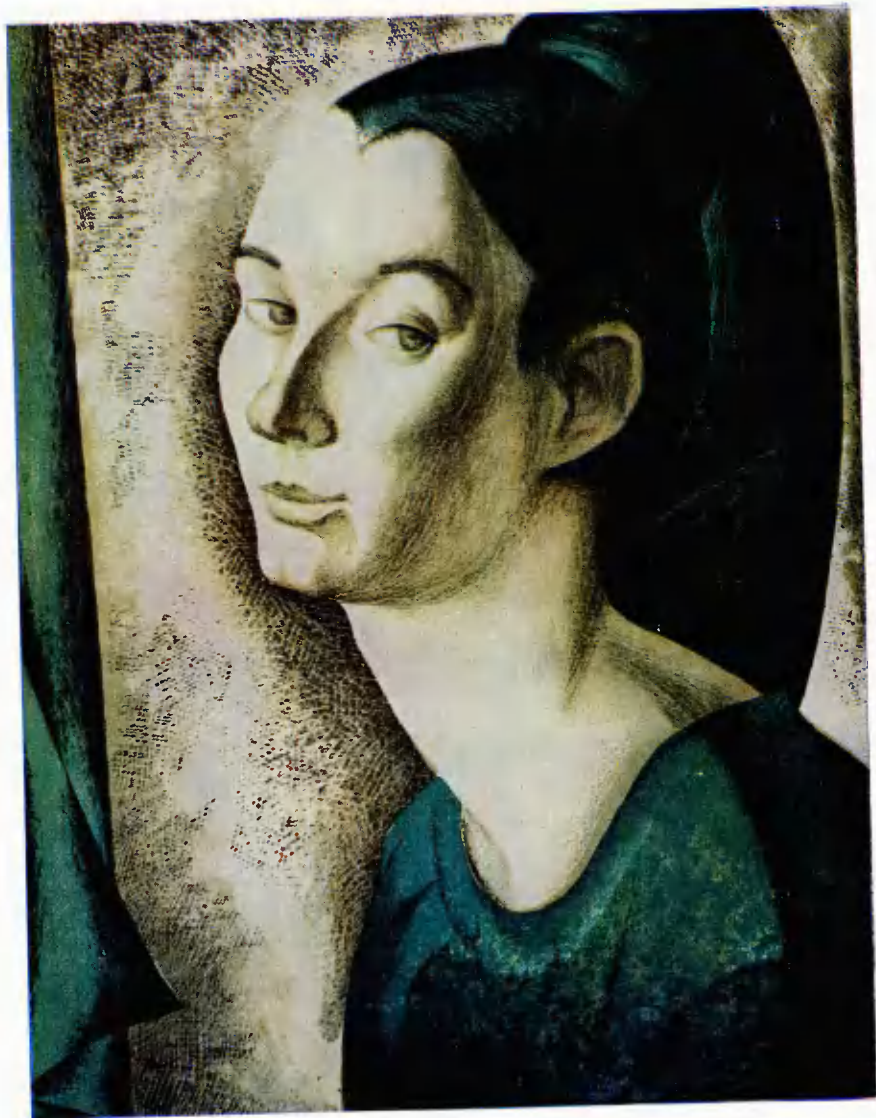
По залам выставки работ студентов
Московского Художественного института имени В. И. Сурикова,



Б. СМЕРТИН (V курс).
На Золотой косе
(офорт).



В. ЛУКЬЯНЧИКОВ
(IV курс).
Утро.



Портрет.

В. ВЛАДЫКИН (V курс).



**Е. БАБИЧ-
КУРМАНОВСКАЯ**
(IV курс).
Весна.



Н. ЗАВЬЯЛОВ
(III курс).
**В мастерской
художника.**



ЮРИЙ ШПИТАЛЬНЫЙ

Юрию Шпитальному
тридцать три года.
Он инженер,
закончил МАИ
Пишет детские рассказы.



ЛЕНКИНА МЫШКА

РАССКАЗ

Рисунок В. Терещенко.

— А я тебе точно говорю, — кипятился Яшка, — с этим делом пора кончать!
— Чего ты раскричался? Сейчас принесут рукавицы и пойдет. Привязался тут! Мне, что ли, больше всех надо? Да?

С Яшкой всегда осложнения по моральной части, поскольку он у нас борец за правду и справедливость. Но в этот раз он не прав. Субботник организовал не я, а Валера. Время назначал не я, а коллектив. Так что, чего он ко мне привязался, непонятно.

Мне и самому, честно говоря, не очень-то хотелось вкалывать в выходной. И так всю неделю не высипался: Надька была во вторую смену. Но мы решили: все так же! И чтоб без фокусов.

Сбор назначили у проходной, как к началу работы. Стоим и ждем. Постояли минут двадцать, и тут как раз Яшка стал метаться, как загнанный, а потом начал...

— Вы, — кричит, — крадете время у общества! Энтузиазм губите. На следующее мероприятие мы людей палками не загоним!...

И кричит, и кричит, и все ко мне. Я ему говорю,

что Валера пошел за рукавицами, а он на меня кинулся, будто мне больше всех надо. Псих!.. А мне что, я и сам не очень хотел сегодня работать.

— Да заткнись ты, — говорю я ему, — мне, думаешь, охота тут торчать без толка? Лучше бы поспал еще полчаса...

Ну, Валерка наконец-то принес рукавицы, rozdal всем, и мы пошли на стройку. Яшка уgomонился.

На стройке нас встретил наш старый прораб. Чудак такой! По случаю субботника в новой спецодежде, белой рубашке и при галстуке. В руках он держал большой кожаный портфель-гармошку, как мне показалось, пустой совсем. Ему уже давно пора на пенсию, а он все еще работает.

— Значит так, ребята, — начал прораб, — все вы люди грамотные, можно сказать, технические, мы с вами договоримся быстро. Первый к вам вопрос: какой у нас с вами смысл этому субботнику?

— Родине поможем! — крикнул кто-то.

— Это-то, конечно, так. Только я так полагаю, что если вы мне тут маленько поработаете, особенного богатства нашей Родине не прибавится. Я вот вспоминаю то время, когда были первые субботники.

Вы все знаете, Владимир Ильич тогда тоже работал... Лет мне в то время было всего ничего, а зато и все дело. Что ж вы думаете, Ленин для богатства работал? Он работал для того, чтобы мы все с вами стали одна семья. Чтобы труд стал удовольствием. А за деньги он и в Америке неплохо работает. Но мы должны их в этом деле обойти и научиться работать лучше.

— Достичь и передостичь, — сказал опять Витька.

— Ты хоть и шутник, — сказал прораб, — но говоришь верно. И достигнем и обойдем! К чему я это вам говорю? Чтоб вы сегодня от вашей работы удовольствие получили! Чтоб работалось вам легко и радостно. Я сегодня в белой рубашке. Для чего я в ней? Галстук зачем? Я ж так каждый день на работу не хожу! И спецовка у меня есть похуже. А меня вчера парторг вызвал и сказал: «У тебя, Грифонов,

завтра ребята с завода будут помогать. Организуй все дело так, чтобы им работалось как на празднике. Понял?» Конечно, понял. Так что, ребята, поздравляю вас с праздником и желаю вам поработать сегодня как следует, для души, для сердца!

Он так лихо все сказал, что мы даже ему захлопали. Хоть и старик, а молоток дядька! Человек!

— А теперь, ребята, к делу. Поскольку вы на стройке первый раз, надо, чтобы от нашего мероприятия не вышло какого вреда. Не дай бог! А что для этого надо? Соблюдать технику безопасности и в ведомости за нее расписаться. А что это за техника, я вам сейчас расскажу. Значит, первое, чтобы инструмент, то есть лом и лопата, был исправен. Лом поломать трудно, а с лопатой — бывает. Черенок или совок... За этим надо следить, иначе руки покалечите. И второе дело — к краю стройки не подходить и



не садиться на ограждение. Все остальное вы знаете: оголенные провода не трогать и так далее. А главное, ребята, не озорничать. На стройке этого делать нельзя! Вы ж у себя в цехе не озорничаете? А то — раз! И попал под... это... под суппорт!

Мы рассмеялись — «попал под суппорт! Мне, правда, показалось, что он знает про суппорт не меньше нас, только сказал так для шуток.

— В общем, мальчики, задание вам такое. В новостройке первый этаж называется под шошовой магазин. Вам, значит, следует эту землю убрать, которая вдоль фасада, а по крыше рассыпать керамзит. На крышу надо восемь человек, остальные — внизу. Кто сильнее — ломом работает и колет землю, остальные грузят ее на носилки и относят вон туда, — он махнул рукой, — а там уж ее свезут куда надо. На керамзит можно девочек. Он объемный, но легкий. Вопросы есть? Нет вопросов? Тогда, ребята, все как один распишемся в ведомости и за работу.

Мы распились в ведомости и разошлись по местам.

Зигу, Сашку и меня поставили на лопы.

Земля за зиму смерзлась, спелжалась и стала ну прямо-таки как камень. А еще в ней всякого мусора для крепости — вагон! В общем, настоящий железобетон. Минут через десять всю лопь с меня как рукой сняло. Я вкалываю, и ребята вкалывают; ребята вкалывают, и я вкалываю! Красота! Пять человек совковыми лопатами еле успевали за нами. А двенадцать таскали носилки.

Дело шло на всех парок. К одиннадцати часам мы уж полработы сделали.

— Одиннадцать часов! — кричит Яшка. — Зарядка производственная!

А мы уже зарядились на два месяца вперед. Тут как раз прораб пришел. Пришел и руками развел...

— Вы, — говорит, — у меня, ребята, ударники комтруда. Я про вас обязательно в строительную газету напишу. Я вам, ребята, в наряд только эту работу выписал, думаю, вы весь день с ней провозитесь, а раз такое дело, работа у вас уже на истекте, как кончите, можете идти домой. Никаких претензий не будет... Одна чистая благодарность администрации.

Мы минут десять под его речь перекурили, и опять понеслось! Настроение у всех — люкс. И веселое это дело оказалось. Чего только там не попадалось?! И старые ботинки, и циферблат от часов, и кусок гипсовой ноги... Даже оклад от иконы попался. Оклад Генка схватил. Он у нас по вечерам в художественной школе занимается.

— Этот оклад, — говорит, — вручную нарезан. Штихелем. Жаль, иконы не сохранилось. Наверное, старая была. Хорошо вы руку посмотрите.

Так за разговорами работа уж совсем идет на финиш.

Подошли девочки с носилками, Ленка Малышева и Ленка Кузнецова. Мы им поменьше накладывали, чтобы не уставали. Подошли и стали.

— Дайте, мальчики, отдохнуть. Руки болят.

— Ладно. Перекур, братцы.

А я напоследок как шархнул ломом, так здоровенный земляной бугор пополам рассадил. Вдур из-под лома выскакивает... мыш! Мышонок! Я даже обалдел от неожиданности.

— Ребята, — говорю, — глядите, живая мышья...

А мышонок этот сначала тоже растерялся, а потом прижался к кирпичу и думает, его не видно. Дурочина!

Все, конечно, загалдели:

— Где?.. Где?.. Какая мышья?.. Покажите...

Все толпятся, а Витька и говорит так спокойно:

— Мыши есть вредители и расхитители народного

добра. Их надо уничтожать. Была мышья живая, а стала неживая... — и как шархнет по этой мыши лопатой.

Конечно, он по мыши не попал, а попал по кирпичу, возле которого мышонок прятался. Кирпич — вдребезги, а мышонку хоть бы что! Он последний полсекунды, видит, — камень его раскололся — и кинулся искать другое укрытие. Скачет по земле мелко-мелко. Я думал, мыши бегают, а они скачут...

Витька, конечно, зовил:

— Бей его! Дави!

И кинулся за мышонок! Я после никак не мог понять, почему мы кинулись. И каждый хотел первым мышью прихлопнуть. Просто черт знает что получилось.

Тут Ленка Малышева заржала, как сумасшедшая. — Зверь! — кричит — Живодер! Не смейте! Он же живой! Не смейте!

И как-то она всех раскидала, расшвыряла и прямо под ноги кинулась в самый последний момент и накрыла его рукавицей. Витька даже через нее перепрыгнул. Еще секунда — и мы бы мышонка растоптали сами не зная зачем.

А Ленка поднимает на нас глаза и говорит:

— Как же вам не стыдно?! Он же совсем маленький!.. Какие вы жестокие!.. А глаза у нее сухие, злые и прямо светятся.

— Да брось ты, Ленка, — говорит Витька, — из-за мыши так психовать. Подумаешь, дело какое!

Ленка на него даже не взглянула. Она жала мышонка в кулак, встала с колен и потихоньку стала разжимать рукавицу. Смотрит, мышонок сидит себе посреди руки и жив-здоров. Ничего ему не сделало. Два глаза у него. Хвост. Усы. Все как надо. Мы стали его разглядывать, а Витька как подает ей под руку — мышонок подлетел в воздух и упал на землю. Лежит лапки скрючил и не двигается. Наверное, разбился.

— Ну вот, — тихо-тихо сказала Ленка, — убили все-таки. Убили...

И опять она на колени стала, сняла рукавицу и начала его одним пальцем гладить. А этот умища-мышонок вовсе не разбился. Он прикидывался, чтобы мы от него отстали. И все. Он вскочил на ноги и опять поскочил к нас. Видно, мы ему не нравились, и он решил с нами дела не иметь. Витька опять крикнул: «Лови!» — но его уже кто-то сзади держал за пояс, и он даже шагу не ступил.

Мы стояли и смотрели, как Ленка шла рядом со скачущим мышонок, пока он не добежал до новой норки. Там он будет жить долго, потому что зеленые насаждения никто лопатой не собирался.

Ленка вернулась к нам.

— Все в порядке...

Мы зашумели, и, конечно, у всех отлегло от сердца.

Ну, что толку, если бы мы этого мышонка затоптали! Ведь в природе, как сейчас додумались, все в равновесии, стабильно, так быть, и этот мышонок свою часть равновесия держит. И потом, праздник же...

А Ленка снова разозлилась и как закричит:

— Ну, чего вы на меня уставились?

— Ты, когда сердитая, очень красивая, — серьезно сказал Валера. — И вообще — тоже... Ну ладно, ребята, пошли, закончим дела.

И мы за полтора часика все прибрали. Только я ломом не очень долбал, чтобы еще какую-нибудь живность не прибить. А после все поднялись на крышу и быстро раскидали керамзит.

К 75-летию Валентина Катаева

Бся редакция «Юности»,
молодые и маститые ее сотрудники,
а также миллионы ее читателей
сердечно поздравляют зачинателя
нашего журнала,
дорогого
Валентина Петровича Катаева
в день его почтенного юбилея
и желают ему доброго здоровья,
бодрости
на радость всем читателям
его прекрасных книг.

[illegible]

КАТАЕВ-75

(юбилейный портрет
с поздравлениями и подарками).



катаев — классик.

Вот он сидит вполоборота к вам — в державном кресле своем, в серо-черной юфте крупной вязки, как в 'тяжелой кольчуге, а то и в ризе, челочка его' сдвинута на лоб — так сдвигали на брови с затылка кепочку-малокозырку опасные обитатели послевоенных подворотен. Он колюче впивается в вас из-под челочки-козырька, стрельчатые уши его прижаты, нос, ноздри, губы и подбородок, приноживаясь, сведены друг к другу, как плывут к низу лица на старинных японских акварельных портретах. Так и сидит он — мэтр, парнасец, патриарх, вездесущий затворник, академик, Дерibasовская — Балюн Великий, Катаич, Monsieur Kataev, Балюн птица вещая...

«Как жизнь? — вы спросите его. — Что новенького? Что есть истина? Есть ли жизнь на Марсе? Когда в поездку?»

Он стрельнет на вас из-под шмелиной брови, разомнет суставчик своей рембрандтовской правой и проронит: «Еще четверста».

Значит, еще четверста страниц осталось ему, еще четверста для нового романа, перелисать от руки, нанизать наживо, ведь диктофоны, машинистки он не признает, это от лукавого все, четверста страниц надо расположить как разрисовать, чтобы словам было вольготно и красиво, празднично, ощущая цепкими пальцами мастера слово, как глину, — еще четверста страниц катаевского текста, чистого, утренного, знобко соловьиного русского языка, где фраза пожевывается от изящества.

«Еще четверста», — скажет он и стрельнет глазом.

Главное в Катаеве — глаз.

Глаз его сощурен, как губы гурмана, сосущие сквозь соломинку попителное варево, называемое жизнью, натурой, глаз, впивающийся в суть, как хоботок, художнически прищипывающий от счастья. Вещи вкусны. Глаз его меняет цвета — он то желтый, то серый, то вспыхивает зеленым, то неопределенно-плутовской, то красный, то карий.

Катаев — поэт вещей. Его книги — магические каталоги, страшные и восторженные преискуранты вещей века.

Время наше картинно. Моделью его стал телевизор с преобладанием изображения над звуком. Глаз художника — орган отбора из ряда предметов единственно нужного.

«...но самое страшное тайлось в телевизоре — в этом приборе, быть может, наиболее похожем на человеческий мозг, во всяком случае, — на его способность превращать сигналы, идущие извне, в живые отпечатки, светящиеся, движущиеся изображения окружающего мира...»

Значит, еще четверста таких страниц. Значит, будет ночное переделкинское окно. Одно на всей улице. Настоящая лампа освещает квадрат бумаги, руки и уголок глаза над ними. Патерня, как ржкий готический краб, ползет по листу, доползает до кромки и обратно, котистая, в золотых волосиках кисть мастера движется, обихивая каждый миллиметр, присасываясь к бумаге, медлит, ковыляет дальше.

А над рукой бессонно висит освещенный глаз. Он парит, чуть порхая ресницами. Он как на невидимой нитке привязан к пальцу и стынет над ним, будто воздушный шар. Они одни в мире. Рука и глаз. Глаз и рука. Еще четверста.



А по утрам поэт вырывается на прогулку, подобраный, как на охоту, на отстрел деталей, в дублене, элегантно стремительный, нахлобучив очередную сто девяносто пятую свою кепку.

Кепку у него 200. Петр Львович Рыжей, сосед, утверждает, что 230. Кепари катаевские — на зависть!

Тбилиские плоские «аэродромы», лондонские — в клетку, с целлофановой подкладкой внутри, пузатые, как крыжовник, жойеки, похожие на сачки для ловли бабочек, крахмальные, плотные «крем», с полоской марли на затылке, чтобы мысли проветривались на прогулке, но не могли упорхнуть — с таким ситечком, как для отстоя чая, а иногда схожие с металлическими сетками на музейных средневековых полах невинности.

Об этом же я как-то, не удержавшись, написал несколько строк:

А Катаев имеет кепки,
сплюснутые, как скрепки,
для прищипливания мозгов.
Фиалковые, стилижные —
с тылу для вентиляции
с ситечком или сеткой,
как у рыцарских поясов,
дабы Прекрасных Дам блюсти.
Пусть иногда мы скептики.
Боги имеют слабость.
Но не у всех сабли «За храбрость».

Поэт-материалист. Он знает, что предметы — лишь по-иному расположенные атомы и тем родня человеку. Он окликает их, пытается удержать на страницах. Он детское восхищение миром, его подробностями, увиденными как впервые.

Его «Белеет парус» — лермонтовская строка, понятая, как детство, как порыв и мятежность детства, отрочества, — стал нашим детством. В серебристом переплете она празднично и навеки, щемя неизвестностью, легла в день рождения на мою тумбочку, подаренная мамой — как и миллионом иных советских детства, и так же навеки в них осталась.

Стиховым парусом другого его романа стала строка Маяковского «Время, вперед!», но к чисто поэтовому построению своих вещей он пришел лишь в последней трилогии. Нельзя описать «Святой колодезь». Поэт там материализует ход времени. Вещь эту надо дегустировать по фразам, с середины, с конца, с начала — как жизнь. Чего стоит хотя бы фигурка старика, мощного бутылки, — в мировой литературе она имеет равной разве что каренинского сцепщика, бормочущего под вагонами!

Критики гоголевской поры писали: «Поэт наш в своем романе...» Это же можно сказать и о нашем авторе.

Катаев — университет культуры.

Сам прошедший жестокою выучку бунинской линией, он таит в себе тайны Гоголя, Чехова, Пруста. Он знает, как передать это молодому. Он был инициатором журнала «Юность». Она родилась не только как ежемесячник для читающего молодняка, но и как школа мастерства молодых. О, эти редакционные чаепития с широким шумом самовара, не электрического, новомодного, нет, натурально — на сосновых шишках, древесных углях, приобретенного самим Катаевым чут ли не в первый день существования «Юности».

Журнал основать — как город заложить. И вот уже полтора десятка лет шумит, обстрасает улицами, рожеет, перестраивается этот многомиллионный город на бойком месте, именуемый «Юностью». Бескультурье — беда многих наших литераторов. Наставничество Катаева — в понимании новаторства как традиции. Особенно мил ему весенний, талый городской говорок Анисимова, его наив, чистота.

Зрочок Катаева по-юному меток, жест молодцеват, лих. Не зря у него хранится серебряное оружие «За храбрость». Взгляните, как свистят и ювелирен его кавалерийский почерк: «Перед мельничьим стояли старые головастые ветлы, похожие на богатырские пальцы, из которых во все стороны торчали голые прутья, и все это напоминало мучения святого Себастьяна, утыканного стрелами».

Или:

«...а то время как в церкви позванивали тонкие воскресные колокола и в пролете каменной готической двери, всегда напоминавшей мне след раска-

ленного утюга, пылали золотые костры восковых свечей».

«Еще четыреста... скажет он вам однажды, прощаясь... еще четыреста...»

Через месяц вы найдете его в том же кресле, в серо-черной ризе своей. Его правая лапа подогнута. На ваш немой вопрос он хмыкает: «Еще триста».

А с порога в ноги к вам бросится черный комочек, мини-пудель Джужа, американочка, уроженка штата Нью-Йорк или Аризона, невозраченка, избравшая навсегда переделкинские доли и дорожки. Она стрижена, как версальский садовый кустарник, вся в меховых шарах и помпонах, с круглыми колючестями, как живой тrefовый туз на паркете. Она смотрит на вас сквозь шерстяные подвески, изнемогает — что за гостинец привезли вы из города, в дом, к праздничку?

А на даче празднично пахнет пирогом, чистыми полами, надвигающимся юбилеем, и порхает светлая стриженка его доброй хозяйки.

Право, ну что я подарю Катаеву? Преподнесу ему к его торжеству вещицы, написанные в последней поездке по США. Первое о «Хэллувине» — американском языческом празднике прощания с летом. В этот день ряженные дети бродят по домам и получают от хозяев яблоки и сладости. Этой осенью во время Хэллувина в одном из городков какие-то негодяи вложили в яблоки для детей британские лезвия.

Другие стихотворения — шутейные, — какой уж серьез к юбилейному столу!!

Сколько ни пиши о Катаеве, остается нечто невысказанное, чувство, не передаваемое словами, этакое «скрытымным» — морозное словечко из омского фольклора.

Что пожелать Вам к юбилею, дорогой наш Валентин Петрович, старший товарищ, мэтр? Желать ко-шунственно. Ну, что пожелашь лету, саду, туче над косогором? У них свои желания, законы, жизнь. Так и поэт.

Нам же самим пожелаю, чтобы однажды поэт наш поднялся с кресла, счастливо потянулся навстречу, освобожденно растопырив затекшие пальцы и, подмигнув, выдохнул: «Ну, кажется, все».

Жду нового романа.

Яблоки с бритвами

Хэллувин, Хэллувин — ну куда Голливуд! —
детям бритвы дают, детям бритвы дают!

В Хэллувин, в Хэллувин с маскарадными
питками
по дорогам гуляет осенний пикиник.
Воздух яблоком пахнет,
но яблоком с бритвами.

На губах перерезанный бритвою крик.

Хэллувин — это с детством и летом
разлука.

Кто он — сука! насмешник! добряк!
херувим!
До чего ты страшна, современная сука!
Хэллувин...

Ты мне шпешь поздравленья,
слезами облитые,
хэллувиночка, шуточка, детский овал.
Но любовь — это райское яблоко
с бритвами.
Сколько раз я надкусывал, сколько давал...

Благодарствую, боже, твоими молитвами
жизнь — прекрасный подарочек. Хэллувин.
И за яблоки с бритвами
и за яблоки с бритвами

ты прости нас.

И мы тебя, боже, простим.

Но когда-нибудь в Судное время захочет
и тебя и меня на Суднище том
допросить усмехющийся ангелочек,
семилетний пацан с окровавленным ртом!

Старинная песня

Скрытымным! — это пляшут омичи.
Скрип темниц? Или крик о помощи!
Или у судьбы есть псевдоним —
темная ухмылочка скрытымным!

Скрытымным — то, что между нами,
то, что было раньше, скрыт, темным.
«Ты — мы — ы-ы» — с закрытыми глазами
в счастье стоит женщина — скрытымным.

Скрытымным — языков праmaterь.
Глупо верить в разум, глупо спорить с ним.
Планы прогнозируем по сопрату,
Но часто не учитываем скрытымным.

¹ Скрытымным — старинная омская народная припевка,

«Как вы поживаете!» «Скрытымным...»
«Скрытымным!» «Слушаюсь. Выполним!»

Скрытымным — это не syllabika.
Лермонтов поэтому непереводим.
Выгода безъязыкая пела в Слабуге,
что ей примерещилось! Скрытымным...

А пока пляшите, пьяны в дым —
шагадам, магадам, скрытымным!
Но не забывайте — рухнул Рим,
не понав приветствия: «Скрытымным».

В альбом студентам Беркли¹

Меня тоска познания точит.
И Беркли в сердце у меня.
Его студенчество — источник
бунтарства, света и ума.

А клещи спутницы прелестной
вниз расширялись в темноте,
как тени, расширяясь, если
источник света — в животе.

¹ Беркли — центр американского бунтарски настроенного студенчества.

ЮРИЙ НАГИБИН

незабываемое

Перед большим писателем все в долгу, но у меня есть своя, особая благодарность Валентину Петровичу Катаеву.

В начале 1939 года состоялся мой литературный дебют. Я выступил с чтением рассказа на вечере начинающих авторов в клубе писателей. Кроме меня, там читали Иван Меньшиков, ставший впоследствии большим моим другом, и поэт Иван Бауков. Оба выступили успешно, особенно Бауков. Меня осыпали, почти буквально. Рассказ мой был о том, как семнадцатилетний парень хочет добиться любви взрослой женщины, но отступает, поняв свою жалкую незрелость. Впрочем, конец едва ли кто слышал из-за смеха, издевательских и негодующих выкриков. Необычной и раздражающей оказалась сама тема рассказа; начинающему автору приличествовало прочесть рассказ о пограничнике с собакой или об ударном труде. Поначалу я еще держался, но тут к студентам литвуза и членам литобъединения присоединили свои возмущенные голоса три почтенные писательницы, которых я безмерно уважал, не потому, что читал их книги, а потому, что они были признаны, имениты, широко известны. «Это какая-то чувственица!» — с возмущением говорили они о моей героине, и я подумал о самоубийстве. А затем случилось нежданно-негаданное. Председательствующий на вечере Валентин Петрович Катаев вдруг покраснел и сказал резко:

— Ну, хватит играть его костями. Одаренный человек прочесть не то, что следовало, с каждым может случиться!

Честно говоря, я понял, что речь идет обо мне, лишь по дружному возмущению аудитории. И тут прозвучал насмешливый голос:

— А ведь рассказ-то хороший!

В дверях стоял Юрий Карлович Олеша. Наступила тишина и растерянность. Не потому, что мнение Юрия Олеша значило больше катаевского, но Юрий Карлович в ту пору никогда не появлялся на литературных вечерах и в воображении молодых был овеян каким-то легендарным туманом. Валентин Петрович мгновенно уловил это и настоял на том, чтобы Олеша высказался более обстоятельно. А тому не хотелось, его ждали «золотые столбы коньяка», как он сам позднее выразился, на банкетном столе ресторана. Но Катаев был неумолим, и Юрий Карлович покорился более сильному другу. Я был спасен. Две могучие руки схватили меня за шкирку и вытащили из проруби.

Вот когда я впервые убедился, что «злой», как считалось в литературных кругах, Валентин Катаев может быть очень и очень добрым, и память о его доброте нежно пронес через всю жизнь.

ЮРИЙ
ЩЕКОЧИХИН

Ему 21 год. Он студент факультета журналистики Московского университета. Сотрудник газеты «Московскийсомолец».



весна, которую они защитили

..Был он тихий и слабый.
Но Москва без него
Ничего не смогла бы.
Не смогла ничего.

А. МЕЖИРОВ



Каска с 71-го километра
Фото А. Карзанова.

— **В**олодя, привет
Ты не думай, я все понимаю. Мне показали
ту старую фронтовую газету. Ты-то ее
не видел.

«Володя Федотычев. Герой обороны восточного берега Нары в критические часы 22 октября 1941 года. Боевой участник разгрома и изгнания немцев из Горчухина 8 ноября».

Грозный для врага солдат из числа 38 при катастрофическом разгроме вражеской группировки у кирпичного завода 1 декабря 1941 года, где юный герой-патриот сложил свою славную голову за Советскую Родину».

Я все прекрасно понимаю.

Тебя убили в первый декабрьский день 1941-го, и ты так и не услышал, как звенит звонок в этой школе. В 310-й школе Бауманского района Москвы.

6 июля 1941 года было не до звонков.

6 июля закончили формирование IV дивизии Народного ополчения Куйбышевского района. твоей дивизии.

А вот сейчас прозвенит звонок, и, если бы ничего не случилось, мы бы могли вместе стоять здесь и ждать, когда с грохотом откроется дверь и выйдут Витя Зазулин, и Оля Ткаченко, и Наня Алев, и Лена Жарникова, и Лена Клаева, и Володя Альтшуллер, — одним словом, весь 6 «А» сегодняшней 310-й. И кто-то кому-нибудь подставит плечо, и кто-то обидится, а кто-то засмеется так, что зазвенят стекла. А потом узнают тебя. Обязательно узнают.

Ведь это 6 «А» показал мне твою фотографию и вырезку из старой фронтовой газеты.

А мы бы стояли и смотрели. И был бы ты сегодня намного старше, чем я.

Но так уж вышло. Старше я. Тебе — семнадцать. ..Тебя нет, нет многих и многих бойцов дивизии Народного ополчения Куйбышевского района. Они остались в 1941-м. Возле Горчухина, Мишукова, Атепцова, Филина, еще десятков двух подмосковных сел и деревень, где встали на рубеж обороны Москвы ополченцы, в прошлом рабочие фабрики «Красная швея», журналисты «Вечерней Москвы» и «Московского большевика», сотрудники Наркомата внешней торговли, Наркомата просвещения, Госплана, Центросоюза. А что же осталось? Пробитая каска, гильзы от патронов, горсть земли, исполованной металлом, — экспонаты музея 310-й школы?

Нет, остались солдаты и командиры, политработники и медсестры. Те, кто вроде бы никак не мог уже остаться в живых.

Остались, потому что есть Витя. Оля. Наня. Лена. Володя, есть учительница Клавдия Ильинична Силуянова, руководитель красных следопытов 310-й школы, есть друзья тех, кто погиб, защищая нашу Москву, — ветераны дивизии Народного ополчения.

Остался связист Сергей Новиков, который, умирая, зубами соединил порванный провод, и для не очень-то дисциплинированного человека из 6 «А» Вити Зазулина он сейчас уже никак не история. Новиков — человек, который после долгого-преддолгого путешествия снова пришел к ним, в 310-ю. Потому что его нашли Витя и его друзья.

Осталась и смертельная схватка в четырех километрах от Нары, у кирпичного завода, когда 38 человек не отступили ни на шаг дальше, ни на шаг к Москве. Бой этот был 1 декабря 1941-го, а потом еще много раз появлялся он в памяти.

И когда приходили школьники сюда, на 71-й километр Минского шоссе, то за плечами у них, казалось, уже не рюкзаки, а вещмешки.

А значит, тут, где-то рядом, в школьных коридорах, затерялся Володя Федотычев. Он просто вышел. Он ждет звонка.

И потому-то говорю я еще одному человеку:

— ...Здравствуйте, Федор Степанович. Здравствуйте, товарищ комиссар... Я всегда очень завидовал людям, которые в совершенстве владеют иностранным языком. Как вы, например, английским.

Только какой уж там английский...

Три захода вражеских бомбардировщиков. Один за другим. Тонны бомб.

Я не представляю, как это, но, наверное, страшно. А потом стало тихо. Совсем тихо, как, по-видимому, и случается перед атакой. И кто-то вдруг закричал:

— Комиссар умирает...

Вы, Федор Степанович Гайворонский, комиссар батальона, погибли 17 октября 1941 года возле деревни Мишуково.

...Здесь, на этом же месте, несколько лет назад ребята сидели у костра, и здесь они повстречались с ополченцем Валерием Николаевичем Кузьминым.

— Комиссар сказал мне перед смертью, что он — работник Наркомата просвещения. Найдите, ребята, его следы...

Нашли. Посылали запросы, сидели в канцеляриях, обращались в архивы и потом добились, чтобы имя комиссара Гайворонского было выбито на мемориальной доске Министрства просвещения РСФСР.

Два года искали его родных. И наконец 7 мая 1971 года позволили в квартиру дочери Федора Степановича, а 9-го — Витя, Оля, Наня, Лена, Володя пришли к Вере Павловне Гайворонской, жене комиссара.

— Я знала, обязательно придут люди и скажут, как он погиб.

...Искать дальше. Снова походы. Каждое воскресенье. В любую погоду. Путь от Москвы до Башкино. Здесь дивизия заняла рубежи, здесь, вдоль железнодорожного полотна.

Деревня Мишуково. Последний бой комиссара. Ведь должен же кто-нибудь помнить, где он умер, где похоронен?!

И еще один день, который весь в «А» будет всегда вспоминать, даже когда станет он не 6-м, а 10 «А»:

На безымянной прежде могиле установлен обелиск. Но местные жители сказали, что здесь, на этой самой земле, захоронены еще два бойца дивизии Народного ополчения.

Кто они?

Искать и искать. Многих еще. Ведь где-то потеряны следы санинструктора Ани Зудиновой.

И наступит день, когда можно будет сказать:

— Аня, мы тебя знаем...

Для тебя слишком легка была сумка с красным крестом. Рядом с ней всегда висел пистолет.

Ты бежала в атаку с винтовкой наперевес. Вперед.

Однажды, когда погиб почти весь орудинный расчет, ты встала на место тех, кого уже не было.

Ты распахивала двери блиндажей, и в руках твоих была «Правда» со знаменитой статьей о девочке, которую вначале называли «Таней».

Ты хотела быть разведчицей. Ты хотела стать такой же, как Зоя Космодемьянская, «Таня».



Володя Федотычев (фронтонный рисунок).

И тебя возьмут в разведшколу. Ты погибнешь позже, уже не под Москвой.

Но как, где, когда?

— ...Так что, Володя, здравствуй!

Сейчас прошло уже тридцать лет. Окопы заросли, и с трудом различишь сейчас воронки от бомб.

На втором этаже 310-й школы висит огромный стенд — боевой путь твоей дивизии Народного ополчения Куйбышевского района, переименованной сначала в 110-ю стрелковую, а затем в 84-ю гвардейскую стрелковую Карачаевскую краснознаменную ордена Суворова дивизию.

Когда собираются здесь, в школе, твои друзья и командиры, тогда негде сесть в переполненном актовом зале, и на сцену выходит Володя Альтшулер, ученик и поэт 6 «А»:

Чтоб вспомнить тех, кто с честью пал в бою,
Кто воевал — на улице и в поле,
Обороняя Родину свою,
Собрались ополченцы в нашей школе...
Бои шли в километрах от Москвы,
Формировались взводы и отряды,
Преграды возводили, рыли рвы,
Записывались все. Так было надо...

Надо было. И Москва сформировала 12 добровольческих дивизий Народного ополчения численностью более двухсот тысяч человек.

Надо было. И 25 истребительных батальонов встали на рубеж обороны.

Надо было. И 520 тысяч литров крови сдали москвичи для спасения жизни раненых солдат.

Надо было. И 60 мальчишек и девочек 346-й школы этого же Бауманского района объединились в Тимуровскую дружину, чтобы гасить зажигательные бомбы, помогать семьям фронтовиков, дежурить в госпиталях, и через три года, в 1944-м, Маршал Советского Союза С. М. Буденный вручил командиру дружины Вите Андрикову медаль «За оборону Москвы».

Ты не знаешь об этом, Володя Федотычев.

Шести дней не доживешь ты до начала наступления под Москвой.

Несколько месяцев — до первой военной весны. Трех с половиной лет — до Дня Победы, до 9-го Мая.

Тридцати лет — до нашей с тобой встречи.

Но все равно ты с нами.



Леня Давыдов не оглядывался. Он и без того знал, что взгляды рабочих, набившихся в прокуренную «слесарку», изучающе обращены на него. Делая вид, что ему это безразлично, он, нарочито не торопясь, подняв полосу жести, не спеша приложил к кромке верстака, размахнулся тяжелым деревянным молотком и ударил, целясь в самую середину. Но в ту же секунду с криком отдернул руку. Замахал ею в воздухе, как пропеллером. За спиной захохотали.

— Шел бы себе в лабораторию, рисовал чертежи, — услышал он чей-то голос.

— Тебе что, больше всех надо? — подхватил другой. — Все люди как люди, сказано — будет сделано, ждут. А тебе нетерпение. Пришел сюда, всех торопишь. Сам вон все руки побиивал.

Слесарь умолк. Притихли и другие, ожидая, что Леня вступит в разговор. Но он даже не обернулся. Неловко подхватил другую полосу и установил на прежнее место. Теперь удерживать ее было намного удобнее. Мешал пошивший, ушибленный палец.

«Только бы не промазали», — подумал он. Слова размахнулись, и, когда молоток завис над головой, краешком глаза выхватила его выщербленное донышко и тотчас явственно ощутил упругую траекторию инструмента. Короткий импульс заставил чуть сжаться мускулы, и молоток послушно опустился точно на середину пластины.

Красивый, аккуратный выгиб разделил ее на две равные части. Леня небрежно швырнул полосу на верстак и взялся за «жестяные» ножицы. Эта работа давалась ему лучше. Через несколько минут заготовка сопла новой модели была готова. Он аккуратно положил ее на промасленную табуретку и только тогда повернулся к рабочим.

Давыдов — невысокого роста, худощавый, черноволосый, в грязном ватнике. Выдать в нем инженера могли разве что элегантные очки в роговой оправе. Он снял их, протер стекла о рукав и, блззурко щурясь, добродушно посмотрел на слесарей. Он пожимал их. Если бы они пришли в лабораторию, обступили его кулман и начали требовать, чтобы он быстрее выдал чертежи, наверное, ему бы это тоже не повредило.

— Слушай, парень, — обратился к нему слесарь Степа, известный балагур. — Вот ты мне объясни: ну что тебе не сидится в лаборатории?



**ВАДИМ
БЕЛОУСОВ,**

инженер, научный сотрудник
Института экономики АН СССР.
Ему 29 лет. Работает над диссертацией. В недавнем прошлом — рабочий строительного-монтажного поезда в Эстонии, затем — авиамеханик.

«БОЛОТНЫЕ КОРОЛИ»

Все с интересом смотрел на Давыдова: что-то он ответит.

А ему было что ответить. Он мог бы рассказать, как был поражен, когда впервые увидел торфодобывающие машины — целые дома из грохочущей стали. Могучие и несокрушимые. Это была любовь с первого взгляда. Увидев их однажды, он уже не сомневался, что чем бы ни пришлось ему заниматься в дальнейшем — станками или химическими аппаратами, — он не испытает истинного творческого удовлетворения, пока не вернется к этим железным динозаврам. Поэтому он был очень рад, когда его, новоиспеченного инженера, взяли на работу в Ленинградский институт торфяной промышленности, где рождались эти машины.

И с первых же дней работы он попал в водоворот событий. К тому времени старые механические машины достигли своего «потола». Выхват из них что-то еще было уже невозможным. Тогда-то коллектив его лаборатории и предложил убирать торф воздушной струей. Идея была смелой, даже ошеломляющей. Вместо привычных железных барабанов — пневматика! Мыслимо ли это!

Как-то после работы Леонид остался наедине с заведующим лабораторией Назаром Борисовичем Горнштейном. Закуривал.

— Ну что, Леонид, погряз в сомнениях? — улыбнулся шеф. Давыдов замешкался с ответом.

— А ты прикинь, — продолжал Назар Борисович, — если мы сделаем пневматический комбайн, на тех же площадях, с теми же людьми можно будет дать в полтора раза больше торфа. Ты знаешь, как он нужен стране. Торф — это электричество, удобрения, спирт, пластмассы. Допустим, мы в чем-то ошибаемся. Но дерзать, доводить машину «до ума» должны. Обязаны. Хотя я убежден, что идея беспроигрышная. Можешь мне поверить.

Ему, лауреату Государственной премии, ученому, не один десяток лет отдавшему торфяной промышленности, можно было верить. Но если он так уверен в успехе дела, почему же сам волнуется, переживает? Словно угадав мысли Леонида, тот продолжил:

— Отстоять идею будет труднее, чем создать машину. Запомни это.

Шеф протянул руку за карандашом и набросал на листе бумаги эскиз машины.

— Вот здесь, — карандаш уперся в конец длинного хобота, свисавшего с агрегата, — одно из самых

Рисунок О. Грешиной.
Студентки VI курса Института
имени В. И. Сурикова.

ответственных мест — всасывающее сопло. Им и займись.

Выбор был сделан. Собственно, и раньше Леонид был склонен уверовать в перспективность новой идеи. Но теперь, когда ему поручили создать важнейший узел машины, он стал не сторонним наблюдателем баталии, бушевавшей «вверху», а равноправным участником событий. У него было такое чувство, как в детстве, когда на ненадежном лодке он с другими мальчишками решил пересечь озеро.

Толпа приятелей отоваривала их. Но лодку оттолкнули от берега. И тут уж хочешь не хочешь — греби, несмотря на волну и на щелки, в которые била вода. Греби и не оглядываясь назад.

Так и сейчас он греб — работал в полную силу: днем — в лаборатории, проводя бесчисленные расчеты, вычерчивая замысловатые детали будущего агрегата, вечером — в библиотеке, перелистывая толстые подшивки технических журналов. Когда же дело дошло до моделирования, не вытерпев, сам прибежал в мастерскую. Выпросил у кого-то ватик и взялся за жезл, выгибая и вырезая из нее заготовки сопла самой замысловатой формы, ища среди них одну единственную, оптимальную.

И вовсе не потому он здесь, что не доверяет рабочим или пытается их подогнать своим присутствием. Просто иначе не может. Ведь этот комбайн — его первая «инженерная» любовь, его радость и забота. Об этом не скажешь вслух.

А ответить все же надо. Вот этому Степке.

— Сам-то ты что любишь? — неожиданно спросил Леонид.

Тот ухмыльнулся.

— Известно, ее, сладко-горькую. Поймаю минуточку — и нет лучшего блаженства.

— А я блаженство ловлю, когда делаю машину, — с расстановкой проговорил Давыдов.

Реакция Степки была неожиданной. Он вдруг отбросил найтреновое балагуство и недоверчиво спросил:

— Ты это серьезно?

— Ты этого, может, и не поймешь, а вот он поймет. — Леня кивнул в сторону Егорыча, старого, кадрового рабочего.

Все поверуешь всегда за ним.

— Верно Давыдов говорит, — согласился Егорыч, — хлопнув широкой ладонью по колену, подыскай. — Хватит баладу гравить!.. Давай-ка, инженер, твое изделие.

Вместе они быстро спалили разрозненные детали, и, подхватив под мышку модель готового сопла, еще горячую от расплавленного металла, Леонид помчался к испытательному стенду.

Торопиво подсоединил сопло к данному рукаву и включил рубильник. Воздушный насос сделал богатый вдох и завыв, всасывая через новенькое сопло десятки кубометров воздуха. Леонид повернул рычажок, и конвейерная лента, нагруженная торфом, поползла навстречу ревущему зеву.

Леонид зажмурился и представил, что это гигантский торфодобывающий комбайн идет по полю, а навстречу ему ползут пласты торфа. Огромные сопла втягивают в себя тонны первокалассного сырья, и оно оседает во вместительном бункере. А на краю поля вырастают все новые и новые, невиданные ранее горы добытого торфа. Но что это? Его воображаемый комбайн вдруг повело в сторону. Он накренился, клонул передком и со скрежетом остановился.

Леонид рванул рубильник, моторы отключились, и модель замерла. Хорошо, что это всего лишь модель, подумал он и полез устранив неисправности. Снова пуск, и снова остановка. Регулировка, замена деталей. И опять пуск...

К весне опытный образец пневматической машины был готов. Издали она напоминала какое-то страшное доисторическое животное. Маленькая змеиная голова — кабина была окружена рядом огромных щупалец — воздухопроводов. Именно о таких невероятных машинах и мечтал Леонид Давыдов. Он сидел на ящике с ветошью в цехе экспериментального завода и любовался комбайном.

Вот поблескивают свежей краской всасывающие сопла. Самые лучшие в мире сопла! Каждый миллиметр их стройных линий тысячу раз перепроверен, испытан на аэродинамичность.

К соплам накрепко привернуты другие агрегаты; их сконструировали друзья Леонида — Галя Гультяева, Юра Козлов, такие же, как он, молодые специалисты — ребята из «одной лодки», которые вместе с ним отчаянно «гребли».

Через несколько часов машина выйдет из заводских стен, и начнутся испытания.

Именно они подтвердят, что новая машина, сам ее принцип имеют право на жизнь. Или...

Кто-то легонько кашлянул за спиной. Леонид поднял глаза и увидел Назара Борисовича.

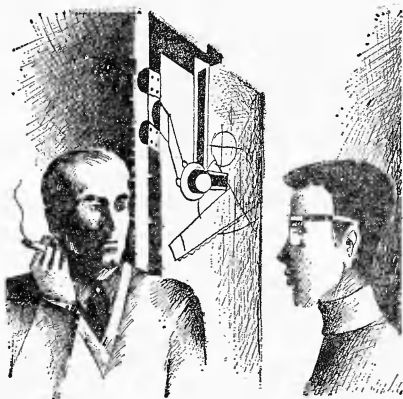
«Ну, вот и «кормчий» пожаловал», — отметил он про себя.

«Кормчий» присел на краешек ящика.

— Как, инженер-испытатель, консервы собрал? — пошутил Назар Борисович. Консервы действительно могли пригодиться: ведь испытательной группе предстояло едва ли не полгода провести на далеком торфопредприятии, среди лесов и болот Приладожья...

Часам к десяти утра комбайн был уже на торфопредприятии Назия. Пока испытательная группа готовила его к работе, собралась толпа местных жителей. Тут были водители и трактористы в промасленных телогрейках, женщины-подсобницы в цветастых платочках. Пожилые, немало повидавшие мастера стояли поодаль, степенно обсуждая диковинку.

Леонид краем уха ловил обрывки их разговора.



— Разве этакая машина пойдёт по торфянику? — басил полный мужчина в синем пиджаке и выгоревшей широкополой шляпе. — Тут же утонет, придется ее трактористом тягать.

— Может, и не утонет, — задумчиво протянула сухопарый старичок с карандашом за ухом, — но как мы на ней, на пневматике, работать будем? Вон механические фрезеры с такими железными барабанами, — он широко распахнул руки, — ломаются, а тут, понимаешь, пневматика, чуть что не по ней — все, отказ!

Привзяться, не такой встречи ожидал Леонид. Он растерялся.

Ему вдруг стало обидно. За себя, за ребят. Вот заправляет маслом воздушные фильтры инженер Галя Гуляева. Молодая, привлекательная. Ее подруги в Ленинграде сейчас посматривают в зеркалке, подводят губки. Через полчаса обеденный перерыв, и они побегут в Пассаж за финской шерстью или итальянскими туфельками, а Галя здесь, на болотах. Леонид встретился взглядом с Назаром Борисовичем.

«Отстоять идею будет труднее, чем создать машину», — вспомнил он его слова. Что ж, будет отстаивать. Леонид с силой нажал на ключ. Тронутый рычажный болт заскрипел и провернулся хлопостую.

— Давай помогу. — Высокий темноволосый парень лет тридцати, не дожидаясь ответа, выхватил из кармана разводной ключ и подлез под сопло, которое подтягивал Леонид.

— Давай! — крикнул он, высушившись с другой стороны агрегата. Леонид приналег на ключ и затянул болт до отказа.

— Железно, — уверенно сказал парень, вылезая из-под машины. Отряхнул перепачканную руку и протянул ее Леониду: — Леха.

— Очень приятно, Давыдов.

— Как у тебя, все готово? — спросил подошедший Назар Борисович.

— Порядок, — кивнул Леонид.

— Ну, в добрый час.

Взревел двухтактный двигатель. Комбайн вздрогнул, дернулся и пошел. Нет, не пошел, а поплыл, словно лебедь, по огромному торфяному полю. Леонид сорвал с головы берет и, что-то крича, побежал вслед за машиной. Рядом мчались вагата орущих мальчишек. Бежали, спотыкаясь, зарываясь ногами в рыхлое поле, а впереди все так же уверенно и грациозно шел комбайн. Как гигантский пылесос, он утюжил его, всасывая торфяную массу.

Вот он остановился. Водитель Павел Семёнович Савельев вышел из кабины и спустился к подбежавшим людям.

— Можко, Назар Борисович? — Леонид умоляюще посмотрел на шефа.

— Можко, Леня, только поосторожнее.

Давыдов стремглав взлетел в кабину.

Прибавил оборотов двигателю и послал рычаг вперед. Комбайн плавно тронулся с места. Теперь вся многотонная ревущая громадина полностью подчинялась его воле.

Леонид с трехметровой высоты смотрел на поле, ползущее под гусеницы.

Как мало оно было похоже на загруженное торфом полотно транспортной ленты там, в лаборатории! Так же мало, как и эти огромные сопла на те игрушечные жестики, с которыми он возился в Ленинграде.

Весь день Леонид провел за штурвалом комбайна. А вечером, сияющий от радости и усталости до изнеможения, ввалился в домик, отведенный испытателям тут же, рядом с торфяником. Все были уже в сборе.

Кратко, по-деловому обсудили итоги дня. Машина работала безукоризненно. Погода была тоже как нельзя лучше: сухая, безоблачная. Решили работать круглосуточно. Аденатать часов должны были водить комбайн Леонид с Савельевым следующие полусуток — инженер Юра Козлов с другим водителем.

— Назар Борисович, — спросил Леонид после минутного колебания, — вам не показалось, что некоторые рабочие еще не очень доверяют нашему комбайну, еще не разобрались в его преимуществах?

— Показалось... Но ведь эта машина комфортабельнее, легче в управлении. В полтора раза производительнее... А как, по-вашему, кто должен убедить рабочих в преимуществах новой машины?

— Разумеется, мы.

Многих лив мы с тобой убедили на словах там, в Ленинграде? То-то и оно. Этим людям работать на нашем комбайне. План выполнять. Между прочим, и семью кормить. Их первыми и убеждать...

Н а следующий день ни свет ни заря Леонид с Савельевым уже убирал торф. Шутки ради водителю притащили в кабину ведро с водой. Теперь оно стояло в ногах, дребезжаало ручкой. Нет, и кто-нибудь из испытателей поглядывал на него. Комбайн шел так плавно, что из ведра не вылетело ни капли. Савельев, старый водитель, только удивленно покачал головой. Таких машин он еще не видел. На одном из разворотов их комбайн поравнялся с обычным, механическим. Его водитель Гриша (имя потом узнали) остановился и, высушившись по пояс из кабины, что-то прокричал им, делая непонятные Леониду знаки.

— Ишь ты, посоревноваться хочет, говорит, сто очков вперед нашей пневматике. Что, попробуем, инженер? — спросил Савельев.

— Попробуем, — кивнул Леонид.

Обе машины поехали рядом — борт в борт. Как два слова, не желавших уступать друг другу, они упрямо шли по торфянику.

Завидев неизбежное соревнование, сбегались рабочие с соседних полей.

Испытатели во главе с Назаром Борисовичем тоже были здесь. Каждая группа болела за свой экипаж.

Леонид выглянул в окошко. Старый комбайн вырвался вперед и на длину корпуса обошел их. Савельев добавил «газку». Метр за метром они стали отыгрывать потерянное расстояние.

К финишу обе машины пришли одновременно. Гриша лихо развернулся, и из бункера его комбайна высыпалась падающая гора торфа.

Большезычки уважительно притихли. Собрать за одну езду столько можно было далеко не каждый водитель. Теперь пришла очередь экспериментальной машины.

— Ну-ка, поглядим, поглядим, — с плохо скрываемым торжеством пропел старый мастер с карандашом за ухом.

Давно сравнивались высыпанные кучи, а из бункера пневматического комбайна все лилась толстая струя торфяной крошки. За один заезд он собрал ее столько, сколько машина старой модели собирала за два.

Старый мастер подошел к выгруженному торфу, взял пригоршню и растер на ладони.

— Слушай, сынок, — попросил он Леонида, — ты разреши мне посмотреть вашу машину.

И спытания шли на удивление гладко. Но вот как-то вечером небо затянуло тучами, пошел дождь. Торф в такую погоду не убирают. Поэтому Леонид с Юрой Козловым решили прогуляться в центральный поселок. Дорога после ночного ливня



вспухла и раскисла. То и дело ноги скользили по глянцевой жиже.

До поселка добрались к середине дня. Его главной достопримечательностью и пересечением всех путей была магазин — приземистый домик с прокопченной трубой.

Леонид толкнул тяжелую дверь и, пропустив вперед Юру, вошел. В полутемном помещении стоял гвалт. Кто-то пытался влезть без очереди, кто-то его осыпал. Очередь напирала, ругалась, смеялась, лезла семечки и расправляла ногами окурки.

Тяжелая рука опустилась на плечо Леонида. Он обернулся и увидел широко улыбающегося высоченного и хмельного Леха — парня, с которым познакомился в первый день испытаний.

— Привет инженер! Что, загораем? Этот дождичек дня на четыре, не меньше.

— А ну! — Леха уверенно развернул толпу и пропустил к прилавку. Никто ничего не возразил, видно, его здесь хорошо знали и побились.

— Что, закушаем?

Леонид с Юрой переглянулись:

— Нет, пожалуй, сейчас не время, нам еще работать.

Но Леха было неумолим. Леонид даже не успел толком понять, как ему удалось вырвать у них обещание «прибыть к нему на квартиру» вечером да еще с «дамами-испытательницами».

И вот они сидят в просторной комнате деревенского дома — Леонид, Юра Козлов и Галя Гульятрева. Напротив местная «шантеклера», как, смеясь, называет ее Леха, — Наташа. Видно, привыкла она вести себя вызывающе, но в присутствии питерских инженеров до поры сидит скромно.

Леха, торжественный и хлососольный, предлагает гостям закуски. Леонид взял на себя обязанности тамады.

— Ну, за что выпьем?

— Конечно, за наш комбайн! — предложила Галя и первая подняла рюмку. Леониду всегда нравилась ее простота и умение в то же время четко очертить вокруг себя круг, переступить который никто не смел.

— Хороший тост, — поддержал Леха. Он включил проигрыватель. Леонид с интересом наблюдал за ним. Зеленые, почти коричневые Лехины глаза смотрели колюче. Темные волосы сбивались набок и растрепались.

— Вот мы пили за ваш комбайн, — пачал он вдруг, — а что потом будет?

— То есть как это? — удивился Леонид.

— А так, вы его вылизали, выделали, как игрушку, чтобы проходил сезон. А нам приплатите сериинные, которые будут через день ломаться.

Но для того-то мы и здесь, чтобы ве ломались, — перебила Леонид.

— Брось! — махнул рукой Леха. — Какие вы тор-финики! «Болотные короли» — вот вы кто!

Все невольно замолчали.

— Леха, — не сразу нарушила молчание Галя, — ты сколько заработал в прошлом месяце?

Наташа расслась в самодовольной улыбке и от-ветила за него: четверста.

— Наши ребята четырста зарабатуют за три ме-сяца, — продолжила Галя все тем же ровным тоном.

— Слушай, Леха, — заговорил молчаливый все время Юра, — вот у тебя в шкафу висит пейлоновая ру-башка.

— Ну, висит.

— Сколько ты за нее заплатил?

— Двадцатник.

— Хотел бы купить ее за пять рублей?

— А ты бы не хотел?

— И я бы хотел, и вот он. Но, чтобы она стоила в четыре раза дешевле, рабоче-химники, как и ты, должны освоить новое оборудование, а работать на нем тоже будет сложнее...

— Понимаю, к чему клонишь: дескать, трудились без страха и упрека, и воздастся тебе. Когда воздаст-ся, неизвестно.

...Вечер не получился. Разошлись рано. Наташа про-вожала ребят до калитки, приглашая навестить их еще раз. Они вежливо благодарили.

Чтобы быстрее добраться до дома, идти решили напрямик.

Свернули с большака и пошли по извилистой лес-ной тропе, вдоль болота. Шли, крепко взявшись за руки, стараясь придерживаться темного контура ку-стов, окаймлявших тропику.

До дома добрались быстро. На крыльце Леонид за-держался и посмотрел на небо: яркая луна высве-чивала лишь несколько кучевых облаков. «Завтра бу-дет хороший день. Рабочий».

И снова круглые сутки комбайн, как челнок, снова из конца в конец поля.

Теперь испытания усложнились. Не щадя ма-шину, ее гоняли то быстро, то медленно, разворачи-вали на месте, выделывали с ней чуть ли не цир-ковые номера. Никаких серьезных дефектов не выяв-лялось. Сколько раз Леонид обшаривал весь комбайн, ища масляные подтеки, говорящие о пробитом «сал-нике», сколько раз обстучивал шарниры и переда-чи — все как будто было нормально. Как-то, развер-нув комбайн в конце поля, Леонид заметил прибли-жающегося Назара Борисовича.

— Как дела? — озабоченно спросил шеф.

— Пока молчит. — Леонид неопределенно пожал плечами, — ни одной неисправности.

— Так... Ты вот что, Леня, подготовься к встре-че гостей. Завтра здесь будут проходить выездное сове-щание директоров и главных инженеров чуть ли не всех торбпродприятий Северо-Запада. Придут смот-реть комбайн.

— Пусть приходит, — улыбнулся Леонид. Его лицо было спокойным. Но на душе скребли кошки.

Утром в самом начале смены его насторожила не-привычный шум, донесшийся сквозь грохот двигателя. Шум больше не повторился.

«Сказать шефу? — подумал он. — Может, пока-
лос? Что панику поднимать раньше времени».

Можно было прервать испытания, побережь агре-
гат до завтра. Но тут Леонид вспомнил лицо Лехи
и его слова о машине, «вылизавной», как игрушка.

— Нет, — решил он, вновь включил мотор, приба-
вил «газу» и повел комбайн на неровный участок
поля.

Мотор работал ровно, без перебоев. Все приборы
показывали нормальные режимы. Но вдруг Леонид
явственно услышал тот же шум, что и утром, но те-
перь гораздо сильнее и резче. Он готчас рванул ры-
чаг экстренной остановки, выскочил из кабины и уви-
дел изувеченный валик масляного насоса. Тонкой
струйкой по нему стекало разогретое масло с блестя-
щими крапинами раскрошенного металла.

Почему так случилось? Водитель Савельев взял на
палец осколочек металла и внимательно осмотрел.

— Вот черт! — вырвалось у него. — Поставили сы-
рой валик, незакаленный. Значит, не в машине дело!

Наскоро отсоединив поломанную деталь, Леонид
схватил чей-то мотовелосипед и помчался на завод,
который по договору должен был выполнять заказы
испытательной группы. Прямо в проходной, пока вы-
писывали пропуск, набросал эскиз валика, поставил
размеры. Сменный мастер Василий Иванович Миро-
нов лишь кивнул на склонившихся над станками
рабочих: видишь, все заняты.

— Но мне же срочно нужно! — взмолился Леонид.

— Всем срочно, — невозмутимо ответил мастер. —
Иди к старшему, прикажет — сделаем.

Со старшим мастером разговора не получилось.
Леонид собрался с духом и решительно напра-
вился к главному инженеру завода Анатолию Алек-
сеевичу Родивилу.

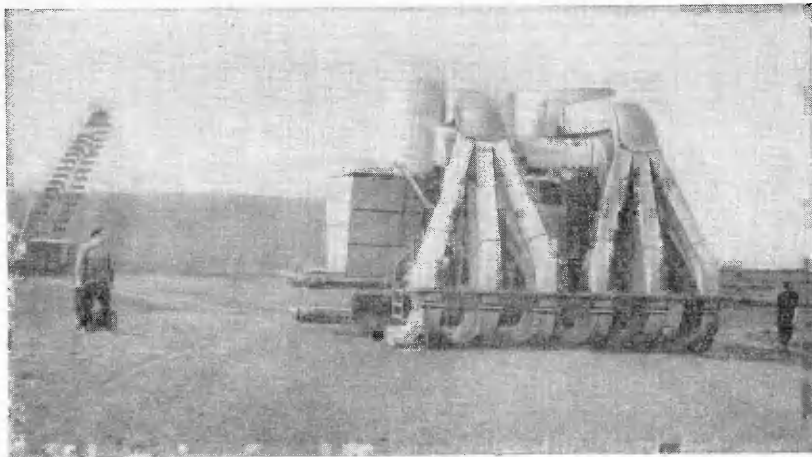
Главный инженер принял его довольно рассеян-
но. То ли потому, что был окружен другими посетителя-
ми, то ли потому, что рабочий день близился к кон-
цу. Выслушав Леонида, пообещал все сделать и взял
у него помятый эскиз.



Леонид вышел в приемную и со вздохом опустил-
ся на стул. Дверь в кабинет осталась приоткрытой.
Леонид хорошо слышал, как главный инженер гово-
рил по телефону. Но говорил, к сожалению, не о его
валике. Через час, удивляясь собственной настойчи-
вости, Леонид ворвался прямо в кабинет директора
завода Николая Петровича Потапова. Директор, плот-
ный, краснолицый человек, строго посмотрел на него.

— В чем дело?..

Через несколько минут Леонид держал в руке за-
писку директора, короткую и лаконичную, как бое-
вой приказ: «Вне всякой очереди, в ущерб другим
заказам, изготовить валик привода масляного насоса
к 17.00. Потапов».



Вот он, комбайн, осуществленная мечта Лени Давыдова.

...А в 19.00 комбайн, весело рыча, уже катился по полю.

Леонид издали видел, как именитые гости вышли из машины и, словно обыкновенные экскурсанты, столпились вокруг человека в темном плаще, который, жестикулируя, что-то объяснял им. Когда комбайн приблизился, стало ясно, что комиссию встречал Назар Борисович. Леонид заглушил мотор и не спеша спустился на землю.

Видавшие виды торфовики, «корифеи», как окрестил их Леонид, с любопытством разглядывали новый комбайн. Потом попросили показать его в работе. На глазах у всех Леонид развернул машину, раз-другой провел по полю и высыпал собранный торф из бункера. «Делегация» обступила высыпающую гору. Леонид оставил машину и подошел поближе.

— По моему мнению,— уверенно говорил пожилой плотный мужчина с орденской планкой,— главное достоинство машины не в ее высокой производительности. Не спорьте,— преврал он высокого, статного мужчину с солидным портфелем в руке,— наковырять побольше торфа мы могли бы и старыми комбайнами. Но вот дать такое качество мы не можем.— С видимым удовольствием он пересылал с ладони на ладонь отборную торфяную крошку.

— Ведь что получится,— он неожиданно обратился к Леониду,— наши механические машины сгребают все подряд. И сырой торф и органические остатки. А этот «лакомка»,— он с любовью погладила борт машины,— выбирает наиболее качественную, «дошедшую» часть залежей. Кстати, молодой человек, как по вашему мнению, работает машина?

— Хорошо! — уверенно ответил Леонид. Все вокруг заулыбались. Леонид смутился.

— По-моему, парень не врет,— пошутил кто-то.

— Поверьте, товарищи,— продолжал человек с орденской планкой,— это принципиально новая машина, новое слово в торфяном машиностроении, все мы еще не раз похвастаем, что присутствовали на ее «крестинах».

Еще долго гости разглядывали машину, подробно расспрашивая об ее устройстве. Но по всему было видно, что она им нужна. Необходима.

В этот день Леонид поздно возвращался с поля. Вспоминал волнения прошедшего дня, лица и слова руководителей торфопредприятий. Более придирчивую и компетентную комиссию трудно было себе представить.

И хотя сдача опытного образца предстояла еще не скоро, не было никаких сомнений, что новая машина, а главное, новая идея обрели право на жизнь.

Проселочная дорога путалась в голубых предвечерних сумерках. Леонид шел не спеша, уверенным шагом человека, сделавшего свое дело.

Да, сегодня он был королем!

О поэтах этого номера

Поэтическая рубрика этого номера представлена в основном стихами поэтов, которые де-юре работают в центральной печати. Их судьбы характерны для нового литературного поколения нашей страны.

В уральском городке Верхний Уфалей работает шофером Владимир Владимирович. Он был слесарем на никелевом комбинате, служил в Советской Армии, сейчас студент-заочник Челябинского автодорожного техникума.

Художник-оформитель при Лениногорске Александр Фенес после воинской службы работал мотористом на судах заграничного плавания, окончил филфак ЛГУ.

Врач Лев Таран сразу после мединститута начал практиковать в поселке Озанин под Дивногорском. Сейчас работает в г. Дмитрове, Московской области.

В Литературный институт имени А. М. Горького прислали учиться Валентина Телегина из Коми АССР и Татьяна Смергина из Кировской области.

Николай Година, окончив горный техникум, работал на серном руднике «Дружба», Виктор Пахонов. Он служил в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке, потом окончил Московское художественное училище памяти 1905 года.

Совершили первые шаги на трудовой стезе профессиональной литературной работы Назир Хубиев из Карагачево-Черкесской автономной области, Елена Петрова из Душанбе, Айн-Асанали из Казахстана, Анатолий Краснов из Донецка, Алла Резанова из Подмосковья. Серьезным профессиональным опытом обладают Николай Грачев из г. Иваново.

В научно-исследовательских институтах Ленинграда работают инженер Игорь Поярков и инженер-радиотехник Анатолий Титов. Кандидат технических наук Генрих Нац является главным конструктором конструкторского бюро одного из главков Минстроя СССР. Проектирует автоматизированные системы в тресте «Орбтехстрой» воронежец Евгений Поликутин, студент-заочник Литинститута.

Уроженец Ярославля Лев Щеглов прошел армейскую службу, работал на автозаводе, учился в Литинституте, был газетчиком.

Константин Ковалев воинскую службу прошел на о. Сахалин, потом был электриком, токарем, шлифовщиком, грузчиком, автозавращиком. Окончил факультет иностранных языков пединститута в г. Грозном, работает переводчиком в одном из проектных институтов Ростова-на-Дону.

В тайге Урала, на Памире, Тянь-Шане, в Кызылуме, в Самаркандских степях, отрогах Малого Кавказского хребта работал Владимир Портнов — начальником отряда, прорабом горных работ.

Евгений Ефремов — из города Переславля-Залесского. Там он окончил школу, работал на фабрике киноплёнки. Был испытателем и лаборантом на Московском электроламповом заводе. Сейчас — сотрудник одного из НИИ.

Комсомольский работник Николай Щербинский был рабочим на заводе, окончил школу рабочей молодежи и Московский авиационный институт. Работал инженером на заводе, литсотрудником в газете. Оканчивает Литинститут.

Служил в армии, учительствовал нынешний редактор музыкальной редакции Украинского телевидения Виктор Герасимов.

Москвич Сергей Мнацаканян работал слесарем на ремонтно-механическом заводе, электриком в театре, печатником в типографии.

Многие из названных здесь поэтов были участниками совещаний молодых литераторов, которые созывались по инициативе ЦК ВЛКСМ и Союза писателей.

РУДОЛЬФ САРУХАНОВ,

главный геолог
изыскательской
партии,
работающей
в Белоруссии.
Ему 37 лет.



ВЧЕРАШНЕЙ ИСТИНЫ ЗАКОН



Рисунки В. Арлашина,
студента IV курса Института
искусств В. И. Сурикова,

Так уж случилось, что южнее Минска, в обжитом изломе веков районе, густо усаженном поселками, открылось обширное белое пятно — еще неведомая земля.

Мне помог увидеть неведомую землю Николай Иванович Войнов, мой начальник¹. Видом своим Войнов ничуть не напоминает бродягу-геолога приключенческих книг и кинофильмов. Средних лет, худощавый, с крупным лысым черепом и пристальными голубыми глазами под нависшими бровями. Серый галстук, шляпа, облезлый портфель, распираемый книгами и бумагами. Проницательный знаток человеческих душ отнес бы его в разряд чудаков-букинистов, неудачливых изобретателей или провинциальных бухгалтеров.

— Интереснейший район! — чуть картавя, тенором сказал мне Николай Иванович. — Более ста лет назад Агассис, швейцарский геолог, писал, что моренные холмы — это отпечатки отступающей ледяной ледника. Если встретилась древняя полукруглая вали необычайной величины, можно быть уверенным, что здесь жар и холод, солнце и лед спорили о господстве. Советую вам не просто проводить изыскания для строительства, но и всерьез заняться наукой.

С севера надвигался ледник. Сползал с ободраных склонов Скандинавских гор и растекался по Русской равнине под собственной тяжестью. Как тесто, вываленное из кастрюли на стол.

От морозного дыхания ледника гнили деревья, отступали на юг животные. Ледник тащил обломки скандинавских гранитов и подкваченные по дороге известняки, глины, пески, прилипшие к его брюху. Сдавленная, дробя и переминавшая обломки, он создал дошную морену — песчано-глинистую, плотную, грубую породу, напшигнувшую валунами.

Нашей экспедиции пришлось расхлебывать эту ледниковую кашу.

Войнов привел нас, геологов экспедиции, на вершину пологого холма. Вокруг изумрудные поля озими, со звонами жаворонков. Под ярко-синим небом красота, как говорится, неопиcуемая. Дорога спускалась в карьер, в бортах которого нестерпимо белела на солнце чистый мел. Работяга-экскаватор вытаскивал рывками свою когтистую лапу, выцарапывая пригоршню снежно-белых комков.

— Как глубоко лежат меловые породы в ваших краях? — спросил Николай Иванович.

— На ста метрах, — ответила я.

— Представляете силу, поднявшую сюда миллионы тонн мела со стометровой глубины! — торжествующе воскликнул он.

Мы все исправно кивали головами: «Ледник!» В соседнем карьере, зеленом, как весна, мы разглядывали гауконитовые морские пески, поднятые с семидесятиметровой глубины. И вновь понимающие кивали головами на манер умных цирковых лошадей.

У меня оставались сомнения. Мыслимо ли: пески, глины, мел выдавливались ледником, словно грязь из-под каблука? Да и меловые нащепки почему-то лежат только на вершинах холмов, и то не на многих, а на очень редких. Подобные с виду холмы вокруг сложены сплошь песками или моренами.

Не праздное желание подразнить заставляло меня вступить в спор. На солигорской земле строят, а мы должны помочь строителям, дать им ориентиры.

Я делился своими сомнениями с Войновым. Он терпеливо убеждал меня в своей правоте. Я продолжал оспаривать его мнение: слишком уж много было для нас обих неясного. Николая Ивановича начинало

¹ В этом случае фамилия изменена.

раздражать мое упрямство. Я понимал: даже в науке приходится порой принимать что-то на веру, полагаться на авторитеты. Но смириться с этим было очень трудно.

К осени мы исхожали и изъездили все положенные километры, пробурили все намеченные скважины, познакомились с геологическими работами, проводившимися до нас, и наконец-то могли приступить к главному — составлению отчета. Сотни, тысячи разрозненных сведений, десятки мнений требовалось подытожить, обобщить, обобщить.

В книгах и рассказах о геологах редко упоминаются геологические отчеты. А ведь они у нас — самое главное. Радости и трудности маршрутов остаются в наших воспоминаниях, в делах и мыслях. А главное, ради чего мы скитаемся, мерзнем и потеем, жаримся на солнце и мокем под дождем, порой рискуем жизнью и гробим технику, — это наши отчеты.

Они вряд ли могут заинтересовать кого-нибудь, кроме геологов. Для неспециалиста в каждой их строчке торчат, как занозы, корявые «геологизмы», излишнее много таблиц и графиков, карт, схем и про-

филей. Не скажешь, конечно, что специалисты зачитываются такими произведениями, как детективами. Однако опытным глазу открываются в отчетах и неожиданные мысли, и новые загадки, и даже любопытные сюжетные линии.

У нас с Войновым было именно так. Чем дальше продвигалась работа над отчетом, тем безнадежнее становились тупики наших слов.

Он старался втолковать мне свою точку зрения, как капризному ребенку. Повторялся, прояснял свои мысли, ссылался на различные работы о древних ледниках. Наконец, возмущенный моим недоверием, Войнов переходил на фальцет и резко отчитывал меня.

Николай Иванович нервничал и требовал от нас, чтобы мы работали усердно весь рабочий день и даже чуть дольше — без споров и рассуждений. Он сам ежедневно задерживался на два-три часа. А жил за городом и добирался до дому полутора часа тремя транспортом.

И никак не мог удержаться от споров. Он предлагал торфяники, лежащие в низине под слоем морены, считать отторженцами, выдавленными ледником из северной зоны.

— Не верится! — упрямся я. — Торфяники и должны быть в низине. Никакие не отторженцы.

— Да вы представляете?... — горячился Николай Иванович. — Здесь двигался ледник. Километровые горы льда. Что для них эта низинка? Эти слоенки торфа?

— А если они перед наступлением ледника заморзли? Здесь же была тундра, вечная мерзлота.

— Вы большой фантазер!

— А вы, по-моему, выдумали эти отторженцы там, где их нет.

— Прекратите! — От волнения он картавил, как бы каркая, и переходил на фальцет. — Вы задерживаете работу.

Я чувствовал себя обиженным. Замолкал, дулся. На следующий день мы оба забыли о ссоре. Слишком уж много было дел. А потом:

— Николай Иванович. Не представляю, как мог мел выдвинуться со стометровой глубины на поверхность?

— Очень просто. Под напором ледника.

— А может, он с севера притащен?

— Но вы же видите, что здесь когда-то была глубокая впадина, откуда весь мел...

— А если была долина реки?

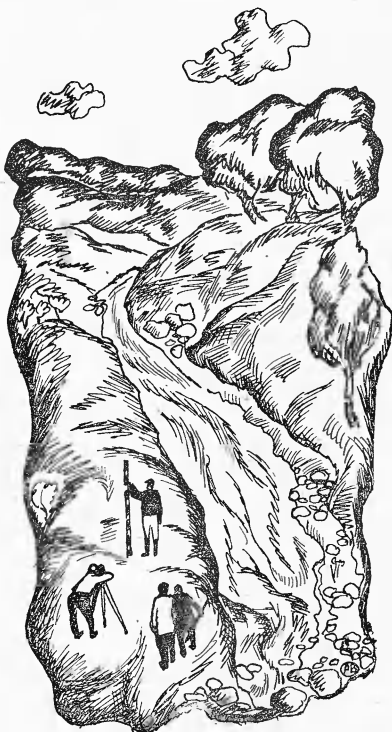
— Вы опять фантазируете.

— А если вы?

Однажды Войнов сделал доклад о первых результатах наших работ в Геологическом институте Академии наук. Мы, сотрудники, помогли ему развесить схемы и разрезы. Он докладывал только свое мнение, даже не упомянув о нас и наших спорах. Впечатление, которое производил доклад на присутствующих, судя по всему, было неплохим.

В прениях выступили известные геологи, похвалили доклад, указали на некоторые спорные вопросы и недоработки. И сошлись на том, что наш район — сущий клад для геологов. Нигде, пожалуй, нет такого нагромождения и морен, и торфяников, и отторженцев. А самое главное, здесь строится химический комбинат и потому бурится множество скважин. Попутно представляется возможность решить немало теоретических проблем.

А мне было обидно. Во-первых, все похвалили адресовались начальнику. Будто он один сделал всю работу. Во-вторых, я понимал, что район наш удивительно сложный, а теоретические знания мои слабые.



К этому времени мы все-таки сдружились, несмотря на немалое различие в возрасте. Споры не повлияли на вашими хорошим отношением. Он как-то сказал мне:

— Вы не обижайтесь на мои окрики и запрещения спорить. В случае с отторженцами торфа я, возможно, был неправ. Но, учите, вы дальше от истины, чем я.

— Что есть истина? — повторил я знаменитый вопрос Понтия Пилата.

— Вот именно, — подтвердил Николай Иванович. — Вы помните картину Ге?

Я вспомнил эту картину. Толстый, сытый Понтий Пилат, лениво откинув руку, вопрошает об истине Иисуса Христа — истерзанного, с горящими глазами пророка. Понтию нет никакого дела до истины. Спрашивает он только потому, что знает: нет истины, которую нельзя опровергнуть. Не обязательны мудрость, любовь к людям, стремление к добру. И даже если открылась тебе великая истина, это не избавит от страданий и смерти. Не лучше ли отыскивать и приобратить побольше реальных благ?

В самом деле, истина не дает ни золота, ни власти. Архимед — понятно. Изобретал хитроумные приспособления, подающие воду на возвышенных полях. Или открывал физические законы, помогающие людям в практической жизни. Его идеи приносили пользу. А какая прямая польза от рассуждений Сократа, или Платона, или Будды? Плодороднее становились поля? Враг отступал? Прибавлялось золото? Росли дома, как грибы после дождя?

Мысли рождаются в мозгу и передаются из мозга в мозг. Никакими лучами, никакими микроскопами, никакими химическими реакциями невозможно их выявить. Они незримо витают от человека к человеку, переходят из века в век.

Сейчас мы повторяем слова и мысли своих далеких предков, можно сказать, живем их умом. И в этой вечности человеческого разума, быть может, и заключается смысл мудрости мудрецов.

А ведь и глупость глупцов живет, и повторяется, и множится без конца!..

Примерно так я говорил Николаю Ивановичу (правда, короче и сумбурней). И услышал в ответ: — А вы уверены, что всегда так просто отличить мудрость от глупости? Кому-то покажутся никчемными и пустыми те мысли, которые восхищают вас. И наоборот.

Этот холодный душ остудил мой пыл.

Знакомство с Войновым укрепило мое желание серьезно заняться наукой. Взял я несколько толстых трудов по ледниковой геологии и стал выгрезывать в них, как книжный червь. Но для червя книга — пища, без которой ему не жить на свете. Для меня было иначе.

Передо мной был пример Николая Ивановича. Ему доставляло огромное удовольствие разбираться в деталях, собирать по крупицам и запоминать тысячи сведений из сотен статей и книг на разных языках. Но иных ученых увлекали гигантские проблемы. В своем воображении они сдвигали материи, изменяли вращение планеты, держали ее в руках и разглядывали любовно и удивленно, как ребенок — незнакомый крутой плод.

Второй путь казался мне привлекательнее первого. Но и для него требовались большие запасы знаний. Такая уж страшная штука наука: чем труднее путь, тем тяжелее должен быть груз знаний. Иначе взлететь вверх, как детский шарик. И чем выше заберешься, тем скорее лопнешь.

Конечно, можно было подумать и о выгодах. Если действительно подготовить и защитить кандидатскую диссертацию... Но...

Однажды в подземном переходе под улицей Горького встретил я своего бывшего одноклассника. Был он моложе меня, а теперь полыхал и перегнулся в сторону портфеля.

Говорил он с какой-то кислой улыбкой.

— Вот, брат, домой топаю. Молоко, кефирчик, булочки. — Он кивнул на свой портфель. — Двое детей, не шутя. Тебе легче прожить. Я кандидатом стал. А что? А что делать? Материальная заинтересованность. Ну, пока!

К нам на работу пришел новый геолог, мой ровесник, Евгений Михайлович.

Прежде он несколько лет проработал на Севере близ Уральских гор, в районе реки Печоры. Записался он не только четвертичной геологией, но и археологией.

Однажды, когда я старался удивить его отторженцами, потрепанными торфяниками и многослойными донными моренами, он рассмеялся, тронул меня за локоть и сказал:

— Постояй, а ты уверен, что все именно так?

— Что это?

— Ваши ледники. А если они просто выдуманы?

— Никаких сомнений!

— А все-таки?

— Хочешь быть оригинальным? Сотни геологов признают оледенения. Тысячи! Крупнейшие ученые. Тебе что, хочется изобрести деревянный бицикл, когда имеется настоящий велосипед?

— Прости, но это несерьезно. При чем тут сотни и тысячи, при чем велосипеды и академики? Давай соображать своим умом. У нас, в районе Печоры, тоже считалось, что были какие-то великие ледники, аж в два-три километра высотой. Они, мол, сгладили рельеф, проутюжили все из конца в конец, навалили кучу валунов и уж, конечно, донные морены с разными обломками. Находили мамонтов и шерстистых носорогов объясняли тем, что была тундра. А чем, интересно узнать, будет питаться мамонт или носорог в тундре? Хилой травкой да ягодками? Им надо было несколько тонн пищи в день.

— Может быть, они забегали ненадолго.

— Конечно, да, да. Бегали в тундру охладиться, притаились там в травушке от древних охотников. Кстати сказать, раньше считали, что около Полярного круга никаких древних стоянок человека не должно быть. А мы нашли прекрасные стоянки, множество орудий, костей людей и раздробленные — животно-кухонные отбросы. Когда определяла возраст, оказалось примерно то время, когда здесь должен был стоять ледник. Чепуха получается. Не могли же люди подо льдом жить?

— А если определили возраст неверно?

— Если бы да кабы... Все возможно. А пока факт остается фактом. Помню, некоторые маститые специалисты, когда узнали о находке стоянок, говорили: это несерьезно, антинаучно. Мол, это мы подобрали где-то на юге каменные рубила и притащили на север. Мистификация, мол, сплошной обман! Среди орудий, между прочим, было одно рубило из обси-диана. Как раз такого, какой только на Кавказе найден. Ну, ясное дело, значит, я слетал на Кавказ, отыскал обломок и скорее назад, чтоб ученых мужей окончательно запутать в повернуть науку вспять.

— А как же с моренами?

— Никак. В некоторых таких моренах мы находили мелкие морские раковинки диатомей. Да и почем, собственно, не образоваться на дне моря пескам

и гнилам с валунами, снесенными с берега? В Ледовитом океане их найдено сколько угодно.

— Выходит, опять легенда о всемирном потопе? Несколько некоем опровергают ее геологи, а она опять и опять выплывает. Ты в нее веришь?

— Только не надо друг на друга собак вешать. Предположим, легенда о потопе. Подтверждается? Ну и слава богу. Спровергается убедительными фактами? Тоже хорошо. Главное, чтобы была доказана истина, а прочие соображения — лирика.

Мы заговорили о всемирном потопе. Мне нравились легенды о потопе. Хотелось бы доказать их правдивость. Однако сделать это не удавалось. Не говоря уж о всемирном потопе (для такого не хватило бы всей воды на Земле), но даже сравнительно скромные потопы, охватывающие хотя бы большую часть суши, вряд ли существовали.

Евгений не соглашался. По его мнению, просто нельзя представить, чтоб обошлось без потопов.

Плавающие по волнам айсберги вполне могли содержать обломки камней, валунов и целые глыбы, вмороженные в лед. Нечто подобное обнаруживается даже в современных озерах. Иной раз валуны пересятся льдом с одного берега озера на другой. А морским льдам под силу и не такие грузы!

Ледники могли преспокойно сползать в море и породить его из конца в конец, рассеивая по дороге валуны, налившие к их ледяным брухам.

Песчаные гряды, которые обычно считают конечными морями, очень похожи на береговые валы, оставшиеся побывавшим здесь морем. Тот же хаос, обилие каменных обломков и прочего материала, намытого или выброшенного волнами.

Не все рассуждения Евгения выглядели убедительными. А никакие толкования объяснений отторгались Евгением и вовсе не находил. И все-таки его сомнения были мне по душе.

Ледниковая теория мне уже порядком приелась, хотя я еще не успел распробовать ее как следует. Она оказалась такой прочной, самоуверенной и гордой, что так и подмигивало выступить против и сбить с нее спесь.

Через некоторое время в журнале «Знание — сила» появилась статья, озаглавленная «Великий глетчер. Конец гипотезы?». Автор пропихнул великие ледники, как капусту, истирал их в порошок, оставлял от них мокрое место. В прямом смысле мокрое место: вместо ледников утверждал то самое холодное море, которое когда-то было по душе Льюелю и Дарвину.

Написал статью геолог, долго работавший в районе Печоры. Он описывал валуновые супеси, внешне неотличимые от морены, но содержащие — в закономерных пропорциях, в союбществах — многочисленные остатки морских раковин. Палеонтологи подтверждали: раковины захоронены прижизненно. Значит, не морена? Значит, в центре оледенения было море?

Древние морские террасы ныне находятся почти на 150 метров выше современного уровня моря. Некогда там плескались волны, оставляя засечки — террасы — на склонах. Возможно, не вода стояла высоко, а суша была опущена — какая разница?

Был потоп, торжество моря. Оно вздувалось, как закипающее в кастрюле молоко. И, перелившись через край, через пикные водоразделы, хлынуло в долины. Холодные волны, на которых белыми чайками качались айсберги, торпосились па юг, туда, где ныне раскинува сухоушякой Каспий. Не тогда ли обособовались в Каспийском море тюлени и лососи, обитающие северных морей?

После такой статьи надо ожидать взрыва, решил я. Подумать только: ледниковая теория названа гипотезой! Все равно что мамонта обозвать котом.

Рассказав о статье Войнову, я услышал в ответ: — Возмутительное легкомыслие! Недопустимо печатать столь сомнительные материалы!

Вскоре в том же журнале появилась грозное письмо известного исследователя древних ледников. Он язвительно отзывался обо всех опровергателях ледниковой теории, называя их новыми геростратами.

Известный ученый был явно сильнее, авторитетнее своего противника.

В споре должен победить правый — таков закон. Но как победить? И разве дело только в том, чтобы доказать свою точку зрения, чтобы утвердить ее во что бы то ни стало?

В школе я верил, что нет ничего на свете возвышеннее и важнее правды. Научная истина — не она ли сияет над нами, подобно солнцу, равнодушно щедрая для всех? Есть ли что-нибудь более достойное восхищения и поклонения? Не она ли должна освещать путь любого ученого, любого философа, любого честного человека?

Но рядом с возвышенностью правдой слов, принципов, идей идет другая — правда сочувствия, доброты, помощи.

Правдивая мысль подчас холодна, как ясный свет луны...

Подобные размышления уводили меня в туман, казались мне лирическими и неубедительными.

Однажды Войнов рассказал мне, что ему посчастливилось быть знакомым с Владимиром Ивановичем Вернадским. Войнов произнес это имя благоговейно, никогда прежде я не замечал у него такой интонации. «Мы беседовали около двух часов. Совершенно необыкновенный человек! Истиннейший научный гений, ничуть не ниже, чем Эйнштейн или кто-либо другой. Он знал все, что может быть доступно человеку в наш век. Он открывал новые области знания и выдвигал проницательнейшие идеи, из которых многие еще ждут нашего понимания. Читайте, читайте его!»

Действительно, внимательное чтение Вернадского стало для меня подлинным университетом. Оно открыло для меня настоящую науку. Показало не только пути, пройденные научной мыслью, но и ту даль, которая открывается за ними. Только вот непостижимая эрудиция Вернадского преврела меня в уныние. Вспоминались слова Николая Ивановича: «Перестаньте фантазировать. Накапливайте факты. Хотя бы самые мелкие. Будьте кропотливы и внимательны. В этом суть науки».

Восхищение Вернадским заставляло меня не только покупать и читать его работы, но и интересоваться всем, что имеет к нему отношение. На одном научном заседании я с удивлением и грустью узнал, что еще не опубликована едва ли не треть его научного наследия. А в книгах, посвященных ему, мне то и дело попадались превосходные его высказывания — из писем, дневников, рукописей. Оказывалось, этот величайший ученый очень любил музыку, живопись, поэзию. Как будто он и не корпел над бесчисленными статьями и книгами, не просиживал долгие часы за письменным столом, а творил легко и радостно, ничуть не отстраняясь от жизни во всей ее полноте, трудности и противоречивости. Как будто наука вовсе не была для него самым важным занятием, а научная истина — самым прекрасным на свете.

В одной из книг я наткнулся на высказывание Вернадского: «Я могу увлечься ложным, обманчивым, пойти по пути, который заведет меня в дебри; но

я не могу не идти по нему... Нет ничего сильнее желания познания, силы сомнения... Не в массе приобретенных знаний заключается красота и мощь умственной деятельности, даже не в их систематичности, а в искреннем, ярком искании». И не научную истину почитал он за единственное солнце, освещающее путь ученого: «Нет ничего более ценного в мире и ничего, требующего большего бережения, уважения, как свободная человеческая личность».

Перечитывая дневник Чарлза Дарвина, я обратил внимание на то, что он затрудняется сказать, какие же необычайные способности его ума помогли ему стать знаменитым ученым. Вроде бы никаких особых умственных способностей! Он был честным, искренним, добрым, любящим познавать новое. Не это ли необходимейшая почва для расцвета идей?

Николай Иванович при каждом удобном случае твердил мне: «Дарвин говорил, что наука есть систематизация знаний». Или: «Наука — это накопление и группировка фактов». Его афоризмы, как могиальные плиты, придавали мои обильные и легкомысленные научные фантазии. «Собирайте факты и фактики. Начиная с небольших, скучных, на ваш взгляд. Обращивайте, не лезьте в дебри, не тупитесь, непременно что-то особенное откроется», — учил Войнов.

А я помнил, что уже перехожу тот возрастной рубеж, на котором Эйнштейн стал Эйнштейном, Ньютон — Ньютоном, Вернадский — Вернадским...

И тут я прочел слова Дарвина: «Наука заключается в такой группировке фактов, которая позволяет выводить на основании их общие законы или заключения». Выходит, работу над фактами великий ученый считал только началом науки. Коллекция фактов сама по себе не более ценна, чем собрание спичечных этикеток. Факты оживают, когда их произвывает общая идея.

Вооружившись увесистой цитатой Дарвина, я при первом удобном случае оттолкнул ею своего дорогого учителя. И со заорством наблюдал, как он разстерялся и впервые посетовал на свою память.

Охота за истиной!

Ученый сшибает истины влет, как ловкий охотник сбивает уток. Он гордо несет свои трофеи. Это, пожалуй, не утки, а журавли или лебеди. Княжеская добыча!

Но журавль остается журавлем только в небе или на земле. В руках охотника — комок мяса и костей, покрытый перьями.

Хорошо у Заболоцкого:

Векв иду, года уходят.
Но все живущее — не сон:
Оно живет и превосходит
Вчерашней истины закон!

У Джека Лондона есть рассказ о человеке, который вечерами поспевает балы и званые вечера в высшем обществе. А ночью скитается в городских трущобах, патиув равнине, дерется в кабаках с пьяными матросами, дружит с бродягами.

Вот и мне приходится действовать по тому же принципу. С утра отправляюсь на работу бригады, грохая в кузове автомашин тяжелые буровые инструменты. У кого-то оказывается, сломалась буровая ложка или забарахлил клапан желонки. Другому требуется подобрать трубы: его скважина вскрыла водоносные пески... Временами раздается зычный окрик начальника. Он наблюдает утреннюю суматоху города, как полководец, отправляющий армию на битву.

Если мне не надо ехать с бригадами, то день проходит в конторе, среди бумаг, отчетов, чертежей.



Иногда приходится пояснять молодым геологам гололомики нашего района. Я привык рассказывать о великих ледниках и моренах, о теплых межледниковых эпохах, о загадочных отторженцах. Даже не рассказывать, а вещать, как радиоприемник, не ожидая возражений.

А вечером я возвращался в свою комнатушку в общежитии, выплескивал из головы постылые истины, раскрывал геологические книги и отправлялся в неизданные для себя края. Бродил по материкам, легко миная горы и равнины. Погружался на дно морское, зарывался в ил. Переходил в былые тысячелетия, встречаясь с шерстистыми носорогами, мамонтами, гигантскими оленями и со своими дремучими предками.

Все это увлекало, как хороший фантастический роман.

Войнов стал доктором наук и заметно охладел к тем проблемам, о которых мы прежде беседовали часами. При встрече мы говорили примерно так:

— Николай Иванович, у меня есть несколько графиков... Геологическая деятельность людей подчиняется логичной закономерности...

— А вы представляете, — сообщал он, — я отыскал работу одного норвежца. Сто лет назад он писал об отторженцах с удивительнейшей проникательностью!

— А у меня еще есть графики эволюции биосферы...

— Да, кстати. Я построил график числа публикаций о ледниковой эпохе. Кривая резко идет вверх, по экспоненте. Но меня беспокоит другое. Прежде работы частенько были фундаментальные, насыщенные информацией. А нынче преобладают сообщения отдельных фактов...

— И ведь по таким же экспонентам развивалась жизнь, увеличивался объем мозга животных...

Но еще хуже, если речь заходила о геологии на-

шего района. Войнов очень быстро превращался в резкого, непримиримого оппонента:

— Как вы можете утверждать подобную чепуху! Нет никаких сомнений: ледник здесь выпыхал гигантскую котловину. У нас мания противоречия и желание оригинальничать во что бы то ни стало. Уважайте хотя бы мой опыт и знания...

На одном из научных собраний Войнов делал доклад. Он рассказывал о ледниковой истории нашего района убежденно и вдохновенно.

Мой доклад был последним. Все заметило устали. «Лучше бы им сейчас,— подумал я,— рассказать пару веселых анекдотов. И разойтись по домам». Поэтому говорил я недолго. Начал так:

— Район очень сложный. В этом Николай Иванович абсолютно прав. Но важно и другое. Мне кажется, мы можем совершенно уверенно утверждать только одно: ничего совершенно уверенно утверждать мы не можем.

Послышались смехи. Войнов насупился и покачал головой.

Однажды мы мчались на машине прямо в неистово пылающий закат. Николай Иванович рассуждал о моренных холмах, терпеливо опровергая мои вечные сомнения.

Облака спешили вспыхнуть в солнечном горниле, испепеляя у горизонта. И туда же стремились деревья, заламывая ветви, и бежала асфальтовая шоссе. Земля и небо, все мы, все вокруг асфальта в ослепительную пропасть, где в неистощимой глубине донышком колода сверкает солнце...

Войнов говорил и говорил, а все остальные устали на закат и молчали. Наконец я не выдержал: — Взгляните, пожалуйста, вперед.

Он мгновенно оценил зрелище:

— Да-да, прекрасно... И все-таки тут выпыхал ледник...

— Ученые,— не выдержал я,— привыкли глядеть на закаты через колючее стекло.

— Грубая, неуместная шутка!— вспыхнул он и замолчал.

Этот случай вспомнил я после своего доклада. И подумал, что Войнов никогда не подойдет ко мне и не скажет: «Мы оба жуткие спорщики. И очень упрямые люди. Ну да бог с ними, с моренами. Главное — оставаться друзьями».

Он подошел ко мне и сказал:

— Вы выступили очень неудачно. Разочаровали меня и многих других специалистов. Ничего хорошего вы так не добьетесь.

Поэт Андрей Белый утверждал, что наука есть классификация всяческого незнания. Каждое новое открытие убеждает нас в том, как мало мы знаем и как много, несравненно больше предстоит еще познать.

Понимание своего незнания, ощущение бездны неведомого, которая открывается при каждом шаге науки вперед, это бесконечное открытие мира — самое замечательное качество нашего разума.

...По солиторской земле некогда двигались ледяные потоки. Подледающие реки клокотали в них. Балуги важно дремали во льду — заморские варяжские гости. Разливались огромные озера талых вод — холодная кровь ледяных гигантов. А позже реки петляли среди тунадр, затем — среди хвойных лесов, затем — солнечных дубрав...

Теперь все это затоплено в земле слоями песков, глин, плотных морен, погребенных торфяников, отторженцев. Подземные воды фильтруются сквозь

этот слоеный пирог. И расслои, отходы калийных комбинатов распространяются прихотливо, по сложным подземным путям, угадать которые невозможно, если не представляешь себе геологическую историю района. А угадать надо, чтобы бороться с засолением. И вовсе не безразлично, нагромождены ли здесь отторженцы или слои лежат ровно.

И еще. Требуется найти месторождения строительных материалов — глин, сутанников, гравия. Где искать? На карте, составленной Войновым, там и сям изображены отторженцы глин. Поведались на них. Стали бурить скважины. Аи нет! Никаких гигантских, как предполагалось, отторженцев не встретили. Месторождения нашли в другом месте, среди отложений древних рек и озер.

Так продолжается до сих пор. Войнов давно работает в другой организации и о наших спорах вряд ли вспоминает. Тем более он беспрескособно верит в свою правоту. А для меня спор продолжается — ведь новые скважины, изыскания на новых площадках вновь и вновь возвращают меня к солиторским подземным загадкам.

Считается, что научные теории начинаются с практики. Не только из чистого любопытства стараемся мы проникнуть мыслью в жизнь природы. Нам необходимо участвовать в ее жизни, что-то переиспачивая в ней — разумно, толково, осторожно.

Вот и мой интерес к четвертичной геологии, к великим ледникам прошлого пробудился не вдруг и не от скуки, а по необходимости.

Теперь мне стало ясно: моя практическая работа инженера-геолога неприметно, исподволь вовлекала меня в омут научных проблем, большинство из которых со временем кажутся все более глубокими. И я должен быть благодарен Войнову за долгие и резкие наши споры. Кроме всего прочего, они учили меня сомневаться и искать свой путь среди множества дорог, ведущих к «научным истинам». Дорог, на которых полным полно указателей — нередко противоречивых и необоснованно повелевательных.

И вековые пульсации криосферы — ледяной оболочки планеты; и великие ледники, гигантскими амбалами ползущие по равнинам; и большие озера и реки, и наплески отторженцев на макушках холмов — множество больших и малых геологических тайн обнаружилось для меня во время обычных производственных работ на территории небольшого района Пolesья. Без науки работать будущее тускло, как в сумерках. Да и жизнь, пожалуй, будет скучнее.



**ВЛАДИМИР
КАЛИНИЧЕНКО**

В ОБЪЕКТИВЕ— МОИ ЗЕМЛЯКИ

Автор этих снимков — молодой донецкий журналист Владимир Калиниченко. Он впервые выступает у нас в жанре фотонovelлы. Его герои — люди Донбасса, наши с вами современники.

МАТЕРИНСТВО

←

О материнстве невозможно рассказать. Его нужно пережить, испытать. Это, наверное, самое великое счастье, которое даровано человеку жизнью.

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

Об этой удивительной женщине — почетном шахтере Евдокии Федоровне Королевой — рассказывают легенды. Имя ее произносят с восхищением и всегда с доброй улыбкой. И нет человека, хоть мало-мальски знакомого с Донбассом, который бы не знал ее.

О ней написаны статьи и очерки в десятках газет и журналов. Ее документы и фотографии хранятся в музеях. Известности ее может позавидовать иной государственный деятель.

И она заслужила все это: и славу, и признание потомков, и уважение современников. Пятьдесят лет она проработала на шахте. Полвена Королиха — как ее называли шахтеры — была душой и заправкой любого общественного дела.



КАМРАД ЛЕОН

В одну из декабрьских ночей 1944 года из фашистского концлагеря Эрвиль, расположенного во Франции неподалеку от бельгийской границы, бежал восемнадцатилетний узник Леонид Бевзюк. Это был четвертый побег за два года скитаний по пересыльных пунктах лагерей в Проскурове, Каменец-Подольске, каунасском форту № 9, в польском городе Седльце... Леонид перешел бельгийскую границу, и крестьяне из деревушки Жервиль, провинции Вермон, накормив «руссо», указали дорогу к маки — партизанам Сопротивления. Так украинский парень стал «камрадом Леоном» и открыл свой лицевой счет расправы с ненавистным врагом.

Прошли десятилетия... Леонид Пантелеевич перебирает маленькие пожелтевшие фотографии, улыбается.

— Это в День Победы, перед возвращением на Родину, — говорит он. — У командира интернационального партизанского отряда Анри Дюранта был фотоаппарат.

Война давно уже стала историей, которую по учебникам проходят в школе дочери Леонида Пантелеевича. Но для звеньевого горнорабочих очистного забоя, бессменного парторга передового участка шахты 17-17-бис города Донецка она была и остается неистребимой памятью сердца. Бывший боевой побратим «камрад Леон» всегда чувствует себя солдатом.





ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РАБОЧИЙ КЛАСС

На шахтном дворе пионеры с букетами полевых цветов встречали бригаду горняков, выдавших на-гора сотни тонн сверхпланового угля. Щедрое донецкое солнце тоже улыбалось шахтерам. Они собрались у входа в баню, усталые, потные, запорошенные угольной пылью с головы до ног, смущенные общим вниманием. Живая, невыдуманная картина эта была поистине величественна и прекрасна.



ТРЕТИЙ РАУНД

Третий раунд... Человек забывает усталость, преодолевает боль, страх и — идет в бой. Третий раунд рождает характер и закаляет их. Он зовет к победе, но учит и мужеству честного проигрывающего, достоинству побежденного. Гонг. Смахнув перчаткой со лба прядь мокрых волос, боксер поднялся, заученно сдвинул плечи и опустил подбородок. И в его взгляде, в напряженных мышцах свернула такая неукротимая воля к победе, что зал притих.

А мне подумалось: если в жизни этого парня наступит самая трудная минута, он непременно выдержит свой третий раунд.



Первая книга рассказов Олега Кибитова «Большые белые птицы» выпущена издательством «Большие белые птицы» и «Пара шерстяных носков». В чем их обаяние?

Часто бывает: человеку отчего-то грустно или, наоборот, светло. Он начинает разбираться — причины глубоки и серьезны. А поначалу казалось — от пустяков. В рассказе тонко передано состояние, когда все как бы

соткано из незначительных случайностей, но за ними скрывается и многое и важное. Рассказ весит на изменчивости настроений, на недоговоренности. И, может быть, самая большая его прелесть в том, что уловлена живая неопределенность мгновения, когда движение только зарождается и еще неясно, в каком направлении оно будет развиваться.

Пожалуй, главное достоинство рассказа «Пара шерстяных носков» в какой-то удивительной человечности образа главной героини, старой деревенской бабки, маленькой, слабой, деятельной, со всеми ее представлениями и фантазиями. Рассказ отличает экономность средств — результат продуманности, умения отобрать самое точное, единственное. Здесь есть детали, верно найденные, хочется любоваться их безукоризненностью. И в то же время трудно цитировать: вырванная из контекста, деталь блекнет, тускнеет: настолько органична она в живой ткани рассказа, что не только сама «считит», но и вбирает свет от соседства с другими точными штрихами.

В упомянутых рассказах наиболее явственно, мне кажется, выразился характер дарования автора: его особенности и сильные стороны. Эти рассказы и служат мерой представленного в сборнике. В прозе Кибитова радует серьезное понимание деревенского быта, простота и искренность интонаций.

Просчеты оказываются там, где писатель изменяет своей манере. Так, в рассказах «В своем доме» и «Под недрами» идея декларирована, возникает в конце, подобно басенной морали, что, как ни досадно, разом засит читательское сознание.

В рассказе «По ягуду» фальшивую ноту вносит неточность авторской позиции: безоговорочное восхищение тем персонажем, чье право на такое отношение сомнительно. Василий, один из героев, «до крайности уверенный в себе», «многого не знал, но... не признавался в этом». «Бывало ведь, не могло не быть, что и он чувствовал себя неуверенно, но никто не соглашался об этом». Автор считает, что «легко идти за таким человеком». А если бы при своем несомненном уверенности поведет слепо верящий ему неверной дорогой?

Сложный характер и острый психологический конфликт намечены в

рассказе «Туманы», но все же рассказ несколько концептивен: не хватает объемности, полноты, которые присущи лучшим произведениям Кибитова.

Со всем тем первый сборник молодого прозаика оставляет впечатление, что удачи его доброты, а неудачи — именно неудачи, то есть переходящие и преодолимые.

И. ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Татьяна Глушкова умело пользуется арсеналом современной поэтической техники, уверенно расширяет интонационные возможности стиха в версификации, полиритмических композициях, с непринужденной свободой дышит высокогорной стиховой атмосферой. Но сказать о Т. Глушковой только это — значит не сказать почти ничего. Писать в наш просвещенный век безукоризненные в формальном отношении стихи — еще невелика заслуга даже для начинающего поэта. Не задумываясь с ходу можно назвать десятки первых сборников, в которых хороший вкус, несомненно одаренного молодого автора вступают в раздражающее противоречие с обескураживающей замкнутостью, чрезмерной «взрослостью» чувства и выражения. Назойливое стремление писать стихи «как принято», как полагаются, не позволяет зачастую разглядеть за ними главное — скрытые и пленительные своей непосредственностью творческие возможности.

«Белая улица» Татьяны Глушковой (изд-во «Советский писатель») выгодно выделяется среди прежде вышедших «солидных» первых сборников как раз своей нескрываемой молодостью, юным и по-женски озорывательным задором, высвечивающим постепенно раскрывающиеся художественные возможности поэтессы. Процесс этого раскрывания, ощутимый в лучших стихах сборника, дает основание рассматривать «Белую улицу» как необходимый этап творческого роста и зрелости того, как хорошее начало будущей книги.

Татьяна Глушкова сейчас вся на подступах к жизни, в «пригороде» мира. Все для нее новое. В ее первый раз, все в волшебстве узнавания и первого именования. По этому так естественна привлекательность стиха, тяготение к славянской

мифологии, историческим сюжетам, явная, но уже иронически-лунавая дань Стівенсону и причина африканских кулирам. Но так же естественно и стремление к поэтизации мира простых вещей, простых истин. Романтическая крылатость присутствует не только в ее стихах о крестике Анне Ярославне, но и в том мире, который она дает миру:

Каждый камушек твой
описать,
каждый дворик,
замшелый, зеленый,
золотые, летящие
клены,
поющих птиц в синеве
голоса.

Не столь важно, что Т. Глушковой не хватает порой голоса, дыхания. Куда важнее то, что в минуты трагического пересмотра собственных поэтических и человеческих ценностей она не прибегает к столь спасительной для многих афрентации, бряцанию картонными кивалами, а обращается к тому, что уже неотторжимо. «А ты что смеялась, тихая Пскова?»

Татьяна Глушкова уже сейчас понимает, что «искусство — ноша на плечах», что ее путь в литературе — путь не наот, она готова оробеть, признаться:

Я так слаба. Я только
уличек. Так
сней велич, так
первопутью длиннее...

Но свежест и чистота голоса молодой поэтессы, ее стремление «видеть небо в чашечке цветка» и в каждом мимолетном движении бытия «огромные зранные события» позволяют нам верить, что вот-вот

...на скупом краю
черновика,
до черноты
израненного словом,
так снжно вспыхнет
белая строка
безумного Бориса
Годунова.

С. ЧУПРИН

Книга Евгения Коршунова «Операция «Хамелеон», выпущенная в издательстве «Молодая гвардия», по своему жанру — детектив. Притом детектив, действие которого происходит в замкнутой Африке. Вряд ли найдется человек, не мечтавший хоть раз в жизни попасть у ее саванны, побродить у Килиманджаро и водо-

пада Виктории, услышать при лунном свете звуки тамтамов и увидеть ритуальные танцы местных племен. Для того, кто попадает в Африку ненадолго, эти впечатления, наверное, и будут главными. Но для журналиста, живущего и работающего здесь несколько лет, эти впечатления будут скорее поводом к дальнейшим планам. На смену ей приходит трезвая и точная оценка обстановки, словесный анализ в современной Африке, понимание сложностей и трудностей ее развития, политического и экономического. Именно такое понимание жизни есть в книге «Операция «Хамелеон».

Действие повести Е. Коршунова происходит в вымышленной стране Гвианы, где-то в Западной Африке.

В центре повествования молодой советский африканист Петр Николаев, приезжающий в Гвиану в научно-исследовательскую экспедицию. Его творческим планам не суждено сбыться, поскольку институтские разведчики пытаются сделать его жертвой своего заговора — операции «Хамелеон», чтобы использовать в прогрессивное профсоюзное движение в стране, объяснив его успехи и силу влияния «вмешательством Москвы». Ситуация не новая, но тем не менее все еще живуча. Могут сразу сказать, что операция постыдно провалилась и помоги в этом Петру Николаеву люди разных национальностей, объединенные чувством справедливости.

Рядом с Петром Николаевым действуют авторские персонажи: разведчик Роберт Рекорд, австрийский художник Элинор, американец микробиолог Смит, английский профессор Нортон, лидеры молодежных гвинейских профсоюзов Стив и Токе. Все это характеры убедительные, написанные автором весьма впечатляюще. Профессор Нортон, например, в шутку называющий себя «старым колонизатором», отдавший всю жизнь изучению Африки, благородный исследователь, не пожелавший способствовать общему ее развитию и выступивший с разоблачением ее деятельности. Или разведчик в поисках душевного покоя и счастья Элинор, воспитанная осиротевших африканских детей. Это и добродетельный, наивнейший Смит, который даже не догадывается, как опасна его деятельность. Выяснил, что его «невинные» опыты над местным населением не что иное, как испытание бактериологического ору-

жия, Смит кончает жизнь самоубийством.

Интересно и правдиво показан автором африканец, в том числе и Токе — ультра-левого революционера на словах, а на деле продажного марionетку. Он и есть тот самый «хамелеон», с помощью которого заговора была совершена провокация.

Как ни странно, но рядом с этими реальными характерами, героями повести Петр Николаев выглядит хоть и привлекательно, но несколько натыком, уж очень часто не догадывается он о том, что происходит вокруг. Правда, это позволяет автору показать Николаева в разных неожиданных ситуациях. Автору так удобнее, но читателю иногда обидно за своего соотечественника. Хотелось бы и диалоги видеть более насыщенными, с большей художественной нагрузкой.

О. КРАСНИКОВА

Первая книга стихов Валентина Устинова, «Талан» (издательство «Молодая гвардия»), значительно по своему содержанию, лирична, овеяна романтической затопкой, главное — о ней можно говорить не как о поэтической заявке, а как о полноценной книге молодого поэта. На ее страницах живут и действуют наборы бескрайней мудрости, рыбки Печоры, изыскатели, рабочие судостроительного завода. И это не случайно, ибо сам поэт, бывший детдомовский мальчишка, затем токарь Ленинградского Балтийского завода, корреспондент газеты «Правда Севера», прошел тот же путь, что и его герои. Отсюда и достоверность описываемых событий и поэтическая взволнованность.

В книге В. Устинова есть четыре небольшие поэмы и повесть в стихах «Долина детства». Думается, что и это произведение привлечет внимание читателя. В ней рассказывается о событиях, которые произошли в одной из посаженных деревьев, о людях страстных в труде и любви, стойко выдержавших военное лихолетье и, несмотря на нечеловеческие горь, пережитые войной, оставшихся настоящими людьми. Интересна эта история еще и тем, что увидена она глазами подростка.

Отличительная черта поэзии В. Устинова — густая красочность, на-

кое-то первичное восприятие природы и порой просто слияние с ней, а отсюда — неистовая метафоричность:

Тот день был рык и
арост, как взрыв.
Палило солнце
Плавилась Печора.
Пылали геоск жаровой
проночной,
надранный ладонями
жары.
Большие рыбы
шлепались,
как птицы...

Жизненные испытания еще больше аналяют стойкий духом, поселяют в них неискаемый оптимизм, гордое сознание причастности к делам общества. Гордые люди, смелые люди — хочется говорить о них. С ними нас знакомит автор.

Талан — счастье, удача, рон, судьба, участь... Столько определений этому слову дает в своем словаре В. Даль. Мне кажется, что поэт не случайно назвал свою книгу этим емким по значению словом. Оставим в стороне мистическое «рок» и позволим себе заменить его для данного случая другим — талант жить, то есть работать. Собственно, об этом говорит и сам поэт: «Внух музика я выкоренил трудом...» Но талант жизни, как и талант в поэзии, не передается по наследству. Его надо обрести самому.

Поэтическая биография В. Устинова только начинается. Заявил он о себе убедительно, настоятельно: «...судьба земли клонится в наших судьбах, как сон в деревях и траве...»

Будем надеяться, что и в следующих книжках поэта не исчезнет это высокое ощущение ответственности перед временем.

Герман ЦВЕТКОВ

Игорь Поляков



Перекоп.
Перекоп перекопан,
За окопами снова окоп.
Перекоп —
Ошалелые кони
Рвутся с места в карьер и галоп.
Перекоп. Канонада разрывов.
За бризантным
Бризантным снаряд.
Комсомольцы тогдашних призывов,
Удивленные смертью, лежат.
Взведена боевая пружина —
Вот и я
В перекрестье судьбы.
И моя голова закружилась,
И земля поднялась на дыбы.
Но Россия рождается в пене,
В электрических проблесках дня.
Комсомолец,
Запомни мгновенье:
Будешь ты,
И не будет меня.
Будет небо здесь выше и шире,
Ощутимей влияние веков —
Сотворение нового мира
Шло во мгле перекопских боев.



В горах Крестовый перевал,
В горах, в горах, в горах.
Дорога лепится у скал,
Испытывая страх.
Петляя, суживаясь, враз
Нырять под карниз...
Пересчитайте, сколько вас,
И не смотрите вниз.
Там, в пропасти, парят орлы,
Повисли облака
Белым-белы, белым-белы,
И доля их легка.
И воздух зелен, как вода,
Соленая на вкус.
И ты, телесный, навсегда
Вдруг потеряешь груз.

А горы за тебя решат:
В горах, в горах, в горах
Ты сделаешь последний шаг
И крыльев первых взмах!

Аян Нысаналин



Перевел
с казахского
Вл. САВЕЛЬЕВ



В душе казаха двум напевам тесно...
Звени, домбра, на тысячу ладов:
Одна твоя струна — степные песни,
Другая — ритмы шумных городов.

К степи тянулись и душа и руки.
Сады под сердцем ждали ветерка.
А вот сегодня городские звуки
Переполняют душу степняка.

Во мне теснятся белые вокзалы,
Кишащим муравейником под стать.
Мой Каратау! Нежно и устало
Хочу я ювыли твои примять.

Под сердцем дышит степь полдненным жаром,
Спешит весна, просторами звеня.
Но слышу многоголосные бульвары,
Которые тоскуют без меня.

Жаворонок

Когда он спавит солнце
Песней звонкой,
То каждый луч зовет его в зенит.
И чудится: в невзрачном жаворонке
Бубенчик жизнерадостно звенит.

Зияет высота голубовато.
Опять мы друг от друга далеки,
И что-то ткут лучи, и пахнет мята,
И медленно хмелеют родники.

И, торопясь смущением залиться,
Под ветерком целуются цветы...
Готово разорваться сердце птицы
От песен небывалой чистоты.



БОРИС МОКРОУСОВ,

руководитель Группы
Центрального Комитета
ВЛКСМ по работе с науч-
ной молодежью.



КОМСОМОЛЬСКАЯ НАГРАДА

Вот уже четыре года в день рождения Коммунистического Союза молодежи, 29 октября, присуждаются премии Ленинского комсомола за работы в области науки, техники и производства. Они утверждены для поощрения лучших молодых ученых, инженеров, аспирантов, преподавателей вузов, молодых рабочих, колхозников за значительные исследования и новые технические решения, вносящие важный вклад в развитие советской науки и народного хозяйства.

Естественно стремление человека к знаниям. Производство знаний стало в настоящее время одной из наиболее могущественных отраслей человеческой деятельности. Науке принадлежит важнейшая роль в обеспечении темпов и масштабов экономического, политического и социального роста. Процесс развития науки и техники в мире принял характер подлинной научно-технической революции. Она вызвана объективными требованиями эпохи, задачами общественного производства.

В нашей стране в науке и научном обслуживании занято более 3 миллионов человек. Естественно, что здесь работает много молодых людей. Молодежь до 30 лет составляет четвертую часть всех научных работников.

Лучшие из лучших молодых научных работников отмечаются премиями Ленинского комсомола.

Чтобы решить вопрос, кому же присудить эти премии, каждый раз собирается авторитетная комиссия во главе с лауреатом Ленинской и Нобелевской премий академиком Николаем Геннадиевичем Басовым. Идет многочасовая заинтересованный разговор о научном поиске молодежи, о ее смелых идеях и разработках, о перспективах их реализации. Подводятся итоги нескольких месяцев работы экспертов—видных советских ученых и специалистов, которые детально изучали труды молодых соискателей премий, анализировали мнения о них, заключения научных

учреждений, министерств и ведомств, академиков, докторов наук. Идут споры о том, насколько перспективны работы молодых ученых и инженеров, могут ли они вылиться в научное направление, как сложится дальнейшая судьба подающих надежды молодых. Главное, не раз подчеркивал на заседаниях комиссии академик Н. Г. Басов, не ошибиться и не дать премию за слабую работу.

Порой трудно бывает членам комиссии и экспертных групп по физике, математике, химии, биологии, геологии, геофизике, техническим, общественным и другим наукам ответить на все возникающие в ходе обсуждения вопросы. Говорят, что время—лучший судья. Но ответ ведь нужно давать без задержки, пока автору не исполнилось 33 лет. Положением о премиях определено, что они присуждаются молодежи до этого возраста. Часто на премию выдвигаются работы, возраст соискателей которых близок к предельному. Сейчас выше образование молодежи получает только в 22—24 года; а затем нужно 6—7 лет, чтобы появились серьезные результаты в науке и началось внедрение законченных исследований. Какими будут масштабы реализации работ молодых, каким будет эффект для народного хозяйства? Комиссия видит только начало этого процесса. Он часто растягивается на годы.

За последние десятилетия резко расширилась география науки. В шестидесятых годах под Новосибирском был создан новый мощный научный центр, который играет большую роль в проведении фундаментальных исследований, в развитии производительных сил Сибири. Были созданы также филиалы Сибирского отделения Академии наук в Иркутске, Красноярске, Якутске, Улан-Уде, Томске. Крупные ученые, переехавшие в Сибирь, внесли серьезный вклад в дело подготовки научных кадров. В Сибирском отделении Академии наук была разработана и вот уже 10 лет осуществляется система поиска и подготовки способ-

ной молодежи, начиная со средней школы, для работы в научных учреждениях. Несколько лет назад в нашей стране началось создание и других новых научных центров — Уральского и Дальневосточного центров Академии наук СССР, Северо-Кавказского центра высшей школы, Сибирского отделения Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. В Сибирь и на Дальний Восток поехали талантливые молодые ученые из европейской части страны — их влекут новые возможности в научной деятельности: изучение морей, океанов, проливов, горячих источников, гор, вулканов, производительных сил этих необжитых территорий. Создаются также периферийные центры академий наук союзных республик. Особенно интенсивно эта работа ведется на Украине. Естественно, что комиссия по премиям всегда стремится поддержать способную молодежь, работающую на необжитых местах, в более трудных условиях.

Комиссия задалась и вопросом о том, что делает для подготовки кадров молодой соискатель премии. Обсуждается, естественно, также и научно-организационная и общественно-политическая деятельность соискателей. Ведь сегодня молодые ученые, инженеры работают в крупных коллективах, где в решении сложных комплексных проблем участвуют и лаборанты, техники, рабочие. Умение трудиться в подобных коллективах, правильно взаимодействовать с окружающими помогает активное участие в работе общественных организаций.

Все чаще для правильного присуждения премий члены комиссии, ее эксперты знакомятся на местах с работами соискателей. Это знакомство особенно полезно, когда надо определить творческий вклад каждого соискателя, понять и выделить долю каждого молодого автора в едином коллективном труде, который нередко выполняется людьми разных поколений.

В ходе обсуждений то и дело всплывают дискуссии о профессиональном росте молодых, о выдвижении наиболее способных из них на руководящую научную работу. Много говорится об опыте крупных отечественных ученых, с которыми сотрудничают эксперты и члены комиссии по премиям Ленинского комсомола. Ведь когда-то молодыми были и все крупные ученые нашей страны. Им смело поручалось решение сложнейших научных и народнохозяйственных проблем. Достаточно напомнить, что в свое время руководителем работ по всей атомной проблеме в нашей стране был назначен 39-летний И. В. Курчатов.

Вопросы, вопросы, вопросы... Их много у комиссии по премиям. Ее деятельность помогает Центральному Комитету ВЛКСМ решать многое в работе с молодыми учеными и специалистами, привлекает внимание руководителей научных учреждений, министерств и ведомств к решению задач по подготовке научной смены.

И вот, наконец, в газете «Комсомольская правда» публикуется решение Бюро ЦК ВЛКСМ о присуждении премии Ленинского комсомола за текущий год.

Непрерывно повышается уровень исследований, представленных на соискание премии Ленинского комсомола. К настоящему времени премий удостоены 107 молодых ученых, инженеров и специалистов. Каждый пятый из них — доктор наук. За существенный вклад в технический прогресс нашей страны лауреатами премии стали 66 молодых рабочих и колхозников и 9 коллективов. Среди коллективных лауреатов — Дедуровская средняя школа Оренбургской области, городские профессионально-технические училища № 22 г. Ленинграда и № 27 г. Подольска, Московской области, а также Харьковский тракторный завод. Высокой награды они удостоены за

подготовку достойной смены рабочего класса в новых условиях — в условиях научно-технической революции.

Каждый из лауреатов премии Ленинского комсомола — это не только интересная судьба, значительные достижения, но и завтрашний день нашей науки и техники, зарождение новых научных направлений и технических решений.

Расказать здесь о всех лауреатах нет возможности: размер статьи ограничен. Остановимся лишь на некоторых из них.

 Одна из премий Ленинского комсомола присуждена молодому физiku из Томска, профессору, доктору технических наук Г. А. Месяцу и его сотрудникам за работу по созданию и освоению методов новой экспериментальной техники.

На каждом этапе своего развития экспериментальная физика сталкивается с необходимостью получения мощных импульсов электрического тока и напряжения. В последние годы особое значение приобрели сверхмощные электрические разряды с токами, измеряемыми тысячами и десятками тысяч ампер при напряжениях в сотни тысяч и миллионы вольт. Такие мощности можно пока использовать только в весьма короткие промежутки времени, исчисляемые наносекундами, в течение которых электромагнитное поле распространяется только на десятки сантиметров. Большая изобретательность и конструкторское умение Г. А. Месяца и его товарищей опираются не только на чисто эмпирическую основу, но и на понимание физики происходящих процессов. Авторами изготовлен ряд установок, уже работающих в разных лабораториях страны.

Созданные группой Г. А. Месяца методы и техника позволяют рассчитывать на развитие экспериментов, которые окажут несомненное влияние на самые различные области физики. Исследования молодых ученых начали 10 лет назад. В то время разрабатываемая ими область, по существу, только начала возникать. Целеустремленной, талантливой работой Г. А. Месяцу и научному коллективу, который он создал, удалось сделать новый существенный вклад в развитие экспериментальной технической физики. Г. А. Месяц подготовил ряд кандидатов наук, руководит работой многих аспирантов, активно участвует в общественной деятельности. Он председатель Совета молодых ученых ЦК ВЛКСМ.

Другой лауреат премии — 32-летний старший научный сотрудник Московского государственного университета Л. Асланов. Он внес большой вклад в изучение строения комплексных соединений редкоземельных элементов, содержащих шести- и четырехчленные металлоциклы.

Принято отметить, что Л. Асланов наряду с большой научной ведет активную общественную и педагогическую работу. В последние годы он был секретарем многотысячной комсомольской организации Московского университета.

Еще один лауреат — 33-летний заместитель директора Института биологии моря Дальневосточного научного центра Академии наук СССР С. М. Кованов. Он разработал методы различения стада лососевых рыб, что имеет большое практическое значение для регулирования интенсивности лова и будет способствовать сохранению и развитию запасов ценных пород рыб.

Лауреат премии Ленинского комсомола М. К. Храпов — доктор филологических наук, профессор Казахского государственного университета, заведующий отделом утирования Академии наук Казахской ССР. В 25-летнем возрасте он защитил кандидат-

скую, а в 28-летнем — докторскую диссертацию. Он первый и пока единственный из представителей уйгурской национальности, удостоенный ученой степени доктора наук. М. К. Хамраев — председатель Совета молодых ученых ЦК АКСМ Казахстана. Цикл его работ по уйгуроведению состоит из нескольких серьезных исследований. Монография «Основы тюркского стихосложения», «История, теория, мастерство», «Рассвет культуры уйгурского народа» в различных аспектах раскрывают историю и теорию литературы древнего уйгурского народа; они посвящены развитию его духовной культуры в тесной взаимосвязи и взаимодействии с культурами других тюркоязычных народов Средней Азии и Казахстана, ставят и решают актуальные вопросы литературоведения.

Премий Ленинского комсомола удостоен также ряд молодых инженеров, проектировщиков, технологов.

Важным критерием работы этой категории специалистов является их помощь в применении достижений науки и техники в общественном производстве, в повышении практической эффективности научных исследований. На нынешнем этапе строительства коммунизма, в условиях, когда один из главных фронтов соревнования двух систем — социалистической и капиталистической — пролегал в области научно-технического прогресса, невиданно возросло число новых научных и технических разработок, необходимых для освоения в народном хозяйстве и вызывающих подчас революционные изменения в характере производства. Возросли, естественно, и масштабы реализации этих разработок. Включило деятельность по внедрению достижений науки и техники в народное хозяйство вовлекаются миллионы трудящихся, все общество; это требует, конечно, достаточной подготовленности всех трудящихся, молодежи.

Премия Ленинского комсомола присуждена, например, коллективу молодых специалистов киевского завода электроизмерительных приборов «Точэлектронприбор» под руководством Л. С. Ситникова. Этот коллектив награжден премией за разработки новых цифровых приборов, имеющих большое практическое применение и дающих значительный экономический эффект. От радиоэлектронной аппаратуры сейчас требуется всемерное улучшение таких технико-экономических показателей, как надежность, габаритность, вес, стоимость, потребляемая мощность. Здесь наряду с применением передовой технологии необходимо использовать многоустойчивые элементы с введением в их схему цепи самонастройки. Метод, предложенный киевлянами, позволил резко повысить надежность схемы и разработать многоустойчивые элементы, пригодные для промышленного изготовления и применения в серийно выпускаемых цифровых приборах.

Эти приборы демонстрировались на международных выставках в ФРГ, Франции, Японии и привлекали широкое внимание зарубежных фирм.

Кандидату технических наук Л. К. Поляковскому присуждена премия за внедрение метода определения износа двигателей в условиях эксплуатации судов. При современных темпах развития техники особое значение имеет выбор лучших типов материалов и конструкций, смазывающих сред и режимов работы frictionных сопряжений, обеспечивающих увеличение долговечности машин и механизмов. Как правило, подобная работа ведется в лабораториях, при стендовых испытаниях. Однако важно получать такого рода информацию в ходе работы двигателя без его остановки и разборки. Эту важную научно-техническую проблему Л. К. Поляковский сумел решить с помощью изотопов.

Научно-технический прогресс ведет к значительному росту доли квалифицированных рабочих в производстве. Появляются новые профессии, не существовавшие ранее. Все больше требуются рабочие, имеющие специальное техническое образование и высокий уровень общей культуры. Сходство рабочего с инженером, с техником постепенно очертывается. Эти процессы захватывают в первую очередь молодых. Естественно, что молодежь, комсомольские организации ищут формы эффективного участия в научно-техническом прогрессе. Таких форм много.

Заслуживают самых добрых слов отряды технического творчества молодежи. Они появились впервые несколько лет назад на Московском автомобильном заводе имени Лихачева. Их цель — содействовать ускорению темпов научно-технического прогресса. Отряды технического творчества, созданные на этом предприятии, комплексные творческие бригады активно участвуют в реконструкции автомобильного гиганта, во внедрении передовой технологии и новой техники. Молодежь помогает проектировать ряд цехов, создавать большегрузный автомобиль, который будет производиться на новом Камском автомобильном заводе.

Экзаменом творческой зрелости молодых автозаводцев являются Всесоюзные смотры технического творчества. В 1970 году на таком смотре 16 молодых специалистов завода за свои работы награждены медалями ВДНХ. Золотую медаль получил Борис Перегудин, руководитель конструкторской группы. Созданная им автоматическая линия для контактной электросварки внешнего шкафа домашнего холодильника, выпускаемого заводом, позволяет резко повысить производительность и улучшить условия труда. Двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями был награжден коллектив рабочих и инженеров за разработку конструкции кузова легкового автомобиля высшего класса «ЗИЛ-117».

Молодые рабочие, инженеры и техники, участвуя в техническом перевооружении завода, создают и внедряют новую высокопроизводительную технику на базе последних научно-технических достижений. Только за первое полугодие этого года отряды технического творчества, комплексные творческие бригады и молодые рационализаторы дали заводу экономический эффект в 364 тысячи рублей.

Молодые рабочие и инженеры автозавода В. Абашия, Б. Баранов, В. Давыдов, И. Керцелия, А. Кырьянов, Е. Попов, Н. Чекурин стали лауреатами премии Ленинского комсомола.

Опыт отрядов технического творчества молодежи этого завода получил широкое распространение в нашей стране.

Мне хочется особо рассказать о научных обществах студентов и школьников.

Научно-исследовательская работа студентов способствует, пожалуй, всю историю вышших учебных заведений. Но организованная в систему и привлекающая практически всех студентов, независимо от того, кем они станут, — такая практика в вузах начинается лишь сегодня. Научно-техническая революция диктует новые требования к будущему специалисту в любой области деятельности. Современный специалист должен обладать и высокими гражданскими качествами, и умением применять каждый раз все новые и новые достижения науки и техники (а они не знают пределов в своем развитии), и быть все в большей мере творческим работником. Воспитание такого специалиста из студента обеспечивает

сы организационной серьезной научно-исследовательской работы в ходе учебного процесса.

В Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана научно-техническое общество студентов было создано в 1943 году. История исследовательской работы студентов в этом вузе начинается раньше. В 1909 году в МВТУ профессор Н. Е. Жуковский создал первый в России студенческий научный воздухоплавательный кружок. Членами его были тогда еще никому не известные, а впоследствии крупные специалисты — академики, заслуженные деятели отечественной авиации А. Н. Туполев, А. А. Микулин, А. А. Архангельский, В. П. Ветчинкин, Б. Н. Юрьев, Б. С. Стечкин, Б. Н. Россинский, А. М. Черемухин и другие.

Кто не знает сейчас прославленных на весь мир «ТУ»? А когда-то создателе турбореактивных лайнеров студент Андрей Туполев первым в России совершила перелет через Москву-реку на планере, построенном в студенческом кружке. Имя конструктора ракетно-космических кораблей академика Сергея Павловича Королева знакомо всему миру. Студент-вечерник МВТУ Сергей Королев в 1929 году начал работу в студенческом кружке, силами которого был осуществлен ряд проектов летательных аппаратов.

Характерные цифры роста числа членов студенческого общества МВТУ: 1944 год — 40 членов; 1947 год — 120; 1948 год — 280; 1950 год — 600; 1955 год — 1110. В настоящее время к различным формам научно-исследовательской работы привлечено 3,5 тысячи студентов. Всего школу Научно-технического общества (ему присвоено почетное имя Н. Е. Жуковского) прошло более 20 тысяч выпускников училища.

Научная работа в МВТУ стала неотъемлемой частью всего учебно-воспитательного процесса. Студенты работают в научных кружках, конструкторских, технологических бюро, поисковых группах, лабораториях. Одно перечисление работ, выполненных в последние годы студентами, говорит о большом размахе исследований, о том, что они представляют собою весомый вклад в дело научно-технического прогресса страны. Это и проектирование облегченной конструкции нефтяной вышки на воздушной подушке, и создание машин высокой проходимости, применяемых в условиях Заполярья, и разработка и отладка аппаратуры искусственного кровообращения, аппаратуры для геофизической разведки нефтяных залежей, сварочных автоматов для сварки труб, приборов для медико-биологических исследований спортсменов, и проектирование, изготовление и наладка аппаратуры для учебного процесса, и многое, многое другое. За свои работы студенты получили в 1970 году 30 медалей БДНХ.

За большой вклад в развитие научно-исследовательской работы, в дело подготовки высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства Научно-техническому обществу студентов МВТУ присуждена премия Ленинского комсомола.

Чем раньше человек приобщился к научно-техническому творчеству, тем активнее он в уже зрелом возрасте приобщается к решению проблем науки, техники, современного производства. Жизнь авиаконструктора А. С. Яковлева, начавшего свой путь в кружке авиамоделизма, яркое тому доказательство.

В нашей стране имеются прекрасные возможности вовлечь в научно-техническое творчество буквально всю школьную молодежь. Здесь важную роль могут сыграть городские и районные научные общества учащихся.

Несколько лет назад в Челябинске усилиями двух коллективов — Челябинского педагогического инсти-

тута и Дворца пионеров и школьников имени Н. К. Крупской — было организовано городское научное общество учащихся. Общество вовлекает школьников старших классов во внеурочное время в научно-исследовательскую деятельность. За семь учебных лет, имея более ста научных руководителей, школьники выполнили 488 научно-исследовательских работ и технических разработок, причем лучшие из них опубликованы в сборниках «Юный исследователь», в журнале «Химия в школе» и других изданиях. В прошлом учебном году общество объединило 1600 школьников.

Стало традицией собирать активистов общества летом на родине И. В. Курчатова — в городе Сим, Челябинской области. Перед школьниками выступают ученые из Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, ученые Челябинска. А потом диспуты, конференции, состязания на смекалку и остроумие, спортивные встречи и, конечно, туристские походы, в которых вместе с юными курчатовцами участвуют их старшие товарищи — ученые.

За большую и плодотворную деятельность, привлекающую учащихся к научно-техническому творчеству, педагогическому институту и городскому Дворцу пионеров и школьников присуждена премия Ленинского комсомола. Научно-технические общества учащихся получили распространение во многих областях Российской Федерации, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Грузии.

Новые задачи, выдвинутые Коммунистической партией на XXIV съезде, принятый Верховным Советом СССР девятый пятилетний план открывают перед советской молодежью широкое поле для творческой деятельности. Наука, ставшая важной производственной силой современности, становится для нашей молодежи сферой высокой романтики, увлеченных поисков. Она позволяет каждому молодому ученому, инженеру, технику, рабочему, колхознику, каждому студенту и школьнику проявить и всесторонне развивать свои силы и дарования. На этом поприще формируются прекраснейшие качества молодых строителей коммунизма — преданность партии и Родине, одержимость в труде, высокий интеллектуальный и культурный уровень, умение поставить достижения науки и техники на службу народу.

И мне думается, что сплав таких качеств в характере молодых — неперемное условие победы социализма как на научно-техническом, так и на других фронтах соревнования с капитализмом.

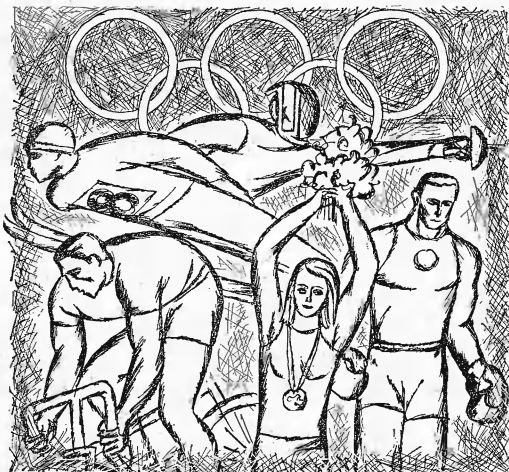


ТАТЬЯНА
МАРЕНКОВА

ЧУДО ПО-ОЛИМ- ПИЙСКИ

И вновь олимпийский год. Год Саппоро и Мюнхена. Наши лучшие спортсмены вновь примеривают олимпийскую форму.

И в Саппоро и в Мюнхен поедут и совсем молодые спортсмены, которым будет впервые доверена высокая честь представлять нашу страну на Олимпийских играх. И мы верим, что дебютанты будут достойно отстаивать честь советского спорта, беря пример с наших прославленных чемпионов и рекордсменов. Такова традиция, о которой и рассказывает двадцатилетняя студентка-журналистка Татьяна Маренкова.



*XVI летние
Олимпийские игры,
Мельбурн, 1956 год.*

Владимир Сафронов попал на Олимпийские игры случайно. Получил травму Александр Засухин (сломал палец как раз во время боя с ним), и руководителям команды ничего не оставалось, как послать его, перво-разрядника, в Мельбурн. «Попалась в десятку», — говорили Сафронову, — можешь считать задачу выполненной».

Как передать его состояние, когда он приехал в Мельбурн? Ну, представьте Золушку, попавшую на бал в сказочный дворец, в котором полным-полно королей, уверенных в своем всемогуществе.

Два первых боя — у итальянца и француза — Сафронов выигрывает сравнительно легко. Чего не случается на Олимпийских играх? Но когда Сафронов выиграл в суровом бою у одного из лучших боксеров Европы — поляка Недзведского, о нем заговорили всерьез. Да, несомненно, старт новичок принял великолепно, но каким-то будет финиш?

В финале Сафронову предстоял бой с чемпионом Европы англичанином Томми Никольсом, кото-

рый только что победил чемпиона прошлой Олимпиады — финна Хамалайнена. Чтобы вручать Никольсу «золото», в Мельбурн специально приехал мэр Лондона.

Завтра бой. А сегодня надо отдышаться. И Володя идет в Национальный музей — ведь он художник. Но во всех залах и на всех картинах он видит лишь... Никольса.

Он выбегает из музея, идет в кино. Тривиальный американский боевик. Но что за наваждение! Сафронову кажется, что герой фильма, которому улыбается фёртуна, который побеждает и нравится женщинам, это... Никольс.

Никольс, Никольс, Никольс... Он преследует Сафронова повсюду.

Ночью он долго не мог уснуть. Спасибо, пришел врач команды Всеволод Сергеев и успокоил немного.

Утром Володя встал на весы. Ну прекрасно, вес его не подал.

Он потренировался немного, потом пошел погулять — сделал несколько зарисовок готических храмов Мельбурна, строгая готика этих храмов успокаивала его.

Рисунок олимпийского чемпиона Владимира Сафронова.

А время главного боя приближалось.

«Я заметил, что Николас всячески избегает ближнего боя, и решил воспользоваться этим», — вспоминает Сафронов.

В первом раунде Николас не получил преимуществ и после перерыва сразу бросился в атаку. Но серий неожиданных атак Сафронов обезвреживает правостороннюю стойку Николаса и вдруг наносит удар в подбородок. Николас, великий Николас на колени! В последнем раунде Сафронов шел на Николаса, как танк. Уже прозвучал гонг, но они не слышали его, дрались и дрались, пока их не развел судья.

— Ну, как дела? — спрашивает Волада у своего тренера Сергея Щербакова.

— Вроде ничего, — отвечает Щербаков.

Он шел на пьедестал и еще не верил до конца, что этот пьедестал — олимпийский. А вокруг все говорили: «Фантастично! Необыкновенно!».

Медаль олимпийского чемпиона ему вручал не кто иной, как мэр Лондона, который, как и полагаются, улыбался при этом, но уж слишком старательно.

«Знаете, о чем я больше всего жалею?» — говорит мне сейчас Сафронов. — О том, что не нарисовал тогда Николаса. Он все-таки великий спортсмен».

*XVII летние
Олимпийские игры,
Рим, 1960 год.*

1

В Риме стояла почти африканская жара. Кажется, что подумались даже белые шапочки велосипедистов. Мучительно трудно дышать. На трассе ни малейшего намека на тень. Время от времени асфальт поливают водой, которая, впрочем, мгновенно высыхает. Намарку пошла акклиматизация в Сочи, в погодных условиях, приближенных к римским: в командной гонке вышел из строя Петров. Участвовать в личной гонке предстояло лишь четверем советским спортсменам: Сайджужуну, Мелехову, Капитонову и Клевову. Фаворитами считались гонщики Англии, Бельгии, Италии. Наши гонщики на шоссе высоких результатов на Олимпийских играх прежде не добивались.

Старт! А финиш через четыре часа, через 175 километров 380 метров.

«Кручу педали, а перед глазами Волга. Холодная, чистая. И еще тележка с мороженым». — вспоминает Виктор Капитонов. На 130-м километре Виктор решил применить свой коронный прием. Он делает отчаянный рывок на этом горном участке трассы — ведь он велосипедист-«скалолаз». (Есть еще велосипедисты-«темповики», велосипедисты-«коленники», велосипедисты-«финишеры».) Но никто за Капитоновым не погнался. Слишком рискованным был этот атакующий план! Целых восемь километров Виктор шел один. Потом он увидел, что к нему приближается спортсмен в голубой майке — итальянец, и обрадовался: вдвоем идти легче.

Капитонов и Трапе идут теперь действительно рядом, по очереди лидируя. Остальная группа гонщиков отстает в среднем на две минуты.

А многие журналисты уже спешат сообщить о победе... Ливно Трапе. Да, именно Ливно Трапе, потому что все ставки теперь делаются лишь на него. Кто такой Капитонов по сравнению со знаменитым Трапе? Капитонов не был новичком в спорте. Но, посудите сами, разве может высоко котироваться на Олимпийских играх гонщик, который к двадцати семи годам не сделал мирового имени.

К тому же, когда остается всего один круг, происходит нечто трагическое. Капитонов вдруг перестает крутить педали, победно поднимая руки. «Было очень много итальянских болельщиков, и они почти закрыли щит, на котором показывали цифру, обозначающую количество оставшихся кругов», — вспоминает он.

— Крут! Крут! Еще крут! — слышит Капитонов. А это значит, что еще 14 километров!

И снова бой: Капитонов — Трапе, Капитонов — Трапе — жара.

На последней пятистотке Виктор оглянулся через правое плечо, а слева его в этот момент обошел Трапе. Прием для итальянца рискованный, — он отнюдь не великодушный финишер. Последние 100 метров Капитонов и Трапе идут рядом, руль в руль. Но все-таки на полколеса раньше финиширует Капитонов. Остальные советские гонщики финишировали в общей группе, сдерживая натиск других соперников.

Капитонова поднимают на руки и несут по шоссе. По тому самому шоссе, где нет ни малейшего намека на тень, по асфальту, время от времени поливаемому водой, которая мгновенно высы-

хает, а он в который раз спрашивает: «Братцы, неужели выиграл?».

Спустя час известный французский журналист скажет: «С победой Капитонова Россия входит через парадную дверь в большой международный велоспорт».

2

В 1958 году, став рекордсменкой страны, Европы и, повторив рекорд мира в беге на 100 метров (11,3), Вера Крепкина, как ни странно, фактически завершила этим свою карьеру спринтера. Вскоре стало ясно, что бегать она «устала».

К Олимпийским играм 1960 года рекордсменка мира окончательно потеряла форму. И все-таки Вера Крепкина поехала в Рим, но как прыгунья в длину.

Но даже как прыгунья на предолимпийских соревнованиях Крепкина была в стране лишь второй. Кандидатуру Крепкиной отстоял на свой страх и риск старший тренер сборной страны по легкой атлетике Гавриил Коробков.

Коробков полагал, что спринтерская подготовка Крепкиной для прыжков в длину идеальна. И шаг у нее стабильный, и характер что надо. Из тридцати разбегов Крепкина тридцать раз могла попасть в планку — миллиметр в миллиметр.

Коробков уже доверял Крепкиной выступать в прыжках в длину в матче СССР—США в Филадельфии. Крепкина была в Филадельфии первой, но результат ее был невысоким. Так что эта победа не увеличивала ее шансы на поездку в Рим.

Но Коробков вновь принялся доказывать, что другой такой стабильной прыгуньи в стране нет. На тренировках она регулярно прыгала на 6,10–6,15. Конечно, прыжка на 6,60 ожидать от Крепкиной не приходилось, но, по мнению Коробкова, такой прыжок в Риме и не требовался. Коробков глубоко убежден, что на Олимпийских играх чаще всего побеждает тот, кто умеет показывать высокий средний результат.

Вера Крепкина, для которой уже сама поездка в Рим была как чудо, показала результат выше среднего: она прыгнула на «Форо Италико» на 6 метров 37 сантиметров. Так далеко не смогла прыгнуть ни одна из таких ее знаменитых соперниц, как Квешенитас, Клаус, Бигзэл, в единоборстве которых, по всеобщему мнению, должна была решиться судьба золотой медали.

Золотая медаль Веры Крепки-

ной была первым «золотом» наших легкоатлетов в Риме.

В нее верил лишь один человек, который скажет позже: «Вся криптивская биография Веры Крепиковой подготовила ее к победе в прыжках в длину в Риме». Но ей было достаточно этой веры Гавриила Коробкова.

XVIII летние
Олимпийские игры,
Токио, 1964 год.

Над ним не властен гипноз победы, избежать которого очень трудно, когда чужая весов скопится на твою сторону, и ты уже слышишь внутри себя мелодию торжества, и глаза твои заволакивают призраком медали, и ноги подкашиваются от мысли, что дело сделано и беда лишь побойстрей докончить бой... В этот момент тебе важен уже не поединок, а результат. И как раз в этот момент ты и проигрываешь.

Такова судьба сильных бойцов, которые не становятся чемпионами мира, пропуская последний и решающий укол в перебой. А зрители недоумевают: что же изменило точные и собранные движения этого бойца? Его тренер, чувствуя неизбежность собственных слов, все же скажет: «Он просто устал. Что остается сказать тренеру!»

Нет, он нисколько не устал. Призрак победы учтетверил шпагу в руках соперника. Теперь против тебя двое: твой соперник и еще кто-то, более сильный.

Против Григория Кривса всегда был лишь один противник, и этим Кривс удивителен. Его волнует только одно — самый процесс боя. Он не боен, он игрок. В том смысле, что для бойца наиболее интересное — результат, победа, для Кривса же — сама схватка. Это поразительное качество было отмечено публично В. А. Аркадьевым — самым опытным из фехтовальных тренеров страны. Впервые увидев течение поединка молодого шпажиста, Виталий Андреевич воскликнул: «Психология!»

Да, в сущности Кривс — фанатик процесса боя. Именно на это и делалась ставка, когда молодому шпажисту было доверено защищать честь нашей страны на Олимпийских играх.

Токио. В финал личного турнира шпажистов впервые в истории Олимпийских игр вышли два наших фехтовальщика: опытный Костев и Кривс. Они и встретились между собой в первом бою, и Кривс уступил Костеву, но в дальнейшем фехтовал очень удачно и

наряду с экс-чемпионом мира английским Уильямом Хоскинсом набрал наибольшее количество побед.

Судьбу олимпийского «золота» должен был решить их перебой. Хоскинс — полная противоположность Кривсу. Он в бою расчетлив и рационален, он из тех бойцов, которые умеют добывать победу. И все же не Кривс, дебютант Олимпиады, боялся Хоскинса, а, напротив, экс-чемпион мира был не рад такому сопернику. Их первый поединок в финале закончился с редким счетом 9:8. Победа Кривс.

И вот снова на дорожке появляется сдержанный и уравновешенный — ну, прямо Соме Форсайт — Хоскинс, а Кривс выбегает чуть ли не вприпрыжку. Кривсу интересно было еще раз встретиться с Хоскинсом. А Хоскинсу надо было во что бы то ни стало победить и только победить.

Но победа Кривс. Он выиграл и этот бой и олимпийское «золото» прежде всего чисто психологически.

X зимние
Олимпийские игры,
Гренобль, 1968 год.

Не пройдет и месяца после выхода январского номера «Юности», как станут известны имена победителей XI зимних Олимпийских игр в Саппоро.

По традиции зимнюю Олимпиаду и на этот раз завершат прыгуны на лыжах с трамплина. И мы надеемся, что эта золотая медаль Саппоро будет нашей! За победу на трамплине будут бороться двукратный чемпион мира Гайри Напалков, олимпийский чемпион Владимир Белоусов и другие представители уже знаменитой советской школы прыжков с трамплина.

Началось все с сенсационной победы Владимира Белоусова в Гренобле. Тогда наши прыгуны на мировых трамплинах не котировались. Тогда славился норвежец Виркола, чех Рашка...

Владимир Белоусов приехал в Гренобль, не будучи даже чемпионом страны. Ему фатально не везло, да, впрочем, и сейчас не везет на чемпионатах страны.

В предолимпийском 1967 году он был в стране... пятнадцатим. И его тренер Аркадий Воробьев еле добился, чтобы Белоусова взяли десятим номером в сборную страны.

Но начался сезон 1968 года, и Владимир выигрывает предолимпийские турниры в Кировске, в

Горьком, а в январе, впервые участвуя в зарубежном турне, побеждает Рашку. Но это можно было посчитать и случайностью.

Так или иначе, но в последний день на большом трамплине горной станции Сен-Низье под Греноблем он не считался фаворитом. Прыгуны уже разыграли одно «золото» на малом трамплине в Отриве, и Белоусов был там восьмым.

Но он захватил лидерство уже после первого прыжка на большом трамплине. Присел на пенек около старта, грелся на солнышке, слушал пение птиц и думал о том, что главное сейчас продержаться, не упасть во второй попытке.

До крайности импульсивный, Белоусов часто сочетает рекордные прыжки с падением, да и вообще он лучше всего прыгает первый раз. Кажется, на этот раз ему удалось собраться перед второй попыткой, но, выйдя на старт, он внезапно ощутил, что свитер давит шею. Тогда он натянул свитер на подбородок.

Волода летел со скоростью ста километров, летел молча (многие прыгуны кричат в прыжке, но Белоусов — никогда), отлично и далеко приземлился и только тут, сбросив лыжи, позволил себе покричать в полное удовольствие, покатыться по снегу.

Вы думаете, он долго был потрясен своей удивительной победой? Как бы не так. Он очень быстро вошел в роль олимпийского чемпиона. Вскоре, победив в Холменколлене знаменитого Вирколу, Волода не позволял норвежцу покровительственно обнять себя, когда их стали снимать фотокорреспонденты. Белоусов сказал Вирколе: «Извини, пожалуйста», — и сам обнял его.

Я училась тогда в пятом классе. Мы с подружкой сбежали с уроков и пошли в кино. Нам было почти безразлично, что смотреть. В «Прогрессе» шел «Штрафной удар». И мы пошли в «Прогресс». Мне очень нравилась Алешинистка в роли спортивной журналистки, и я сказала после фильма: — Ирка, я буду спортивной журналисткой!

Девочки из нашего класса хотели стать артистками, врачами, учителями. А вот журналисткой никто не хотел стать. Кем угодно — только не журналисткой, да еще спортивной! Мне нравилось, что я так непохожа на всех.

И с тех пор я слежу за всеми междуваровыми и союзными со-

ревнованиями, насколько это в моих силах.

В 9-м классе мы писали сочинение на тему «Таланты хорошие и разные». Я выбрала своими героями Эммериха Данцера и Вольфганга Шварца. Писала, захлебываясь, и получала... четверку.

Теперь я, конечно, понимаю, что покровило преподавательницу литературы. Мои одноклассники писали о Чайковском и Штраусе, о Пушкине и Лермонтове — о каких угодно талантливых людях, но только не о спортсменах.

В десятом классе я написала свой первый материал, к стати, тоже о фигуристах, и отослала его в «Известия». Я, честно говоря, и не надеялась, что кто-то его прочтет. Я уже видела эти три страницы лежащими в корзине для мусора и недоумевающее лицо строгого редактора. Каково же было мое удивление, когда я получила приглашение зайти. Для меня, 17-летней девочки, это было тогда, как приглашение сниматься в главной роли в кино.

А редактор оказался совсем не суровым. Это был Борис Федосов — известный спортивный обозреватель. Он похвалил меня и поругал, а главное, дал много дельных советов. И сейчас, когда у меня что-то не ладится, я спешу к Федосову.

Итак, мой первый олимпийский год — 1968-й — для меня был счастливым годом. И как мне с тех пор не верить, что чудо особенно возможно в олимпийский год!

Я болею за молодых, никому не известных спортсменов. Мне очень хочется, чтобы побеждал спортсмен, впервые попавший в сборную, который не думает и не мечтает, что вот уже завтра в газете будет напечатан его портрет.

И бывало ведь так, что чемпионами Олимпийских игр как раз становились или дебютанты, или спортсмены, на которых никто особых надежд не возлагал. Именно о таких спортсменах я и рассказывала выше.

Мне не довелось присутствовать при их успехах. Они чемпионы не моего поколения.

Но опять наступила олимпийский год! И опять я жду чуда! Я жду своего чемпиона, у которого именно я, уже как спортивная журналистка, буду брать одно из первых интервью.

Кстати, а не одно ли из чудес, что мой дебют на страницах «Юности» происходит в олимпийском, 1972 году?



ДОБРЫЙ ГАЙ, АГРЕССИВНАЯ БОММИ И ДРУГИЕ



люблю собак. Люблю за то, что они умные, за то, что в большинстве своем они добрые, и, наконец, за то, что они просто собаки. Но почему-то мне всегда попадались кошки. У меня были две кошки. Одна сбежала ранней весной, другая — просто летом.

Как же так случилось, что у меня никогда не было собаки? Подобным размышлениям я как раз предавалась в тот день, когда в «Юности» мне предложили попробовать себя в качестве репортера. И я решил, что попробую написать о ребятах из клуба юных собаководов при Дворце пионеров

на Ленинских горах. Я давно знал о существовании этого клуба, но не решался пойти туда: собаки-то у меня не было.

Теперь повод появился, и уже на следующий день, созвонившись с руководителем клуба Любовью Соломоновной Шерешевской, я сел в поезд метро, идущий в сторону Ленинских гор.

В тот день в клубе была намечена генеральная репетиция выступления на большом пионерском празднике. Около огороженной площадки, откуда доносился разноголосый лай, я увидел женщину в красном плаще и с мегафоном на ремне и догадался, что именно это и есть руководительница клуба. Щелкнув несколько раз своим старым ФЭДом, я осмелился наконец приблизиться к выходу с площадки, где стояла женщина в красном. Я чувствовал, что вот-вот начну заикаться. Но, как ни странно, все обошлось благополучно. Я представился Любови Соломоновне, и она предложила мне пока что пройти на трибуны: оттуда удобнее наблюдать за репетицией.

Я сидел на скамье затаив дыхание. Еще бы, в первый раз видеть работу настоящих служебных собак, которые бегают, брали барьеры.

Одним словом, все это было настолько интересно, что я даже не заметил, как замерз, но тут ко мне подошла руководительница.

— Знакомьтесь, это председатель нашего клубного совета Сережа Курбатов, — сказала она.

Рядом с ней стоял парнишка пониже меня ростом, примерно одного лет со мной. Я встал.



На снимке сверху —
Сережа Курбатов
со своим Гаем.

Фото С. Васина.

— А это корреспондент из «Юности».

Меня пробрала дрожь: я так и не успела сказать руководителю клуба, что и всего лишь десятиклассник. Мы сели на лавочку. Сережа, кажется, принимал меня за матерого газетчика. Мне немного стыдно это, хотя, конечно, хотелось поговорить с ним просто, как парню с парнем. Я решила, что надо признаться Сереже, и тогда мы сойдемся с ним ближе. От этой мысли я немного повеселела. А Сережа рассказывал мне о клубе. Оказывается, он был создан еще в 1963 году, и с первого дня им руководит Шерешовская, без нее не обходится ни одно занятие, она организует все поездки и выступления.

Сережа спешил, и я не стал его больше задерживать.

Как раз в это время руководительница клуба сделала знак, чтобы я подошла ближе. Я перешагнул через низенькую металлическую ограду — мне представлялась редкая возможность постоять рядом с собаками при исполнении команды «Апорт». Тот, кому не довелось быть рядом с собаками при исполнении этой команды, не поймет меня. Скажу лишь, что вокруг мельтешили огромные псы и хватили ошейники и поводки, предвительно брошенные хозяевами.

...В воскресенье утром светило солнце, небо искрилось прозрачной голубизной, и я в прекрасном настроении прибыл на Ленинские горы на праздник пионеров.

По гаревой дорожке медленно продвигались отряды пионеров. На другой стороне стадиона уже виднелись желтые рубашки собаководов.

Конечно, я уже вроде бы видел все на репетиции, но на празднике было показано и нечто новое: задержание нарушителя границы.

Через поле стадиона проведена условная граница. К ней подбирается «нарушитель», одетый в специальный ватный халат. Трибуны заморают. Раздается короткая команда, и собаки бросаются вперед, на «врага». Тот пытается бежать, но они валят его на землю.

И вот уже двое в желтых рубашках докладывают переднему в пограничную форму инструктору Володе Филиппову о выполнении задания.

Любопытную историю я узнал. Занимается в клубе Лариса Бынькова. Она уже старый член клуба, чуть ли не с первого дня его основания. У нее собака Бомби. Лариса вырастила Бомби и передала ее на границу. Собака эта, на-

до сказать, весьма агрессивного нрава. Солдаты, которым было поручено выдрессировать ее, не могли даже приблизиться к ней. И в конце концов было решено ее выработать. И тогда ребята из клуба поехали в часть и забрали Бомби обратно. И собака, с которой не могли справиться пограничники, по-прежнему дрессируется Ларисой. Правда, характер Бомби не изменился. Она признает только Ларису и Любовь Соломоновну. Если ребята едут куда-нибудь в автобусе и Бомби научается вспрыгивать на диванчик и устроиться там, то никто не смеет ее прогнать — ни люди, ни собаки.

Клуб поддерживает постоянную связь с воинскими частями. Каждое лето ребята отправляются вместе с собаками к своим друзьям-пограничникам, занимающимся с ними военной подготовкой, применяя на практике знания, полученные в клубе. Когда кого-нибудь из членов клуба призывают в армию, он обязательно старается понасть в свою подшефную часть.

А для того, чтобы записаться в клуб, совсем не обязательно, оказывается, иметь собаку. Ее можно приобрести при помощи клуба или же получить щенка на воспитание, чтобы потом передать его в подшефные воинские части.

Работой клуба управляют сами ребята. Всего в клубе двенадцать групп, примерно по двадцать человек каждая. Раз в месяц проводятся клубные дни, на которых обсуждается работа, происходят встречи с ветеранами войны и войны подшефных частей, вручаются награды, и тут же ребята разбирают и оценивают проступки своих товарищей, если таковые случаются. Члены клуба выезжают на выступления.

Ну, а если родители не разделяют твоего увлечения собаками, можешь, не заводя собственную собаку, вести в клубе тимуровскую работу. Есть инвалиды войны или пенсионеры, которые не могут сами заниматься со своими собаками, дрессировать их. Тогда-то на помощь и приходят клубные собаководы. Ребята водят подшефных собак на занятия, ухаживают за ними.

Обо всем этом мне рассказали Любовь Соломоновна и Сережа. Любовь Соломоновна также рассказывала мне, что она любит собак с детства. В годы войны она выросла и передала на фронт шесть овчарок. Для членов клуба она авторитет не только по части знания собак. Кто-то влюбляется, у кого-то конфликт с родителями

мил... И здесь высший авторитет — руководительница клуба. Как она мне сказала, своей задачей она считает воспитать у ребят человечность, честность, порядочность.

Я надеялся разговаривать не только с Сережей, но и с другими ребятами, но как-то не получилось. И ни с одной девочкой не познакомился: поостерегся «ков-фамиков» физического порядка с ребятами клуба.

А к Сереже Курбатову я ходил и домой. Мы сидели за столом и тихо разговаривали.

— Откуда у тебя Гай? — спрашивал я.

— Родители принесли. Я когда маленьким был, зачитывался рассказами про собак. Вот и упростила родителей купить Гая.

— Ты сам пришел в клуб? — Нет, у меня был знакомый, который уже держал собаку и был связан с клубом. Это он посоветовал мне пойти туда с Гаем. А сначала я сам занимался с Гаем, он легко дрессируется. Он ведь очень добрый и умный!

— Послушай, — вдруг сообразил я. — А как же вы собак в клуб возите? Ведь ни в метро, ни даже в автобус с собаками не пускают.

Сережа улыбнулся:

— Правильно, только у нас есть своя система. Ходят в метро человек пять с одной собакой. Несколько человек отвлекают контролера, а один с собакой проходит через турникет. Однажды контролера что-то заподозрила, но я тогда не догадалась, что провожу собаку. Успела только крикнуть: «Эй, с чемоданом, заплатите за багаж!» — но ребята уже и след простыл. А в троллейбус, например, мы с Гаем впрыгиваем, когда водитель уже собирается тронуться и не смотрит на задние двери через зеркала...

Д. ВОЛОДИН

СВАДЕБНЫЙ ПРЫЖОК ПИРАМИДКОЙ

В то утро на аэродроме, где тренируется парашютное звено чернышского авиаспортивного клуба, шли обычные прыжки, но в лагере уже происходили необычные приготовления: кто-то резал овощи на салаты,

кто-то остужал в ручье бутылки, кто-то глады белые сорочки. А к вечеру взмыл в небо ЯК-12. Пилотировал его сам командир парашотного звена Иван Бородаху. На борту ЯКА находились два парашютиста, и намерения их были уж совсем необычны: кандидаты в мастера парашотного спорта Владимир Довгоброд и парашютист того же звена Елена Леоненко готовились к свадебной церемонии. Костюм жениха решительно ничем не отличался от обычного парашотного снаряжения, а вот на невесте была белоснежная фата до пят.

ЯК сделал над аэродромом круг почета, и собравшиеся увидели, как от самолета отделились две фигурки и, взявшись за руки, полетели вниз. Выполнялся прыжок-пирамида.

В полете молодые расцеплялись, на это было «отпущено» двадцать секунд, после чего на двадцать первой секунде «разделили пирамидку», то есть отпустили друг друга, и дальше уже каждый падал отдельно.

И вот уже забелели на вечернем небе выпрестенные два купола. Еще несколько мгновений — и молодые принимали поздравления, цветы и подарки, и фотограф Витя Мокрогуз уже щелкал затвором, и кто-то ранние времена вошла «Горько!», и кто-то нетерпеливо торжаша: «К столу, к столу!».

...С Володей я говорила во дворе черныговской школы № 3, где он преподает слесарное и токарное дело, плотницкое искусство, столярные хитрости и все, что надо познать на уроках труда.

— Мы могли позволить себе такое свадебное развлечение, — говорил Володя. — У меня больше пятисот прыжков, у Лены почти двести.

Володя занимается прыжками уже шесть лет, служил в воздушно-десантных войсках, участвовал в десятках соревнований. Лена прыгает три года.

Вы думаете, семья Довгоброд сразу после свадебного прыжка отправилась в традиционное путешествие и занялась насущными домашними делами? Сначала они поехали на зональные соревнования в Одессу, затем — на республиканские в Киев. И только потом совершили свадебную поездку по Карнатам на мотоцикле.

Англичане говорят: браки заключаются на небесах. В черныговском небе, во всяком случае, брак заключить удалось, и притом удачно.

Евг. РЮМИН

«ВСЕ СМОТРИТЕ НА ГАЛКУ...»

До начала спектакля оставалась минута. Елена Савельевна Толченнова, художественный руководитель самодеятельного театрального коллектива московского завода «Динамо», давала последние напутствия:

— Ребята, внимание! Ритм, темп, диалогия...

И затем несколько тише:

— Все смотрите на Галку...

Тут я поспешил в зал, чтобы успеть к занавесу. Честно говоря, попав на спектакль незнакомого тебе самодеятельного коллектива, боишься одного: как бы предстоящее зрелище не оказалось скучным. Послушавшись Толченновой, я тоже решил «смотреть на Галку». И вправду, Гая Гаухова, лаборантка МАИ, игравшая в чеховской «Свадьбе» мать невесты — Настасью Тимофеевну, сразу же завладела вниманием зала.

Самодеятельные исполнители с увлечением приняли веселую игру, предложенную режиссером Василием Устюжаниным, где многое решалось динамическими средствами коллективной пантомимы, где все было до крайности условно: ни мебели, ни вилки в руках за «столом», ни вообще предметов (исключение — веер акusherки Змеюкиной), — и поэтому фантазия предоставлялась полный простор. Спектакль искрился весельем. Но было в спектакле и не-

что большее, что актеры всякий раз намеренно подчеркивали, то повторяя одно и то же движение, то застывая на сцене в преувеличенно неестественных позах, то один из них затевал диалог с остальными, которые вдруг превращались в своеобразный хор. Так в спектакле создавался групповой портрет не только користи и глупости, но и первую очередь невежества — невежества как тупой силы, которая, даже будучи общественно пассивной, политически инертной, не перестает быть разрушительной, а может быть, более того, и опасна буднями, чем вспыхивающими акциями по случаю.

Диалоги в спектакле служили как бы мостиками к групповому, общему действию, расставляя основные акценты зрительской чести, собственно, оно и было интереснее.

И у этого удачно найденного драматургического «хора» имелся свой солист — Гая Гаухова, на которую перед спектаклем и призывала товарищей посмотреть Елена Савельевна. Гая несла основную груз индивидуальной актерской работы в игровых эпизодах, диалогах, пока не выступила на передний план ансамбль. Когда же действие, повинуясь замыслу молодого режиссера студента ГИТИСа Василия Устюжанина, обрело массовый характер, Гая органически сливалась с ансамблем. Нет, может быть, другие исполнители и теперь следили за ней, и теперь девушка продолжала незаметно для зрителя дирижировать ритмами происходящего, но этого я уже не замечал.

Молодец Гапка, — после спектакля похвалила Гаухову Елена Савельевна. — Она не столько сама играла, сколько помогала остальным, всему спектаклю...

Как-то затюпик режиссера Владимира Кабаева, игравший в спектакле отца невесты, признался Устюжанину:

Я знаю, что не стану профессиональным артистом, но и без сцены не могу...

Техник Володя Лисицын, мечтающий стать летчиком и уже поднимавший в воздухе вертолет, тоже предан театру, как, впрочем, и все остальные участники коллектива.

Конечно, им многому еще надо учиться, поскольку и самодеятельный театр требует высокой театральной культуры. Однако я все же решаю посоветовать читателю посмотреть эту «Свадьбу».

В. ЛУЖИН

Слева на снимке: Галина Гаухова на репетиции.

Фото А. Карзанова.



МАЭСТРО, ТУШ!

Цирк начинается с музыки. Веселый маэстро взмахом волшебной палочки оживляет тишину ожидания, из таинственных кулис форганга появляются зафрахченный шпрыхштамейстер, и свита яркой униформы выстраивается по бокам прохода...

Но у циркового оркестра неприглядная судьба. Весь вечер над мажежем, вне зрительного внимания, лишь в озвучении движения. Помните — под мерцающими экранами темных залов невидимые миру таперы чарльстонили на клавишах, окрашивая ритмом скороговорку жестов немом кинематографа? И цирковая шарманка таперствовала в балаганах и шапито, подыгрывая гардюющим на манеже лошадям. А потом уж и оркестры, где медь и струны, — туш и полька, кадрили и вальсы. Раз, два, три... Раз, два, три... Танцуют наездницы, крутят сальто-мортале акробаты, скользят под куполом канатоходцы, мелькают руки жонглеров и — музыка, музыка.

— Цирк ведь тоже великий немой, — говорит Николай Соколов, человек неправдоподобно молодой для нахождения в должности главного дирижера Госцирка. — Разговорный жанр не в традициях манежа — разве что коверные клоуны позволяют себе реплики в зал. Ритм цирка, его голос — в музыке. Веками цирковые представления сопровождали таперы. Из кино они ушли — экран заговорил и зашел. А в цирке остались. Почему? Он ведь тоже стал другим — бережливость к традициям вовсе не означает топтания на месте. В цирке должна говорить музыка. Не подыгрывать, не таперствовать — говорить.

Николай Соколов учился рисовать, когда его призывали в армию. И там он вдруг решил играть на тромбоне. По самоучителю, по собственному слуху. Принял в духовой оркестр, а когда отслужил, решил поступать в консерваторию в Ташкенте.

Спустя два года студент второго курса Ташкентской консерватории Соколов переехал в Минск, где и закончил свое музыкальное образование по классу фортепиано. Его пригласили в минскую филармонию руководить эстрадным ансамблем. Далее все развивалось с быстрой поистине молниеносной: в 1966 году Соколову



предложили место главного дирижера минского цирка, через четыре месяца он приехал на гастроли в Москву, выступал в столичном шапито. Как говорится в таких случаях, его заметил, и в результате лестный ангажемент: Николай Соколов становится четвертым дирижером московского цирка, готовит первую самостоятельную программу «Романтики» с attractionом Игоря Кио, в содружестве с композитором Александрой Пахмутовой, которую он привлек к работе для цирка. Потом — музыкальное оформление «Цирка на воде» и кинофильма «Парад-алле», а в 1968 году — место главного дирижера.

И вот на проспекте Вернадского открылся крупнейший цирк страны. За его дирижерский пульт встал Николай Соколов.

Когда цирковой амфитеатр погружается в минутную темноту, он пробирается к оркестровой нише между поппитрами — подходит к дирижерскому пульта. Публика не видит его, не замечает безупречности фалда его фрака, белизны кружевного жабо его манишки, блестя лакированных штиблет.

Где-то во втором отделении на него обратят внимание: Юрий Куликин сообщит в паузе, что руководит оркестром «выдающийся цирковой дирижер Николай Соколов», и все улыбнутся этому слову — «выдающийся», произнесенному клоуном, все посмотрят наверх и пошлют ему аплодисменты.

И оркестр тоже будет аплодировать своему руководителю — струнная группа летонько постучит смычками по поппитрам, ударник выбьет замысловатую дробь на малом барабане...

Тридцать шесть музыкантов — таков состав оркестра, отобранного Николаем Соколовым для работы в новом московском цирке. Симфондаж — широкий диапазон его звучания, полус которого длился около полутора.

— Специфика циркового аккомпанемента будет всегда, — рассказывает дирижер. — Но это уже не подыгрыш (он первым решился отстать из оркестровой ниши дополнительного ударника, отбивающего трюковые акценты выступающим артистам). Это голос номера. Хочу, чтобы зритель приходил в цирк не только смотреть, но и слушать. Хорошую музыку в хорошем профессиональном исполнении.

Сегодня многие ведущие мастера советского цирка считают Николая Соколова соавтором своих номеров и attractionов. Думая над их музыкальным оформлением, он нередко сам пишет оркестровые пьесы, привлекает в цирк популярных композиторов. Его оркестр, по мнению специалистов, мог бы сегодня украсить любые эстрадные подмостки. Но он создан для цирка. Он всегда над манежем.

Маэстро, туш!

А. МАРЬЯМОВ



ДИМИТРИУС ЛОНГО: «ПИСАТЬ ТРУДНЕЕ, ЧЕМ ГЛОТАТЬ ШПАГИ»

Дебют
в сто лет



В феврале ему исполняется сто лет. Он был известным факиром: ходил босиком по горящим углям, по остриям персидских и турецких сабель, ложился на доску, утыканную острыми гвоздями, пил расплавленное олово, вызывал духов, а уж шпаги глотал запросто — это был для него сущий пустяк. «Загадочный и таинственный факир и дервиш Димитриус Лонго» мог даже вынуть собственный глаз и засунуть его обратно.

— Правда, глаз я только в бенедиксы вынимал, — говорит Димитрий Иванович. — Боюсь внести инфекцию.

Так он комментирует один из самых удивительных своих трюков. Еще менее почитательно Дмитрий Иванович относится к своему столетнему юбилею. Он говорит, что дожил до такого неправдоподобного возраста, очевидно, потому, что никогда не боялся смерти. И читает своего любимого Омара Хайяма: «Умрешь, так только раз — не стоит и жалеть, вот невидаль, разочек умереть...»

Он продолжает изобретать фокусы и не спеша на больших ватманских листах пишет нарастающую книгу воспоминаний. Когда журналист Владимир Георгиевич Каминский, давний друг и литературный помощник Лонго, напоминает ему, что надо бы побыстрее закончить работу над книгой, столетний факир сердится: зачем спешить в таком деле? Он по-прежнему считает Каминского мальчишкой и дивится, как ухитрился он целиком облысеть, хотя ему нет еще и семидесяти.

Димитрий Иванович Лонго выступает в этом номере «Юности» с отрывком из книги воспоминаний. Да, литературный дебют в сто лет! Знаменитый факир Димитриус Лонго вновь удивляет «почтенную публику».

Наш крепко спянный балаганный коллектив, говоря современным языком, состоял всего из трех персон: самый непревзойденный русский великан Иван Бакулин, самая маленькая в мире амплуа Жозефина Крон и я. Мы встретились и решили соединиться друг с другом на Нижегородской ярмарке.

Я впервые начал работать на Нижегородской ярмарке в 1883 году, когда мне было одиннадцать лет. Показывал фокусы с платками, яйцами, цветами, но основным моим номером было шпагоглотание.

На Нижегородской ярмарке было много увеселительных зрелищ — на любые вкусы и запросы. Много приезжало на ярмарку «развлекателей»: от самых знаме-

Вверху — старая афиша Лонго.

пных артистов до уличных шарманщиков. Среди самых удивительных ярмарочных зрелищ были и «музей чудес», и паноптикум, и стереоскопическая галерея, и «механический театр», представлявший, в частности, шествие папы Пия IX, и «палата счастья с механической пушкой», и многое-многое другое.

Цирк на ярмарке был один — Ахима Никитина. Он находился в центре «Катка», так называемой Самокатной площади. Рядом с цирком стоял большой балаган и двадцать каруселей, принадлежавших некоему Герману. Ему же принадлежал и кабинет восковых фигур (паноптикум). Эти уникальные фигуры парижской работы (числом свыше трехсот штук) по окончании ярмарки складывались в ящики на мажорке цирка Никитина. Весной при выходе Оки из берегов цирк и фигуры затопляло водой, но через неделю вода сходилась.

Я поначалу работал на ярмарке в балагане Германа, где не только глотал шпиги, но и был рабочим, билетером, писал плакаты и реставрировал восковые фигуры. По ночам Герман запарил меня в помещении паноптикума и выпускал только в шесть утра. Первое время я очень боялся оставаться наедине с восковыми фигурами — гориллой, похаживающей женщину, Клеопатрой со змеями на груди, группой гномов и царевной в стеклянном трюбе — и от страха плакал.

Но в начале 90-х годов, о которых я здесь пишу, я уже соединился с великаном Вакулиным и ллипуткой Жозефиной, а кроме того, у меня был крокодил, две анаконды, говорящая ворона и молодой австралийский попугай Ара. Крокодила я купил в петербургском зоомагазине на Васильевском острове. Крокодил был длиной в аршин и дома лежал в специальной ванне с теплой водой. При перевозке я заворачивал крокодила в одеяло и помещал в особый чехол-корзину, как и анаконду, чтобы в железнодорожном вагоне никто не заподозрил, что я везу такой необычный багаж. На представлениях я вставлял в открытую пасть крокодила руку. А анаконды обвивались вокруг моего туловища, шен, ног. Помимо того, я «целовался» с анакондами. Крокодила кормил ежедневно сырым мясом и яйцами. Анаконду кормил живыми кроликами один раз в 15 дней. Ворону мне подарил дворовые ребята, сказав, что она говорящая. Ворона в самом деле говорила несколько слов: «здравствуй», «дурак» и «кар». Пела: «Ах, мой милый Августин», а помимо того, ругалась неприличными словами. Попугай говорил много разных слов, преимущественно на французском языке, а также цел французский романс, отчетливо произнося: «l'amour, l'amour...». Попугай вынимал билетик с предсказаниями судьбы, а также карточки с изречениями Омара Хайяма. Попугай был старше меня на пять лет, мы и сейчас живем вместе — мне, значит, будет сто, а ему сто пять лет.

Ну, и, конечно, я по-прежнему глотал шпиги. Этому искусству меня научил в свое время итальянский музыкант и фокусник Огюст Ливелли. Поначалу он многократно цекотал мне горло длинными гусиными перьями, потом осторожно вводил в пищевод узкую деревянную пластинку, густо смазанную гусиным жиром. Потом я стал глотать более широкую пластинку, выделенную из воска и парафина. И только после этого начал вводить в пищевод хорошо отшлифованную шпигу из оцинкованного железа с гусиным лезвием. Длина шпига была 60 сантиметров, а ширина — два сантиметра. Я всегда проглатывал шпигу шерстяной тряпочкой, чтобы согреть ее. Теплая шпига легче заглатывалась.

Расскажу подробнее о моих партнерах. В России встречалось на ярмарках немало великанов. Был, например, такой русский великан Махнов, который

сделал ежедневно около пятнадцати фунтов мяса и тридцать яиц. Однако самым замечательным, самым непревзойденным русским великаном являлся Иван Вакулин. Рост его был выше четырех аршин (приблизительно три метра), ступня ноги достигала шестидесяти сантиметров, а диаметр туловища — девяносто сантиметров. Он был крестьянином Ярославской губернии, родился от совершенно нормальных людей. Все деньги, которые Вакулин зарабатывал своими выступлениями, он посылал в деревню родителям. Он был очень акриатер, скуповат, вина не пил. Сделал Вакулин в три-четыре раза больше, чем обыкновенный человек, особенно любил сладкое. Физически Вакулин был слаб, несмотря на большую величину. Человеком он был недалекий, замкнутым и скрытным, но характера очень спокойного. Великан Вакулин дожил до Октябрьской революции, но уже не выступал, а находился у себя в деревне.

Ллипуты у тоже видел много, но за всю жизнь впервые встретил такую маленькую, как Жозефина. Ее рост был пятьдесят сантиметров. Я видел сотни ллипуты, но такой маленькой не видел. Как могла существовать одна такая букашка? Однако, бесспорная, безродная, без профессии. Брошенная судьбой в мирскую суматоху. Единственно, что могла она делать, так это предлагать за пятак открытки со своим изображением. Восла та девица десять килограммов. Если великан среди людей нормального роста выглядел как слон, то ллипутка — как котенок. Оберегать их, ухаживать за ллипуткой и великаном входило в мои заботы, без меня они не могли и шагу ступить. Мы жили дружно, никогда не ссорились. Поскольку великан и ллипутка ничего сами делать не умели, даже не могли чистить картошку, то ужень всегда делались поровну.

В те годы, о которых я пишу, Нижегородская ярмарка была неудачной. В Астрахани появилась холера, постепенно она захватывала низовья Волги, перекинулась на Царицын, Саратов и подбиралась к Нижнему. Поэтому мы решили покинуть ярмарку. Вообще, приезжая в какой-нибудь город, мы стремились остаться там подольше, так как частые переезды для нашего коллектива были утомительны и занимали много времени, да и стоили дорого. Особенно много хлопот доставлял Вакулин. Из-за своего роста он помещался лишь в товарном вагоне. Вагон приходилось специально оборудовать, чтобы можно было в нем жить, и я всегда договаривался с администрацией железной дороги, чтобы наш вагон прицепляли к пассажирскому составу. Выходить из вагона Вакулин мог только с наступлением темноты, иначе кругом тогда собиралась любопытная толпа.

В тот раз по пути на юг мы решили сделать остановку в Харькове. Еще в Нижнем Новгороде хозяин ярмарочного балагана дал мне адрес одного старого харьковского купца, большой магазин которого пустовал, и помещение сдавалось в аренду. Магазин этого купца, Титова, находился в самом центре Харькова, на Екатеринославской улице. Нас это устривало.

Я дал телеграмму. Титов не замедлил ответить, сообщая, что готов оставить помещение за нами. Все складывалось к лучшему. Я заказал товарный пугман, который нам предоставил быстро — помогла солидная взятка. Мы оборудовали вагон, поставили печь, соорудили ложе для великана и запаслись горючим. Ночью мы перебрались из Канавина, где размещалась ярмарка, на станцию, погрузились и стали ждать, когда нас прицепят к пассажирскому составу.

От Нижнего до Харькова путь неблизок. Мы по долгу стояли на узловых станциях, и наконец поезд



На двоих им 205 лет

Фото В. Каминского.

Лонго владеет и техникой персидского народного лубка. Одна из последних его работ — «Завтрак сатаны» (внизу).

прибыл в Харькове. Город был тогда совсем не таков, как теперь. Сносно освещался только центр, а окраины тонули во мраке. По вечерам фонарики зажигали керосиновые лампы, а утром чуть свет тушили их.

Екатеринославская улица считалась самой шикарной. На ней было несколько хороших магазинов, два сивмафотографа. Я отправился сразу к купцу Титову, утрас все дела, ночью мы переехали в его магазин и стали устраиваться.

Магазин был большой. Вход был прямо с Екатеринославской, а вторая дверь выходила во двор пекарни Али-оглы Гуссейна, турка из Стамбула. Хлеб он выпекал отменный. В первую очередь плотник соорудил в центре магазина эстраду и кассу, окошком выходившую на улицу. А эстрада примыкала еще к одной двери, которая вела в комнату, где когда-то жили приказчики и хранились товары. Теперь мы здесь устроили артистическую уборную. Обе наружные стевы — и ту, которая выходила на главную улицу, и ту, которая выходила во двор, — завешали плакатами. Тут красовались и наяды с рыбьими хвостами и бюст Галатен. Все это должно было способствовать успеху представления, которое начиналось в десять утра и шло до двенадцати ночи с перерывами для смены публики. В день мы давали 15 представлений, вход стоил 20 копеек. Стулья ставили лишь для почетных гостей.

К выступлению мы специально изготовили и повесили на 12-метровой мачте огромный красочный щит размером пять на десять метров. На щите был изображен великан Вакулин, одетый в безрукавку, красную рубашку, подпоясанный шелковым кушаком, в плавовых шароварах и в сапогах гармошкой. На голове его была круглая ямщикская шапка с павлиньим пером. Левою рукою Вакулин прикуривал от высоко висевшего уличного фонаря, а на огромной правой ладони его сидела лялипутка в ярко-красном платье с громздной хризантемой на груди. На плакате было написано:

«В доме-магазине купца Титова с разрешения начальства проездом из Нижнего Новгорода в Персию остановилась только на короткий срок группа Лонго. Единственный в мире факир-дервиш и спирт. Единственный в мире русский великан Вакулин — высота свыше четырех аршин. Лялипутка Жозефина Кроп, ростом пятьдесят сантиметров. Единственный в мире театр дрессированных тараканов. Невероятно! Сенсационно! Чудо природы! Чтобы верить, нужно видеть!

Факт, а не реклама! Все правда! Такого не увидите никогда! Посетив наш театр, единственный в мире, вы убедитесь в этом!»

Один из плакатов, висевших на стене магазина, изображал палача в красной рубаше с топором в руке. Перед ним на коленях, положив голову на плаху, стоял человек. Надпись гласила:

«Сегодня мистер Лонго покажет сенсационный номер. Новинка Парижа. Отрубание головы ассистенту. И любому из публики».

Рядом висел другой плакат: «Чудо природы! Только у нас! Двухголовый теленок!» (Вторая голова была муляжом; она искусно крепилась к туловищу.)



Теленок был живой, стоял в углу магазина за решеткой. Духотловый. Факт остается фактом. Ел морков и моргал глазами.

Представление начиналось показом тараканьего театра. На эстраду выносили стол, накрытый стеклян-ным колаком. Под колаком размещался макет уве-селительного сада с дикинскими экзотическими де-ревьями и претайми. В центре сада стоял двухэтаж-ный дом с черепичной крышей и множеством окон и бал-конов. На площадке возле дома были устроены каче-ли и карусели. Тройка лошадей стояла у крыльца, воздушный шар с корзиной опускался и поднимался.

Я выходила в ярко-красном фраке, на мне было кружевное жабо, короткие панталонки и туфли с се-ребряными пряжками; черные как вороны крыло, волосы спадали мне на плечи. В руках у меня была черная палка. Объясняя публике суть номера, я ударила палкой о стеклянный колак, командовала: «Все наружу!» Из дома выбегали сто тараканов-пруса-ков, они шевелили усиками и разбегались по всему саду. «На главную аллею!» — командовала я. Все та-ракапы сбегали на главную аллею, кружились на каруселях, играли в мяч, качались на качелях, чита-ли книги, газеты, журналы, катались в экипаже! «На деревья!» — командовал я. Тараканы влезали на де-ревья. «В дом!» — тараканы сбегались в дом. «На тер-расу!» — тараканы выбегали на террасу. «К столу!» — командовала я. На главной аллее стояло несколько миниатюрных столиков, на них чашки с едой. Тара-каны влезали на скамейки и ели из чашек. Последняя команда была: «В дом!» — и тараканы исчезали в доме.

В ответ на неустанные аллошменты и крики «бис» я демонстрировала изобретенный мною фокус. Назы-вался он «Реторта доктора Фауста». Я показывал публике бошущую совершенно пустую скакинную реторту. Затем ставил ее на треножник, под кото-рым горела спиртовка, и вывалил в реторту немного желтой прозрачной жидкости. Мгновенно жидкость испарилась, а на дне реторты появлялся маленький человеческий зародыш, на глазах выраставший до размеров годовалого младенца. Железным прутом я разбивал реторту и из осколков извлекал живого плачущего ребенка.

Естественно, нам требовалось музыкальное сопро-вождение. Узнав, что у нас нет никакой музыки, нам предложил свои услуги харьковский музыкант Хам Типлер. У него в оркестре был громадный турецкий барабан, выдавший вид, помнятая труба, кларнет, флейта и скрипка. Играл Типлер на похоронах и ев-рейских свадьбах. Стоял его оркестр недорого, по-следа в последнее время шли у него плохо, и оркестр сделал без работы. Мы взяли Хамна, поставили во дворе пекарня стулья, на которые усадили музы-кантов. Оркестр был хорош, слышно его было дале-

ко. Особенно выходили из себя трубач и барабанщик. Они были молодые, а остальные — седые старики с пейсами и в картузах.

Первыми нашими зрителями были люди попроче — публика невзыскательная. Но потом слухи о необыч-новенном зрелище стали доходить до интеллигенции и даже до местной аристократии. Очередь за билета-ми вытягивалась по всему бульвару. В Харькове было три цирка: Никитинских, Миссури и Гринке. Один из них был сделан из цинка, здание громадное, но зимой в нем был чертовский холод, и публика си-дела в шубах. Мое появление в Харькове вызвало пиркачей. В это время в цирке Миссури выступал Анатолий Дуров. Цирк Миссури и наш балаган на-ходился неподалеку друг от друга. Наш успех от-разился на сборах Дурова. Он захотел узнать секрет адресировки тараканов. Но униформисту, которого он к нам подослал, ничего узнать не удалось.

После двенадцати часов ночи, когда представление заканчивалось и усомлкам наконец ипавший весь день оркестр, когда расходился публика, прекращала свои рейсы конка и даже дворники ложились спать, а только собаки лаiali, мы выходили на свежий но-чной воздух. Забирали ведро с клейстером, кисть, па-чку афиш, написанных мною от руки, чтобы повесить их в привокзальном районе. Я залезал на плечи ве-ликана Вакулина и клеил афиши высоко, чтобы их всем было видно и чтобы мальчишки их не сорвали.

Пробыв два месяца в Харькове, мы выехали в Баку, где нас уже ждал Шамбей, управляющий персидским цирком.

Мы объездили с Шамбеом всю Персию. Конечным пунктом наших гастролей был Персидский залив и Багдад. В древнем Исфахане мы видели знаменитого деревниа Юсуфа, который показывал адресированную лягушку. Юсуф играл на флейте, сидя на берегу реки. При громадном стечении народа лягушка выле-зала из реки, садилась к Юсуфу на колени и слу-шала музыку. Когда Юсуф прекращал игру на флей-те, лягушка уходила обратно в реку.

Мы побывали и в Нишапуре, где поселили могилу великого поэта Омара Хайяма, перед которой была вырыта глубокая яма, наполненная осколками ви-нных бутылок. По обычаю, всякий, побывавший на мо-гиле Омара Хайяма, выпивал бутылку вина, а затем швырял ее в яму, которая периодически опшала-лась и вновь наполнялась осколками. Я еще не раз бывал в Персии и всегда посещал могилу Омара Хайяма — самого мудрого, самого любимого моего поэта. Я мо-гу прочесть всего Омара Хайяма наизусть — как по-русски, так и по-персидски. Изречениями Омара Хайяма увешаны стены моей сегодняшней квартиры в Москве.

О ХУДОЖНИКАХ ЭТОГО НОМЕРА

В этом номере дебютирует группа молодых художни-ков — студентов московских художественных вузов. В конце прошлого года в залах Центрального дома работников ис-кусств была развернута выставка произведений студентов-суриков-цев. Небольшая часть этих работ представлена на чешских страни-цах цветной вкладки и на внут-ренних страницах обложки. К пока-зу других талантливых работ сту-дентов «Юности» есть верный по-ход.

На лицевой странице обложки напечатан рисунок студентки пла-

ного курса театрально-декоратив-ного факультета Елены Качалае-вой, изображающий студенческий новгородный карнавал.

Студент четвертого курса гра-фического факультета Валерий Лукьяничков проиллюстрировал повесть А. Бологова «Сто три-надцать...». Другие рассказы и очерки, напечатанные в номе-ре, в большинстве также проил-люстрированы студентами-сури-ковцами.

Иллюстрациями и юмористиче-скими рассказами, помещенным под рубрикой «Зеленый портфель», де-

бютируют студентка Суриновского института Татьяна Иеднен и сту-денты Московского полиграфиче-ского института Михаил Трубни-ков и Ангелия Тихомирова.

В представленных рисунках и живописных работах ощущается свежесть и непосредственность в восприятии жизни, хотя подчас проглядываются еще неопытность и нетвердость руки.

Мы надеемся, что многие из де-бютантов в дальнейшем займут ценную должность с нашим журна-лом, станут постоянными австра-ми «Юности».



Чтобы войти в положение дебютанта, я попробовала себе представить, что я тоже напечаталась в этом номере впервые в жизни... Ой, страшно! Первый раз видеть свою фамилию написанной не рукой учителя в классном журнале, выведенной не цветной фамилией в стенгазете, а набранной наборщиком и тиснутой черной типографской краской. Страшно! Но приятно. Хочется сейчас же побежать и каждому подписчику журнала «Юность», схватить его за рукав и прокричать: «Это я, я!.. Вот на сто восьмой странице, видите...» Вас останавливает только то, что «Юность» имеет двухмиллионный тираж, и пока вы обесите всех подписчиков, ваша творческая жизнь пройдет... Так не будем же терять времени и, не дожидаясь выхода из печати вашего первого рассказа, пишите второй, третий, четвертый... И пойдет, пойдет... Все это вовсе не значит, что школьники Андрей Загданский и Марина Вишневецкая должны сейчас же бросить школу, Петр Спичкин — институт, а Принт Акила — оставить без своего редакторского глаза редакцию развлекательных передач Эстонского радио. И вовсе не потому, что юмористические рассказы можно писать и на уроках, и на лекциях, и на работе... А просто, чтобы стать профессиональным писателем, нужно время, которое, может быть, для некоторых начинается именно с этого номера «Юности». В добрый путь!

ГАЛКА ГАЛКИНА

А. ЗАГДАНСКИЙ,

ученик 9-го класса.

КОГДА РАК СВИСТНУЛ

Рисунок Татьяны Меднек,
студентки III курса Института
имени В. И. Сурикова

Все началось с того, что Рак свистнул.

— Чего свищишь? — спросил у Рака Слон, пронося мимо бревно.

— Да так, свищу и свищу... Нравится.

— А... уважительно отозвался Слон и подумал: «Если Рак свистнул, что же мне делать? Поразмышлив немного, взмахнул ушами и... полетел.

— Ты чего летаешь? — промывкала удивленно Кошка с крыши дома.

— Рак свистнул! — крикнул Слон и, вырвав хвостом, стал набирать высоту.

— Ах так! — сказала Кошка. — Значит, и мне надо тоже что-нибудь выкинуть! — И, разогнавшись, что было силы, нырнула в реку.

— Когда это ты плавать научилась? — удивленно спросила Рыба.

— Когда Рак свистнул, — ответила Кошка и стремительным кролем понеслась против течения.

— А мне плавать надоело, — сказала Рыба и, опираясь на плавники, вышла из воды.

— Ты что, с ума сошла? — закричал Заяц.

— Рак свистнул, вот каждый и делает, что хочет, — лениво сказала Рыба и легла на песок загорать.

«А чем я хуже?» — подумал Заяц и толкнул проходившего мимо Медведя.

— Ты чего? — обиделся Медведь.

— Чего, чего... — огрызнулся Заяц. — Рак засвистел, вот чего! Не слышал?

Медведь со страху вскопил на

дереву и стал прыгать с ветки на ветку, щелкая орешки.

Трудно сказать, что могло произойти дальше, если бы вдруг не стало тихо — замолк рачий свист...

— Ай, падаю! — закричал Слон с небес.

— Спасите, тону! — завопила Кошка, барахтаясь в воде.

— Задыхаюсь, задыхаюсь! — захрипела Рыба, жадно глотая воздух.

— Ой, что мне теперь от Медведя будет! — затрясся Заяц.

— Ай, боюсь! — орал Медведь, висая на самой высокой ветке.

И звери взмолились:

— Рак! Где ты? Почему не свищишь? Что с нами теперь будет? Нам так понравилось заниматься не своим делом. Где ты? Где? Отзовись!!!

— Я ушел зимовать, — прошепел Рак и скрылся.

А так как никто не знает, где раки зимуют, звери вернулись к своим делам и ими занимаются до сих пор: слоны несут

огромные бревна, кошки лазают по крышам, рыбы плавают в реке, зайцы — ужасные трусы, а медведи спят в берлогах.

Г. Кив.



трудный экзамен

Рисунок М. Трубкинча.

— Какой у вас билет? — спросил председатель приемной комиссии. — Тринадцатый, — ответил я.

— А какой у вас рост? — 196 сантиметров... Но какое это имеет отношение к делу? — Самое прямое. Вы, видимо, ошиблись институтом, вам надо поступать в горный. Ведь вы наверняка думаете, что мы вас примем в институт только за ваш рост и баскетбольный разряд.



— Почему?! Я отвечаю на билет... — Билет у вас тринадцатый. Не-счастливый!

— Но я знаю ответы на все вопросы.

— Хорошо. Допустим, вы будете приняты в наш институт. Тут же вас заберут в институтскую команду. Тренировки, сборы, соревнования... А когда же лекции, семинары, зачеты?... Меня же потом изведут, чтобы я у вас экзамен принял... Нет, увольте!

— Но я играю в баскетбол только в свободное время.

— Это вы сейчас так говорите. А поступите — и вас не поймаете. Спорт, знаете, требует колоссальной отдачи времени и сил. Сам когда-то занимался, знаю...

— Я брошу спорт.

— В это трудно поверить... С вашими данными уйти из спорта невозможно.

— Но я хочу стать инженером-химиком!

— Нет, молодой человек, настоящих специалистов мы никогда не станем.

— Почему же?

— Потому что ваш рост 196 сантиметров. А наши институтские спортсмены как раз сейчас комплектуют баскетбольную команду. Хотят завоевать кубок области. Были бы вы сантиметров на 20 пониже, из вас вышел бы прекрасный химик...

— Что же мне делать?

— Становитесь горняком. В горном ваш рост никому не нужен. Они уже чемпионы. Хорошая команда, слаженная... Я ни одного матча не пропускаю. наших обыгрывают элементарно.

— А я сделаю ваших чемпио-нами!

— Я, конечно, болею за честь родного института, но через пять лет мне придется подписывать диплом химика-недоучке. Нет, уж лучше пусть мы никогда не будем чемпионами... Лучше разойдемся сразу. Прощайте!

Экзаменатор протянул мне руку. Я было хотел сказать еще что-то в свое оправдание, но плюнул и пошел. В горный институт.

Свердловская область.



ПРИИТ АЙМЛА

цепная реакция

Рисунок А. Тихомировой.

— По-кило колбасы, пожа-луйста, — попросил по-купатель.

— Сию минуту, — ответила про-дащица, — вот только нож куда-то запропастился...

И ушла в глубину магазина за ножом.

Через две минуты у прилавка появилась другая продащица.

— Покило колбасы, пожалуй-ста, — попросил покупатель.

— Сию минуту, — ответила про-дащица, — вот только нож куда-то затерялся...

И ушла в глубину магазина за ножом.

Через три минуты у прилавка появилась третья продащица.

— Покило колбасы, пожалуй-ста, — попросил покупатель.

— Сию минуту, — ответила про-дащица, — вот только нож куда-то улетучился...

И ушла в глубину магазина за ножом.

Через четыре минуты у прилав-ка появилась четвертая продащи-ца.

— Покило колбасы, пожалуй-ста, — попросил покупатель.

— Гражданин, вы ведь не туда стоите, — вежливо объяснила про-дащица. — Колбаса отпускается в соседнем отделе.

Покупатель вздрогнул и пошел в глубину магазина за ножом.

г. Таллин.

Перевел с эстонского
А. КУЧАЕВ.

ПЕРЛЫ

три письма



«По коридору прошел кот на цыпочках».

«Писал Маяковский и о дураках и бюрократах с гордостью за хороших людей».

Из школьных сочинений

«В клетке сидел маленький кенгуру и чистил перышки». «Художник подозвал свою собаку и стал гладить лобастый затылок».

«Давидова несколько раз ударили по голове, но алтарь остался цел».

«Бетховен написал три симфонии — первую, пятую и девятую».

«Рахметов не имел никакого семейного положения».

«Значение образа Татьяны велико. Пушкин самый первый оценил всю полноту русской женщины».



«Мышление не покидало Дарта всю жизнь. Это и село его в могилу».

«Покушение на Сараяве было каплей воды, переполнившей бочку с порохом».

«Разница между королем и президентом заключается в том, что король — сын своего отца, а президент — нет».

«Отец мальчика был сапожником, мать — вдовой».

«Перлы» прислали:

М. ПРОВОРОВ, Л. КАРПОВА,
Н. НЕКРАСОВА, М. НЕЗНАМОВ.

1. Здравствуйте!

Вчера я была в клубе, смотрела «Передай другому». Видела Вас... Я давно хотела написать Вам, но все не решалась. Я такая неприметная... Зачем Вы обнимали ту, длинную, с косой? Ведь все же все видели. Я думала, что Вы образумитесь и пожалеете об этом, но Вы исчезли за 20 минут до конца сеанса. Та с косой Вас искала... Меня зовут Лариса. Больше о себе писать не буду, раз Вам нравятся с косами.

С уважением Л. П.

PS, Я часто бываю в клубе. Если мы и встретимся там, я постараюсь, чтобы мне было все равно.

2. Добрый день!

Это опять я, Лариса. Помнишь? Две недели каждый день я ходила в клуб, просиживала по два сеанса, но Вас там не было. Где Вы пропадали? И вот сегодня я опять Вас там встретила. Каково же было мое удивление, когда я заметила на Вашей руке обручальное кольцо. Всего две недели назад его не было... Неужели эта длинная с косой? Но сегодня Вы были совсем с другой. Я от Вас этого не ожидала.

Л. П.

PS. Писать больше не буду. Простите и прощайте.

3. Я снова видела Вас в клубе и не могу не написать. Ну и компанию вы себе выбрали! И сами стали хуже. Посмотрели бы Вы на себя со стороны — галстук измят, костюм разорван. Как говорится, с кем поведешься... Такой шум поднять в самом интересном месте кинокартины! И Вы мне нравились! Я ведь все видела: и как Вы вскочили, и как завязалась драка, и как Вас унесли... Но знайте, чувства во мне еще живы. Напишите, в какой Вы больните, буду Вас навещать. С любовью и приветом.

Пастушкова Лариса.

PS. Вы были и остаетесь моим самым любимым киноартистом.

г. Харьков.

Дорогие любители сатиры и юмора! С нового года я открываю в «Зеленом портфеле» новый отдел для новых авторов «Юности», чтобы они получили возможность посоревноваться за право быть напечатанными в журнале. Называется новый отдел БИС.

Что это такое? Расшифровывается так: Бюро Иронических Советов.

Что это значит? Это значит, что читатели нашего журнала для читателей нашего журнала будут выдавать через мое Бюро иронические советы по самым разным жизненным вопросам.

В связи с этим вы все, уважаемые читатели «Зеленого портфеля», назначаетесь внештатными сотрудниками БИСа, а я, Галка Галкина, сохраняю за собой только функции вашего редактора.

Что надо знать автору БИСа? Прежде всего, какими должны быть советы. Советы должны быть: а) остроумными, б) краткими и в) точными, попадающими в самую суть вопроса.

Самые смешные, самые точные, самые глубокие, самые сатирические, самые емкие (словам тесно, а мыслям просторно) — короче, самые остроумные советы будут опубликованы в «Зеленом портфеле», а их авторам я присвою почетное звание «Советник Галки Галкиной».

Итак, мы начинаем.

Первый выпуск БИСа мы решили назвать — «Советы молодому специалисту».

Это должна быть краткая сатирико-юмористическая инструкция парню или девушке, пришедшим после школы, техникума, института на производство. Давайте все вместе, пункт за пунктом, составим эту шутишку инструкцию-совет. Для чего вам, составляющим на звание «Советник Галки Галкиной», надо ответить по следующим пунктам:

1. Чтобы в самом начале точно определить адрес советов, попробуйте остроумно сформулировать понятие «молодой специалист».

2. Из каких составных частей складывается рабочий день молодого специалиста?

3. Каким образом молодой специалист должен представляться коллективу, в котором ему предстоит работать: какую фразу он должен подготовить для первой встречи со своим начальником и сослуживцами, как он должен себя вести в первый день своей работы?

4. Как молодому специалисту быстрее избавиться от страха перед первой самостоятельной работой, за которую он должен всю ответственность взять на себя?

5. Как наиболее разумно и рационально молодой специалист должен распределить свою первую заработную плату?

6. Что делать, если случится так, что молодому специалисту в рабочее время поручат работу не по его специальности (разметка номеров в раздевалке, переноска старой документации из одного шкафа в другой, покупка сигарет сослуживцам и пр.)? Как ему себя тогда вести?

7. С первого же дня молодому специалисту надо приниматься за общественную работу. Какую общественную работу вы бы посоветовали выбрать молодому специалисту?

8. Как, по-вашему, молодой специалист должен рассказывать о начале своей деятельности своим младшим товарищам, которые еще учатся?

9. Какие изменения в свой внешний вид вы бы посоветовали внести молодому специалисту перед его первым рабочим днем?

10. От каких студенческих привычек, вы считаете, должен избавиться молодой специалист, приступая к работе, и какие привычки, по вашему мнению, ему пригодятся?

11. С какого момента молодого специалиста можно считать старым специалистом?

12. Еще какой один совет вы хотите дать молодому специалисту?

Письма с ответами должны поступить к нам до 15 марта в конвертах, где, кроме адреса редакции, напишите: «БИС, Галке Галкиной». В конверте должно быть не больше четырех страничек текста. Можете ответить только на тот вопрос, на который найдете остроумный ответ. Не ждите от меня ответа на каждое письмо — у меня только две руки... У кого получатся остроумные советы, тот прочтет свою фамилию в журнале.

СПЕШИТЕ ДАТЬ СОВЕТЫ МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ!

ЗА ДЕЛО!

ЖДЕМ! ЖДЕМ! ЖДЕМ!

БИС! БИС! БИС!

Ваша ГАЛКА ГАЛКИНА



В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Передовая. Двухсотая встреча 2
Александр БОЛОВ. «Сто тринадцатый» 4
Повесть
Виктор ПРОХИН. Две новеллы: 1. Телевизор.
2. Красные розы. Перевел с молдавского Б. Мариан 38
Этери БАСАРИЯ. Балагур. Рассказ 45
Валерий ГРУЗИН. Единственная... Рассказ
Игорь РОГОВ. Третья Таранчинская. Рассказ
Юрий ШПИТАЛЬНЫЙ. Ленкинамышна. Рассказ 51

ПОЭЗИЯ

Евгений ЕФРЕМОВ. «Урок географии...» Песня
о родном городе. Владимир ПОРТНОВ. «Я
шел, залпанный болотом...» 3
Назир ХУБИЕВ. Лавина. С карачаевского
перевел К. Симонов. Город зеленого
листа. Перевел М. Синельников.
Владимир ЛАВИНОВИЧ. Подвиг. Рудя
Николай ГОДИНА. Мама. Виктор ПАХОМОВ.
Сон. «Эти «МАЗы» в ночи...». Антриса. Герасим
ИВАНЦОВ. «Когда за ярним блеском
молний...». «Топол обжиганы наполовину...».
«И сердце не оборвалось...». Евгений ПОЛИ-
КУТИН. «Забываю о славе и прочем...». «А
женщина простит...». «И всято жизнь—осен-
ним полем...». Лев ТАРАН. Деревня Казанка.
Лев ЩЕГЛОВ. Имена. Снегири. В библиотеке.
Татьяна СМЕРТИНА. «Солнце началось...».
«За рекою паром не видно...». Николай
ЩЕРБИНСКИЙ. На автобусной остановке.
Анатолий КРАВЧЕНКО. «Когда отоймт
метелью февраль...». Анатолий ТИТОВ. «Я
присягал звезде и стягу...». «Пылится сад. Ли-
ней форма грядок...». Валентина ТЕЛЕГИНА.
Слова любви. «Стучали холодные струи...».
Генрих КАЦ. Дорога. Удивление. Константин
КОВАЛЕВ. «Ночью я черною птиц в окно
вылетаю...». Картошка 41
Виктор ГЕРАСИМОВ. «Вода бурилась в заре-
вучьях...». Дети. Александр ОЕНЕВ. Сверчок.
Венера. Алла РЯЗАНОВА. Зимнее. Меня спро-
сили. Елена ПЕТРОВА. «Вам никогда не сни-
лись сны...». «Что ни изба — и реке крыльцо...».
Николай ГРАЧЕВ. «Пошескони». Су-
даль. Кострома... 48

К 75-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА

Сергей МНАЦКАНЯН. «Под вечер занаве-
ски...». «На цыпочках крадется тишина...» 58
Игорь ПОЛЯРКОВ. «Перекоп...». «В горах кресто-
вый перевал...» АЙН НЫСАНАЛИН. «В душе
казка двум навева тесно...». Жаворонок.
С казахского перевел Вл. Савель-
ев 61
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Катаев-75. Яблоки
с бритвами. Старинная песня. В альбом сту-
дентам Берии 68

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий НАГИБИН. Незабываемое 72
Юрий ЩЕКОЧИХИН. Весна, которую они за-
были 74
Вадим БЕЛОУСОВ. «Болотные короли» 80
Рудольф САРУХАНОВ. Вчерашней истины за-
кон 87
Владимир КАЛИНИЧЕНКО. В объективе — мои
земли 97

КРУГ ЧТЕНИЯ

НАУКА И ТЕХНИКА

СПОРТ

ЗАМЕТКИ

И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ДЕБЮТЫ

ЗЕЛЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Маленькие рецензии и аннотации 97
Борис МОКРОУСОВ. Комсомольская награда 100
Татьяна МАРЕНКОВА. Чудо по-олимпийски 104
*Д. ВОЛОДИН. Добрый Гай, агрессивная Бомби
и другие. * Евг. РЮМИН. Свадебный прыжок
пирамидой. * В. ЛУНИН. «Все сплутите на
галку...». * А. МАРЬЯМОВ. Мастер тухи 108
Димитриус ЛОНГО: «Писать труднее, чем
глотать шпиги» 109
А. ЗАГДАНСКИЙ. Когда Рак свистнул 110
П. СПИЧКИН. Трудный экзамен 111
ПРИИТ АЙМЛА. Цепная реакция. С эстон-
ского перевел А. Кучаев
Марина ВИШНЕВЕЦКАЯ. Три письма
ПЕРЛЫ
Галка ГАЛКИНА. БИС. БИС. БИС (Бюро Ирони-
ческих Советов)

2 Главный редактор

4 Б. Н. ПОЛЕВОЙ

38 Редакционная коллегия:

45 А. Г. АЛЕКСИН,

В. И. АМЛИНСКИЙ,

51 В. И. ВОРНОВ

59 (зам. главного редактора),

65 В. Н. ГОРЯЕВ,

3 А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ,

(зам. главного редактора),

Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ

(отв. секретарь),

К. Ш. КУЛИЕВ,

Г. А. МЕДИНСКИЙ,

С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,

М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

34

41

48

58

61

68

72

74

80

87

97

100

104

108

109

110

111

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский

48 Технический редактор
Я. М. Борисов.

На 1—4-й стр. обложки
рисунок
Г. КАЧЕЛАЕВОЙ.

68 Адрес редакции:
Москва, 103006.

72 (Для телеграмм: Москва, 6)

74 Ул. Горького, № 32/1.

Рукописи
не возвращаются.

87 Сдано в набор 3/XI — 4/XI
1971 г.

93 А 09494.

97 Подп. к печ. 29/XII 1971 г.

Формат бумаги 84×108/16.

Объем 12,18 усл. печ. л.

17,62 учетно-изд. л.

100 Тираж 2 000 000 экз.

Изд. № 208. Заказ № 2090.

104 Ордена Ленина

108 и ордена Октябрьской

109 Революции

110 типография

газеты «Правда»

110 имен В. И. Ленина.

110 Москва, А-47, ГСП,

ул. «Правды», 24.



А. ЧЕРНОВ (VI курс).

Поэт и муза. (гранит).

Из работ студентов Московского художественного института имени В. И. Сурикова.



Цена 40 коп.

Индекс
71120